Анри Труайя

Член Французской академии

Эмиль Золя

Роман-биография

«ЭКСМО»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эмиль Золя (1840–1902) – один из самых выдающихся писателей XIX века, автор более двадцати романов, создатель нового направления в литературе – натурализма. Произведения знаменитого журналиста и публициста, возмутителя общественных нравов, были включены Ватиканом в «Индекс запрещенных книг», вся его жизнь сопровождалась шумными общественными скандалами.

Анри Труайя в увлекательнейшем романе-биографии отражает не только мучительный творческий поиск писателя, но и его личные переживания. Перед читателями день за днем разворачивается полная драматизма и противоречий судьба великого романиста.

- Анри Труайя
  - I. Эмиль
  - II. В классах и на воле
  - III. Поэтическая горячка
  - IV. На службе
  - V. Рождение писателя
  - VI. Журналист, любитель искусства
  - VII. Тереза Ракен
  - VIII. Александрина
  - IX. Поражение
  - X. Ругон-Маккары
  - XI. Истинные и ложные литературные друзья
  - XII. Натурализм
  - XIII. Невинные радости
  - XIV. Меданская группа
  - XV. Радости провокации
  - XVI. Исследование на местности
  - XVII. Зашифрованный роман
  - XVIII. Жанна
  - XIX. Поездка на паровозе
  - XX. Отец семейства
  - XXI. Конец Ругонов
  - XXII. Две семьи
  - XXIII. Я обвиняю
  - XXIV. Процесс Золя
  - XXV. Оскорбления и угрозы
  - XXVI. Изгнание
  - XXVII. Амнистия

- XXVIII. Пантеон
- Фотографии

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41

- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85

- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129

- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173

- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217

- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261

- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280

Анри Труайя
Эмиль Золя

I. Эмиль

Редко какой маленький мальчик не мечтает в один прекрасный день во всем сравняться с отцом! Но пятилетнему Эмилю это казалось совершенно невозможным: слишком велики были в глазах ребенка талант, авторитет, щедрость и нежность, исходившие от инженера Франсуа Золя. Все, что малыш узнавал об отце из обрывков разговоров между родителями, укрепляло его в мысли о том, до чего же ему посчастливилось родиться сыном такого человека. И в самом деле, жизнь Франсуа Золя напоминала приключенческий роман, написанный именно для того, чтобы воспламенить детское воображение. Каких только ремесел он не перепробовал, каких превратностей судьбы не испытал, каких стран не повидал до того, как встретил прелестную Эмили Обер, которая вскоре стала его женой! Франсуа родился 7 августа 1795[1] года в Венеции. Карьера его началась рано: в семнадцать лет он уже стал младшим лейтенантом артиллерии, изучал инженерное дело. В двадцать пять покинул армию и Италию, завершив предварительно образование в Падуанском университете, и перебрался в Австрию, где как главный инженер[2] участвовал в строительстве первой европейской железнодорожной линии между Линцем и Будвейсом. Несмотря на такое блестящее начало, в 1830 году, после того, как лопнул банк, сначала вкладчиком, а затем и пайщиком которого состоял инженер Золя, ему пришлось снова уехать. Попытав счастья сначала в Голландии, затем в Англии, он вернулся во Францию, а спустя год внезапно завербовался в Иностранный легион и отправился в Алжир. Там произошла неприятная история. Франсуа, ставший простодушной жертвой любви и ради возлюбленной, предавшей его впоследствии, запустивший руку в доверенную ему кассу вещевого склада, вынужден был ради спасения чести подать в отставку.

В январе 1833 года он отплывает в Марсель, где тотчас по прибытии открывает техническую контору на улице Арбр. Голова его переполнена дерзкими замыслами, он проводит эксперименты с газовым освещением, предлагает устроить в Марселе новый порт, мечтает окружить Париж оборонительной линией, еще одна выдумка – прорыть канал, по которому потекла бы вода в Экс, в то время сонный, измученный постоянной жаждой городок. Ради осуществления этого последнего и самого главного, на его взгляд, проекта Золя отправляется в Париж и, зная о том, что Тьер родом из Экса, решается попросить аудиенции у будущего президента Франции, а в то время – бывшего министра финансов и

нынешнего – внутренних дел, известнейшего политика.

Дни, которые наш смельчак провел тогда в Париже, были сплошь заполнены переговорами, сделками, борьбой за влияние, приходилось упрашивать и торговаться, но он не отступал и не падал духом. Тем более что как-то воскресным утром, выходя после мессы из церкви Святого Евстафия, увидел юную, стройную и скромную девушку, ослепившую его своей красотой.

Эмили-Орели Обер родилась в Дурдане, что в Иль-де-Франс, 6 февраля 1819 года. В приданое за прекрасной дочерью маляра-подрядчика давали всего-навсего жалкую кучку ценных бумаг, но пылкий итальянец таким мелочам значения не придавал, и его это не остановило. Не менее решительный в делах сердечных, чем в своих начинаниях, связанных с общественными работами, он не стал тянуть и 16 марта 1839 года женился на красавице. Новобрачной было двадцать лет, новобрачному – без малого сорок четыре. Молодая чета совершила свадебное путешествие в Прованс – и дело было сделано: когда они вернулись в Париж, Эмили уже ждала ребенка. Пока она, счастливая и умиротворенная, вязала одежки для малыша, Франсуа Золя из кожи вон лез, уговаривая господина Тьера и еще тридцать шесть видных деятелей поддержать его проект канала в Эксе и новый план оборонительной линии с малыми фортами вокруг Парижа. Ценой отчаянных стараний ему удалось добиться того, чтобы его представили королю и принцу де Жуанвилю. Правда, не получая никаких заказов, он к этому времени был по уши в долгах. Но какая разница, если первая победа уже не за горами! Пусть даже победа не профессиональная, а семейная…

Беременность благополучно подошла к концу, и Эмили произвела на свет крепкого горластого младенца. Безумно гордый отец записал в дневнике: «2 апреля 1840 года. В 11 часов родился малыш Эмиль Эдуар Шарль Антуан, наш сын». В четверг 30 апреля в тетрадке появится новая запись: «В четыре часа крестины Эмиля». И, наконец, в субботу, 16 мая: «Надо сделать ребенку прививку оспы». Рождение Эмиля благополучно совершилось в скромной квартирке, снятой за тысячу двести франков в год в доме 10-бис по улице Сен-Жозеф. Отыгравшись таким образом за прежнее невезение, отец поверил, что счастливое событие предвещает и другие победы. Но юная жена не разделяла его оптимизма. Нежная, чувствительная и нервная, она легко возбуждалась и приходила в уныние, настроение у нее то и дело менялось, и ее очень тревожило здоровье сына. В два года Эмиль заболел менингитом. Ему ставили пиявки, но это не помогало, температура не снижалась, и врач опасался за жизнь ребенка. Тем не менее Эмиль выздоровел и вскоре снова был

готов к играм.

Мальчик рос тщедушным, бледненьким, хилым головастиком – городской заморыш. Ему явно недоставало свежего деревенского воздуха. А тут как раз и проект строительства канала обрел реальные черты. Городские власти Экса так сильно им заинтересовались, что Франсуа Золя вскоре уложил чемоданы и вместе с женой, сыном, тестем и тещей отправился в Прованс.

Некоторое время семья провела в скромной квартирке на бульваре Сент-Анн, но вскоре перебралась в дом, принадлежавший господину Тьеру по адресу: тупик Сильвакан, [3]6. Одноэтажный дом под розовой черепичной крышей, с залитыми солнцем стенами, с теснящимися в саду цветами стал для Эмиля гаванью семейного счастья. В четыре года главными в его мирке были крупная фигура отца, всегда крайне серьезного и очень озабоченного, и встревоженное лицо матери, которую в дрожь бросало, когда мальчик бегал по дорожкам или пытался вскарабкаться на дерево. Ей все время казалось, что вот-вот случится беда. Однако на них, напротив, обрушилось счастье: 11 мая 1844 года в «Марсельском семафоре», в той колонке, которая была отведена под новости из Экса, было напечатано следующее: «Мы рады сообщить нашим согражданам, что второго числа сего месяца Государственный Совет на совместном заседании всех секций окончательно признал целесообразным строительство канала по проекту Золя и полностью одобрил договор, заключенный 19 апреля 1843 года между городом и этим инженером».

Франсуа Золя ликовал. После восьми лет хлопот он добился своего. Отныне будущее семьи обеспечено. У всех на лицах – у матери, у отца, у бабушки с дедушкой – сияли улыбки. Эмиль разделял общее настроение, впрочем, не вполне понимая, чем вызвана такая радость. Однако всеми настолько овладело бездумное счастье, что даже за мальчиком присматривали теперь не так строго, как обычно. Он гулял по городу со слугой и любовался благородным и неподвижным великолепием своей новой родины. Его безотчетно влекли бульвары, обсаженные старыми платанами, журчащие фонтаны, строгие фасады домов с тяжелыми резными дверьми, за которыми скрывались таинственные и сумрачные провинциальные покои. Он подружился с Мустафой, двенадцатилетним слугой-алжирцем. Когда мальчики оставались вдвоем, старший друг ласкал Эмиля, и тот млел от его прикосновений, порой доводивших ребенка до обморочного состояния. Однажды родители застали детей за этим развлечением, и Мустафа был изгнан из дома. А Франсуа Золя счел происшествие настолько серьезным, что обратился к

городским властям. В датированном 3 апреля 1845 года рапорте комиссара полиции господина Полетти об этом сказано так: «Мы препроводили во Дворец Правосудия Мустафу, двенадцати лет, уроженца Алжира, слугу господина Золя, гражданского инженера, проживающего по улице Арбр, дом 4; ему предъявлено обвинение в развратных действиях по отношению к малолетнему Эмилю Золя, пяти лет».

Как же воспринял Эмиль эти оскорбительные действия? Должно быть, он очень удивился, узнав, что поступал плохо, позволяя Мустафе себя ласкать. Может быть, он огорчился, внезапно лишившись знаков внимания, которые оказывал ему этот мальчик, его умелых ласк, его прикосновений, доставлявших такое удовольствие. Но ребенок был еще так мал, что очень быстро радость простых мальчишеских игр вытеснила и стерла из его памяти тоску по преступным отношениям. Кроме того, теперь он намного реже бывал предоставлен сам себе. Отец брал его с собой, когда шел осматривать места будущих работ. Со дня на день ждали королевского указа: как только он будет получен, можно приступать к делу. И, хотя переговоры с собственниками прибрежных участков затягивались, Франсуа Золя не унывал: он основал Общество по строительству канала Золя с капиталом в шестьсот тысяч франков и сделался его управляющим. Затем из осторожности добился от суда первой инстанции департамента Сены решения о разделе имущества супругов, чтобы в случае неудачи оградить жену от неприятностей.

Наконец к 4 февраля 1847 года все было улажено, начали рыть канал. Эмиль с утра отправился смотреть, как копошатся в ямах рабочие. Отец стоял рядом, в лихо сдвинутой на затылок шляпе, с тростью в руке, точь-в-точь генерал, командующий войсками. Он громовым голосом отдавал распоряжения, которые подчиненные спешили передать дальше. Скалы решили взрывать динамитом. Во все стороны по рельсам бежали вагонетки. Туча пыли застилала солнце. Эмиль преисполнился восхищения перед отцом, этим необыкновенным главой семьи, который на его глазах менял облик мира. Ему казалось: прикажи сейчас папа, чтобы пошел дождь, и небо не посмеет ослушаться! Ах, как бы ему хотелось, когда он вырастет, тоже заставить повиноваться все-все: землю, камень, людские толпы! Но он слаб, точно девчонка, и до того ленив, что даже буквы до сих пор не выучил. И к тому же у него дефект речи, который сильно огорчает его родных. Вместо «с» он произносит «т». «Сосиска» в его устах превращается в какую-то «тотитку». В семье над этим недостатком подшучивают, но мать тревожится не на шутку. А Эмилю так хочется, чтобы она могла им гордиться! Не меньше,

чем он сам гордится отцом, который двигает горами. Однажды этот несравненный отец дал ему сто су за то, что он правильно выговорил «свинка». И… Эмиль растерялся, не понимая, радоваться ли ему этой нежданной награде или обидеться.

С тех пор, как начались работы по строительству канала, Франсуа Золя был занят еще больше, чем в те времена, когда делал чертежи и выстраивал столбики цифр. Целые дни, с утра до вечера, он проводил на стройке. Но когда он с лицом, обожженным солнцем, и блестящими глазами возвращался домой к ужину, за стол между женой и сыном усаживался победитель. Спустя несколько недель после того, как на стройке раздались первые взрывы, Франсуа пришлось ехать в Марсель, чтобы уладить какой-то организационный вопрос. Поездка была инженеру не в радость, потому что он был немного простужен: продуло в горных ущельях, где не утихает яростный ветер. Забившись в угол дилижанса, он дрожал и стучал зубами. К тому времени, как Золя добрался до гостиницы «Средиземноморье» на улице Арбр, у него был такой жар, его так трепала лихорадка, что перепуганный хозяин послал за врачом. Тот диагностировал воспаление легких и посоветовал немедленно известить жену больного. Эмили поспешила выехать в Марсель вместе с маленьким Эмилем. Совершенно не зная города, перепуганные, они блуждали по улицам, то и дело сбиваясь с пути, поминутно спрашивая дорогу у прохожих, пока наконец молодая женщина не отыскала дом, где ее муж боролся со смертью. Неужели этот лежащий на постели человек с безумными глазами, который так надрывно кашляет и жалобно стонет, и есть великолепный итальянский инженер, строитель канала Золя? Супруга безотлучно сидела у изголовья больного, надеясь, что муж все-таки выздоровеет, но надежды таяли с каждым часом. Увы! 27 марта 1847 года Франсуа Золя испустил последний вздох в безликом гостиничном номере, за окном которого шумел Марсель…

Изнемогая от рыданий и крепко держа за руку семилетнего сына, Эмили проводила мужа в последний путь. Жители Экса устроили своему несчастному согражданину пышные похороны. Катафалк проехал через весь город. Гроб окружали супрефект, мэр, инженер округа и друг покойного Александр Лабо, адвокат Королевского совета и кассационного суда. Эмиль, жавшийся к матери, думал, что не может быть в мире более жестокой несправедливости, чем такая вот смерть человека, смерть, не давшая довести до конца дело, ради которого этот человек жил. Неужели в ближайшие дни вместо папы на стройке появится кто-то другой и этот другой станет вместо него отдавать

распоряжения? Газета «Прованс» 8 апреля 1847 года объявила о сборе средств по подписке на то, чтобы установить на могиле Франсуа Золя «надгробный камень… до тех пор, пока не будет завершено строительство канала и благодарное общество не воздвигнет ему более величественный памятник».

В опустевший, утративший душу дом в тупике Сильвакан потянулись люди с визитами соболезнования, потоком хлынули письма.

Все это не утешало. Эмили Орели Золя было тем труднее справляться с обрушившимся на нее горем, что муж, уйдя из жизни, оставил ее в тяжелом материальном положении. Общество по строительству канала, лишившись своего организатора, вот-вот прекратит свое существование в результате действий главного акционера Жюля Мижона, который хочет выкупить остальные акции. Со всех сторон наступают оживившиеся кредиторы. Если Эмили не рассчитается с долгами, о существовании которых она прежде и не подозревала, ей грозит судебный процесс. Скрепя сердце молодая вдова раздает направо и налево акции канала в виде гарантии дальнейших платежей. Лишенной средств к существованию семье приходится покинуть дом в тупике Сильвакан – ей не по силам платить арендную плату – и перебраться в более скромное и дешевое жилище за городской чертой, в предместье, населенном каменщиками-итальянцами и ворами-цыганами.

Как ни странно, Эмиль грустил меньше, чем мать. Хотя – почему странно? Ведь ребенку, даже и осиротевшему, всякая перемена в жизни представляется удачей.

Мальчик вместе с матерью ходит к адвокатам. Он слушает разговоры о переводных векселях, основаниях для предъявления иска, наложении ареста на движимое имущество, и его завораживает этот непонятный юридический язык. То и дело бабушка Обер, разделившая с дочерью траур, уносит из дома какую-нибудь безделушку, чтобы продать ее старьевщику. Понемногу квартира пустеет. Вскоре здесь только и останутся голые стены, кровати, стол да стулья… Эмиль понимал, в какую нищету впала его мать, которую новые соседи называют «мадам вдова Золя». Он всем сердцем жалел ее, и ему не терпелось как можно скорее, прямо сейчас заменить отца, создать что-нибудь основательное, чтобы обеспечить родных. Ребенок поделился своими грандиозными планами с Эмили, но та в ответ лишь грустно улыбнулась и сказала, что, прежде чем поразить мир такими же великими свершениями, на какие замахивался Франсуа Золя, надо многому научиться. И, немедленно перейдя от слов к делу, записала мальчика в пансион Нотр-Дам: пора

сынишке начинать учиться.

II. В классах и на воле

Пансион Нотр-Дам не мог не понравиться Эмилю. В этом заведении на берегу извилистого ручья, не зря носившего имя «Торс»,[4] собрались несколько десятков бойких ребятишек, говоривших с певучим южным акцентом. Поскольку новенький едва умел читать и с большим трудом выводил в тетрадках буквы, директор пансиона, господин Изоар, оставлял его в классе после уроков и обучал чтению по сборнику басен Лафонтена. Но едва учитель закрывал книгу, Эмиль срывался с места и спешил присоединиться к толпе школьников. Лучшими его друзьями стали Филипп Солари и Мариус Ру. Он играл с ними в шарики, запускал волчок, перекидывался мячом. По всему двору звенели радостные детские голоса, раздавался топот множества бегущих ног. Порой сорванцы убегали и рассыпались среди пустошей, подолгу ловили там ящериц и цикад или любовались тем, как сверкает чешуя форелей, снующих между камней в речушке. Нередко вместе с мальчиками на прогулку отправлялась какая-нибудь девочка. У Филиппа была хорошенькая сестренка по имени Луиза. Она позволяла приятелям некоторые вольности по отношению к себе и только смеялась, одергивая юбку и шлепая нахалов по рукам. К вечеру Эмиль хмелел от свежего воздуха, проказ, от этих ласк – только полудетских. И нисколько не сомневался в том, что образование – штука хорошая, у него так много приятных сторон…

А дома его ждали мать и бабушка с дедом, у них были свои заботы. После смерти зятя дедушка Обер замкнулся, пребывая в постоянной праздности и погрузившись в старческий пессимизм. Зато бабушка Обер проявила себя женщиной деятельной, решительной и изворотливой. В семьдесят лет у нее почти не было ни седых волос, ни морщин. Именно она с веселой властностью управляла жизнью семьи, вела хозяйство. Внука бабушка Обер обожала, они с Эмили наперебой баловали мальчика. Живя в окружении этих женщин, безмерно и нежно его любивших, он знал, что любые шалости, какие он только выдумает, заранее будут ему прощены. И вдруг мама с бабушкой вздумали перевести его в другую школу. Ему уже стукнуло двенадцать лет, и теперь, как они говорили, для его умственного развития недостаточно того, что может дать уютный пансион Нотр-Дам. Если Эмиль хочет стать выдающимся человеком, каким был его отец, он должен продолжать учебу в суровом коллеже Бурбонов в Эксе. Он будет там пансионером. А для того чтобы Эмиль не чувствовал себя оторванным от семьи, они покинут свое

отдаленное предместье Пон-де-Беро и переселятся в город, в дом 27 по улице Бельгард.[5] И тогда мама с бабушкой смогут каждый день его навещать, они будут разговаривать с ним в приемной и приносить ему гостинцы.

Обучение в коллеже стоило дорого, и Эмили Золя решилась обратиться в городской совет с просьбой назначить стипендию ее сыну, рассматривая эту стипендию «в качестве посмертного вознаграждения за услуги, оказанные ее мужем городу Эксу». Просьба была принята благосклонно, и в октябре 1852 года Эмиль, сопровождаемый советами и надеждами родных, отправился учиться. Он поступил в восьмой класс.

Насколько свободно мальчик чувствовал себя среди непоседливых ребятишек из небогатых семей, которые окружали его в пансионе Нотр-Дам, настолько не по себе ему стало, когда он попал в среду хвастливых и насмешливых отпрысков богатых семейств, где оказался кем-то вроде гадкого утенка. Здесь ему не прощали ни того, что он получает стипендию, а значит – нищий, ни его резкого парижского выговора, который усугублялся дефектом речи – он все еще заметно шепелявил. Для высокомерных сынков провансальских буржуа он был «французишкой», чужим, непрошеным, самозванцем. Его дразнили, над ним издевались, а он никак не мог понять, чем навлек на себя такое враждебное отношение, – сам-то он был готов любить всех и каждого и в этой новой школе!

И вот в один прекрасный день, на его счастье, от разбушевавшейся толпы отделяется здоровенный черноволосый и смуглый парень с огненным взглядом и сломанным носом, который неожиданно берет новичка под защиту. Благодетель на год старше Эмиля, его зовут Поль Сезанн.

Чуть-чуть успокоившись, мальчик решает показать себя. Хватит ему тащиться в хвосте, теперь он начнет работать. Он беден, едва ли не все одноклассники над ним насмехаются, его отец умер, не доведя до конца начатого дела, больше некому обеспечить будущее семьи, и мать рассчитывает на него, – по всему выходит, что пора взяться за ум, и он изо всех сил, с азартом налегает на учебу. Результат не заставляет себя ждать: 10 августа 1853 года Эмиль Золя получает похвальный лист и еще шесть наград по разным предметам: от чтения наизусть классических авторов до французской грамматики. Сделавшись отличником, мальчик твердо вознамерился навсегда им и остаться. Кроме того, ребенок уже привык к коллежу и даже полюбил этот старинный монастырь с его сумрачной, почти всегда запертой часовней, его привратником, неумолимым цербером, которого приходится подолгу упрашивать и скрестись в

окно, если случится опоздать, с просторным двором, затененным листвой четырех платанов, и другим двором, поменьше, где стоят параллельные брусья и прочие гимнастические снаряды, и аптекой, где витают запахи лекарств и неслышно скользят монахини в черных одеждах и белых накрахмаленных чепцах, полюбил и залитые солнцем классы на втором этаже. А вот на первом этаже классные комнаты сырые и унылые словно погреб, и когда Эмиль усаживается там за парту, его охватывает неприятное чувство скованности: он будто в заточение попал!

Кроме Поля Сезанна, у «ученика Золя» появляются еще двое закадычных друзей: Жан Батистен Байль и Луи Маргери. Сезанн, сын банкира, мечтает стать художником; Байль, сын трактирщика, увлекается науками; Маргери, сын стряпчего, подумывает о том, чтобы сочинять водевили. Что же касается самого Эмиля, он во время занятий украдкой сочиняет стихи. В свободные дни четыре приятеля собираются у выхода из коллежа и, взявшись под руки, отправляются гулять. Они часами провожали друг друга до дома. В бедных кварталах мальчишки иногда бросали в них камнями – обычная история, извечная вражда между городскими детьми и ребятами из предместья, двумя дикими стаями, по традиции ненавидящими друг друга. Эмиль и его друзья в ответ швырялись в нападавших всем, что попадалось под руку, а потом под улюлюканье продолжали свой путь. Иногда им встречался полк, ритмично вышагивавший под музыку двигавшегося во главе его оркестра. Наверное, эти идущие строем воины вскоре отправятся в Крым, там ведь идет война? Сказали и забыли: война не входила в круг повседневных интересов школьников, и другие зрелища привлекали их куда больше, чем вид марширующих войск. В дни церковных праздников они проталкивались в первые ряды, чтобы полюбоваться процессией. Длинной вереницей тянулись девушки в белом, они распевали гимны и разбрасывали горстями розовые лепестки, под умиленными взглядами горожан черпая их из своих корзинок; мерно взлетало кадило перед статуей Пресвятой Девы или какого-нибудь святого – статую несли на крепких плечах мужчины; а в сумерках процессия возвращалась назад, и на этот раз ее озаряли трепетные огоньки сотен свечей, в мерцающем свете которых еще более прекрасными, загадочными и отрешенными казались лица девушек, державших свечи затянутыми в белоснежные шелковые перчатки пальцами.

Эти скромные барышни снились пятнадцатилетнему Эмилю по ночам, грезил он о них и наяву. Ему случалось воображать, будто одна из них заняла место Мустафы, так искусно его когда-то ласкавшего. Его терзали пылкие и беспорядочные желания. То

ли стремясь избавиться от этого наваждения, то ли стараясь сполна насладиться своей одержимостью женщинами, Эмиль с головой уходит в чтение. Друзья следуют его примеру. Они обмениваются книгами и жарко спорят, превознося одних авторов и низвергая других. Больше всего им нравятся чувствительные поэты: Гюго, Мюссе, Ламартин… Подражая великим предшественникам, Эмиль с удвоенным рвением берется за сочинительство. Друзья следуют его примеру. Теперь их компания живет, окруженная облаком рифм, еще немного – и они заговорят стихами. Впрочем, музыка тоже им не чужда. Директору коллежа пришло в голову создать духовой оркестр, и вот уже Маргери учится играть на корнет-а-пистоне, Сезанн – на корнете, а Эмиль, несмотря на полное отсутствие музыкального слуха, осваивает кларнет. Как-то раз – дело было в 1856 году – юный Золя шел в рядах школьного оркестра следом за процессией высшего духовенства, военных и гражданских чинов Экса и, проникнутый сознанием собственной значимости, изо всех сил дудел в своей кларнет, отчаянно фальшивя, но не обращая на это ни малейшего внимания. Ему казалось, что собравшаяся по обе стороны улицы публика смотрит на него с таким же восхищением, как на самых важных людей в этой процессии.

Очень часто Эмиль вместе с друзьями бывает и в городском театре Экса. Билеты в партер стоили всего-то двадцать су, и неразлучные друзья не уставали аплодировать исполнителям лучших спектаклей. Так, «Белую даму»[6] они посмотрели восемнадцать раз, а «Нельскую башню»[7] – целых тридцать шесть.

Тем не менее самым большим из удовольствий они были обязаны не чтению, не сочинению стихов, не музыке и не театру. Ничто не казалось им столь же упоительным, как долгие загородные прогулки. За один день друзьям случалось пройти до десяти лье. Не зная устали, они бродили по дорогам, карабкались по козьим тропинкам в горах, продирались сквозь колючие заросли, оставлявшие на руках царапины. Ловили рыбу, охотились с ружьем или рогатками, купались в Арке, потом обсыхали на солнышке. Особенно не сиделось им на месте летом: стоило начаться каникулам, и подростков так и тянуло прочь из дома. И тогда в три часа ночи тот, кому случалось проснуться раньше остальных, бросал остальным камешки в ставни. Запасы провизии еще с вечера были уложены в ягдташи. Уже на ходу друзья окончательно просыпались от предрассветной прохлады. К тому времени, как вставало солнце, они успевали уйти далеко от города. В самые жаркие часы подуставшие «туристы» разбивали лагерь где-нибудь на дне оврага и готовили себе обед. Байль, набрав хвороста, разжигал костер, и вскоре языки пламени уже

лизали нашпигованную чесноком баранью ногу, подвешенную на суку. Эмиль медленно поворачивал мясо, чтобы оно ровно прожарилось. Сезанн, у которого были самые дикарские повадки во всей компании, заправлял салат, приготовленный по одному ему ведомому рецепту. И ни в одной кухне мира не было блюд вкуснее тех, какие стряпали они сами. Дочиста обглодав кости и до блеска вытерев хлебом миску из-под салата, они устраивали себе сиесту – укладывались рядком где-нибудь в тенечке на травке для послеобеденного отдыха. Но не проходило и часа, как просыпались и с ружьем в руке отправлялись на охоту. Грохот выстрелов, разрывавший сельскую тишь, доставлял этим мальчишкам наслаждение, понятное лишь настоящим мужчинам. Иногда, если повезет, им удавалось подстрелить чекана. Снова устав от ходьбы, да и от охоты, они усаживались под ближайшим деревом, доставали из ягдташей книжки и вслух читали друг другу стихи своих кумиров. Мюссе приводил весь маленький отряд в особенно неистовый восторг: да и как могло быть иначе, ведь он так настрадался из-за женщин! Когда день начинал клониться к вечеру, путешественники трогались в обратный путь, по дороге продолжая сравнивать достоинства любимых авторов и наперебой читая друг другу под усыпанным звездами небом великолепные строфы.

Однажды, заранее предупредив родителей, они решили провести ночь в пещере, как американские трапперы. Когда стемнело, улеглись в глубине пещеры на подстилки из листьев. Но погода внезапно испортилась, в укрытие ворвался сильный ветер. При свете луны мальчики разглядели круживших у них над головами летучих мышей. Им стало немного не по себе, и они решили уйти, но перед тем подожгли свои подстилки, чтобы насладиться зрелищем ночного пожара. Когда вспыхнуло пламя, перепуганные летучие мыши, судорожно трепеща крыльями и пронзительно вскрикивая, отчего пробудились все окрестные птицы, устремились прочь из пещеры.[8]

Так же безуспешно, как мелкую дичь, преследовал Эмиль и девушек и терял терпение, устав охотиться впустую. Он все еще вздыхал по сестренке Филиппа Солари, прелестной и обольстительной Луизе, которая, должно быть, разок-то позволила ему сорвать поцелуй во время прогулки, мечтал он и о темноволосой девочке в розовой шляпке, которую – девятилетний! – приметил как-то в церкви во время воскресной мессы, но в его личной жизни ровным счетом ничего не происходило, и он утешался сочинением элегических стихов. Правда, иногда ему прискучивало собственно романтическое нытье, и он ударялся в сатиру. Вот так юный Золя и сочинил

трехактную комедию в стихах, назвав ее «Попался, надзиратель!». В этой пьесе два хитроумных лицеиста оспаривают у школьного надзирателя Пито благосклонность женщины. Начинающий писатель Золя тщательно отделывал свою литературную шутку, а почти юноша Эмиль в глубине души по-прежнему надеялся встретить то вымечтанное им создание, которое открыло бы ему тайну плотского союза. Вокруг лицея толпами слонялись не только проститутки, но и сговорчивые девицы, рассчитывающие завести интрижку. Могла ли одна из них приобщить его к удручающему опыту соития без любви? Кто знает, утратил ли Золя тогда невинность, но точно известно, что он, решив воспеть неистовый разгул, которому предавались молодые жители Экса, сочинил новеллу под названием «Гризетки Прованса». Как и положено истинному писателю, сочинил, скорее всего, то, чего ему не довелось пережить. К сожалению, рукопись до наших дней не дошла.

Тем временем семья, впадавшая во все большую бедность, если не сказать нищету, перебиралась с места на место и после недолгих остановок на улице Ру-Альферан, а потом на бульваре Францисканцев поселилась в убогой двухкомнатной квартирке на углу улицы Мазарини. Окна нового жилища выходили на развалины крепостной стены. Было душно и жарко. Мадам Золя часто ездила в Париж, предпринимая последние отчаянные попытки найти адвокатов и деловых людей, способных помочь ей выиграть процесс против негодяя Жюля Мижона. В ее отсутствие домом мягко и властно правила бабушка Обер. Она по-прежнему ни в чем не могла отказать внуку. Но в октябре 1857 года эта, казалось бы, несокрушимая женщина внезапно заболела и умерла. Эмили потеряла самую надежную свою союзницу в борьбе с повседневными трудностями, Эмиль – вторую мать. Казалось, жестокий рок преследует эту маленькую беззащитную семью.

Удрученная Эмили Золя снова отправилась в Париж, рассчитывая на поддержку господина Тьера, который всегда так доброжелательно относился к ее покойному мужу. Конечно, бывший глава правительства теперь не у власти, но должны ведь у него остаться прочные связи в мире политики и правосудия. И он не откажется помочь затравленной вдове…

Эмиль, оставшийся один с убитым горем дедушкой, еще чаще стал уходить из дома с друзьями. Самым близким его другом, конечно же, оставался Сезанн. Ему нравились резкость, порывистость, вспыльчивость этого необузданного парня, который уже мечтал о том, чтобы стать живописцем, хотя продолжал кропать скверные вирши. Но отец Сезанна,

самодовольный и гордый своим положением банкира, был недоволен тем, что сын встречается с юнцом, не принадлежащим к тому кругу, к которому принадлежала его семья. Однако это высокомерное презрение лишь упрочило дружбу школьников, еще больше их сблизило. Раньше они были только друзьями, теперь сделались братьями. И потому Эмиля как громом поразило письмо, полученное им в феврале 1858 года от матери из Парижа. «В Эксе жить стало невозможно, продай то немногое, что у нас осталось из мебели. Этих денег должно хватить тебе и дедушке на билеты в третьем классе. Приезжай скорее. Я жду тебя».[9]

Внезапно подросток осознал, *что* ему придется оторвать от сердца, перебравшись к матери в Париж: коллеж, прогулки по каменистым склонам окрестных гор, чистую ярость мистраля, мирное журчание городских фонтанов и, наконец, друзей, которых никто не заменит, это ему было точно известно. Но что было делать? Отправились все вместе в последний раз прогуляться в Толоне. Дул резкий зимний ветер, раскачивая кипарисы в стылом синем небе, от земли поднимался запах пыли. Разве можно жить в другом месте? Глядя на этот яркий пейзаж, Эмиль воскликнул: «Мы снова соберемся в Париже – втроем!» Но, обнимая на прощанье Сезанна и Байля, стискивал их с такой силой, как будто расставался с ними навеки.

III. Поэтическая горячка

Париж, который Эмиль в детстве так мало успел узнать, с первого взгляда ему не понравился: холодные серые улицы, дождливое небо, угрюмые прохожие… Неужели сможет он, выросший в солнечном провансальском раю, притерпеться к такому тоскливому однообразию? Сидя в омнибусе между сияющей матерью, встречавшей его на вокзале, и дедом, беспокойно поглядывавшим на их жалкие пожитки, он представлял себе безрадостное будущее и с каждым оборотом колеса все больше мрачнел. Вот наконец все трое в тесной квартирке дома № 63 по улице Мсье-ле-Пренс. Едва переступив порог, Эмили сообщает сыну великую новость: господин Лабо, адвокат Королевского совета и друг семьи, сумел добиться от господина Низара, директора Эколь Нормаль, чтобы тот пристроил Эмиля в очень уважаемый лицей Святого Людовика, несмотря на то, что учебный год давно начался. Сын инженера Золя будет учиться во втором классе, на отделении естественных наук. Глядя на то, как радуется мать, Эмиль милосердно пытался улыбнуться. На самом деле юноша от этих перемен ничего хорошего не ждал. Был бы он совсем еще ребенком, легко прижился бы здесь. Но к восемнадцати годам он успел пустить корни в другую землю, теперь его резко выдернули оттуда, и он страдал так, будто у него и впрямь обрубили корни…

Первая встреча с парижскими соучениками оказалась мучительной. В Эксе юный Золя имел дело с несдержанными, неотесанными и хвастливыми парнями; здесь его окружали молодые буржуа, цивилизованные, элегантные и насмешливые; они читали газеты, обсуждали свежие политические сплетни, оценивали прелести модных актрис и притворялись разочарованными, не успев пожить. Эмиль был старше большинства из них, и это обстоятельство его смущало, словно бы доказывая его умственную неполноценность в сравнении с одноклассниками. Он чувствовал себя в лицее неуместным, отсталым, обреченным на то, чтобы робко топтаться позади всех. И вот еще что было странно: в Эксе одноклассники потешались над его парижским акцентом и дразнили его «французишкой», парижские же лицеисты считали, что он говорит с южным акцентом, и называли «марсельцем». Кто-то, высмеивая итальянское происхождение новичка, придумал для него прозвище – «Горгондзола». И теперь Эмиль нисколько не сомневался в том, что в лицее Святого Людовика у него никогда не будет таких друзей, как Сезанн, Байль и Маргери…

Жизнь стала не в радость, и единственное, в чем несчастный находил утешение, это были воспоминания о жизни в Эксе: он снова и снова перебирал их в памяти. Там, на юге, друзья тоже по нему скучали. В письмах, которыми юноши обменивались, то и дело звучали горькие жалобы, призывы на помощь. Эмиль в бесконечно длинных посланиях рассказывал Сезанну и Байлю о том, какие книги прочел, какие сочинения задумал сам, о том, как тоскливо ему по ночам, как тянет на природу и как влекут его женщины. И пока перо скользило по бумаге, ему казалось, будто продолжается один из тех откровенных разговоров, какие друзья-однокашники вели во время своих прогулок за городом. Несмотря на то что писал Эмиль на тонкой, чуть ли не папиросной бумаге, письма выходили такими увесистыми, что приходилось наклеивать по две-три марки на каждое. Поглощенный своей перепиской, он совершенно не работал в классе, домашние задания делал кое-как, на скорую руку, уроков не учил. Он, который в Эксе почти все время был первым учеником, теперь плелся в самом хвосте. Единственным предметом, который по-прежнему его увлекал, был французский язык, и сочинения он писал с удовольствием. Однажды Золя досталась такая тема: «Слепой Мильтон диктует старшей дочери, в то время как младшая играет на арфе». Вдохновленный этой картиной семейной гармонии, Эмиль написал трогательное сочинение, которое его преподаватель, господин Левассер, счел достойным того, чтобы вслух прочесть перед классом. Больше того, педагог предсказал автору будущность писателя. Юный Золя преисполнился гордости: к чему зубрить алгебру, геометрию, географию, физику, раз его призвание – литература? Проникшись этим убеждением, он вконец обленился.

Учился лицеист из рук вон плохо, зато очень много читал: конечно, в первую очередь Гюго и Мюссе, но еще и Рабле, и Монтеня. Предпочтение отдавал романтическим авторам, писателям с необузданным, свободным воображением. Классики казались ему скучными. В конце учебного года он получил всего лишь одну награду: похвальный лист за французский язык, но даже в этой области Эмиль оказался не первым, а вторым.

На летние каникулы Эмили Золя решила повезти сына в Экс, надеясь, что после этого он станет более прилежным учеником. Едва прибыв в любимый город, Эмиль бросился к друзьям. За то время, что они не виделись, Байль успел отпустить бороду. Сезанн сочинял теперь драму о Генрихе VIII Английском, что не мешало ему часами стоять за мольбертом. Друзья потащили «парижанина» за собой по местам прежних прогулок. Они купались в Арке, поднимались на гору Святой Виктории,

навещали запруду в Рокфавуре, охотились, удили рыбу, читали вслух сочинения великих предшественников или собственные стихи, которые, пока длилась разлука, успели накропать во время уроков, рассуждали о жестоком лукавстве и прелестной покорности женщин. Голова у Эмиля была переполнена замыслами грандиозных поэм, он делился этими замыслами с друзьями, те одобряли и поддерживали его. Но несколько недель каникул пролетели так быстро! Едва успев наполнить легкие чистым воздухом, а сердце – братским участием, бедолага уже должен был возвращаться в Париж.

Начало учебного года маячило перед ним грозным призраком, до октября оставалось так мало времени! У него кружилась голова, он заговаривался и вскоре после возвращения в столицу слег с тифом, в лихорадке, которая, по его собственным словам, «металась по [его] венам, словно дикий зверь».[10] Болезнь совершенно истощила силы юноши, выздоравливал он медленно. Зубы у него расшатались, а зрение ослабело до того, что Эмиль не мог прочесть афишу на стене дома напротив. В лицей он вернулся только в январе 1859 года.

Возобновление школьных занятий совпало по времени с унизительным для семьи Золя событием. Пришлось в который уже раз перебираться на другую квартиру: из этой, в доме 241 по улице Сен-Жак, их выгнали за неуплату. Эмиль все чаще задумывался о том, что ни ему, ни его родным не узнать передышки до тех пор, пока он не найдет для себя приличной и хорошо оплачиваемой работы. Вот только для этого сначала надо было сдать экзамен на степень бакалавра. «Без дипломов спасения не жди», – пишет он Байлю 23 января 1859 года. Но в том же письме говорит и о том, что категорически отказывается зарабатывать себе на жизнь сидением в какой-нибудь конторе, не желает становиться чиновником. «В последнем своем письме я сообщал тебе о своем намерении как можно скорее поступить на службу в какое-нибудь учреждение, но это было отчаянное и нелепое решение. Мне казалось, что у меня нет будущего, что я обречен сгнить на соломенном стуле, отупеть, что мне не сойти с проторенной дороги… К счастью, меня удержали, когда я был уже на краю пропасти; мои глаза раскрылись, и я с ужасом отступил от бездны, заглянув в нее и увидев ожидавшие меня на дне грязь и камни. Прочь от этого конторского существования! Прочь от этой сточной канавы! – воскликнул я, а затем, озираясь по сторонам, принялся кричать во весь голос, испрашивая совета. Но отозвалось одно лишь эхо, насмешливое эхо, которое повторяет ваши слова, отсылает назад ваши вопросы, не отвечая на них, словно давая понять, что человек должен рассчитывать лишь на

себя». Придя к такому трагическому выводу, Эмиль решил, что ему следует изучать право, чтобы сделаться адвокатом. «Единственное средство для того, чтобы преуспеть, – заключает он, – это труд… Я на время прощаюсь со своими прекрасными золотыми мечтами, уверенный в том, что они снова ко мне слетятся, как только мой голос призовет их с наступлением лучших времен».

На самом деле «прекрасные золотые мечты» его не покидали. Больше того, Эмиль все явственнее ощущал, насколько влечет его к себе литература и отталкивают науки. «Я уже не тот Золя, который усердно трудился, стремился к знаниям, кое-как тащился по пути университетского образования, – пишет он Маргери несколько месяцев спустя. – Ты мой друг, и я могу во многом тебе открыться: знай же, что я отпетый лентяй, что от алгебры у меня начинает болеть голова, а геометрия внушает мне такой ужас, что я содрогаюсь при виде какого-нибудь невинного треугольника… Все это лишь вступление, я собирался сказать тебе о том, что я бездельничал и не бывать мне бакалавром».[11]

С весьма невеселыми предчувствиями юный Золя отправляется в Сорбонну сдавать письменные экзамены. Свое латинское сочинение он сам считает слабым, да и математическую задачу решить ему не удалось. В полной уверенности, что провалился, Эмиль лишь для порядка заглядывает в списки допущенных и с изумлением видит в них свое имя на втором месте. Неожиданный успех придает ему уверенности, он уже меньше боится устного экзамена и, когда подходит его черед, правильно отвечает на вопросы по естественным наукам, по физике, химии, математике… Кажется, до окончательной победы рукой подать. Но тут придирчивому экзаменатору, который задавал вопросы по литературе, вздумалось поинтересоваться датой смерти Карла Великого. Эмиль растерялся, сбился, принялся подсчитывать и ошибся на несколько веков, отправив седобородого императора умирать в царствование Франциска I. Преподаватель нахмурился и, переменив тему, стал расспрашивать экзаменующегося о творчестве Лафонтена. Должно быть, Эмиль недостаточно восторженно отозвался о прославленном баснописце, потому что экзаменатор сделался еще нелюбезнее и сухо проговорил: «Перейдем к немецкому языку». Однако Эмиль никогда не проявлял ни малейших способностей к изучению живых языков и не в силах был ни одной немецкой фразы выговорить правильно, а потому вскоре с ужасом услышал приговор: «Достаточно, сударь!» По окончании устного экзамена преподаватели посовещались, качая головами, и по настоянию коллеги-

словесника решили отклонить кандидатуру абитуриента, на их просвещенный взгляд совершенно не знающего литературы.

Расстроенная неудачей сына, госпожа Золя не смогла тем не менее отказать Эмилю в еще одной поездке в Прованс на время каникул. И через неделю он, в блузе из толстого сукна и в прочных ботинках, уже бродил вместе с Сезанном и Байлем среди благоухающих зарослей, высушенных солнцем и потрепанных ветрами. Вдохновленный созерцанием любимого пейзажа, он решил, что на юге, в этом радостном краю свободы и безделья, у него куда больше шансов выдержать экзамен на степень бакалавра, чем в Париже. Сумев убедить в этом и мать, Эмиль в ноябре 1859 года отправился в Марсель, где для начала должен был сдать письменный экзамен. Он рассчитывал на то, что здешние экзаменаторы окажутся более снисходительными, чем столичные, однако на этот раз не смог преодолеть даже первого испытания, и поражение окончательно выбило его из седла.

Провалившись во второй раз, Эмиль объяснил матери, что для него совершенно бессмысленно и даже вредно продолжать попытки выбиться в люди при помощи наук. Впрочем, и стипендию после двойного провала ему больше не дадут. Единственный выход, какой у него остается, – поступить на службу в какую-нибудь контору, в ту самую «сточную канаву», куда он прежде так боялся попасть. Но разве нельзя и в «сточной канаве», среди грязи, выращивать редкостные цветы? Он будет одновременно переписчиком и поэтом. Музыка строф утешит его, принесет отдохновение от служебного рабства. Да и потом, думал он, как только придет первый успех, можно будет оставить службу и зарабатывать сочинительством.

Вернувшись в Париж вместе с матерью, еще более тревожно, чем прежде, всматривавшейся в будущее, так и не ставший бакалавром Золя отказался возвращаться в лицей, убрал подальше школьные учебники и погрузился в поэтические и сентиментальные мечтания. Его письма к друзьям растягиваются на десятки страниц и представляют собой внутренние монологи. Мысли о женщинах овладевают Эмилем до такой степени, что он всерьез начинает поклоняться Мишле, воспевавшему прекрасный пол, и впадает в экстаз перед гравюрой с картины Греза, изображавшей крестьянку: «Не поймешь, чем восхищаться сильнее, ее задорным личиком или великолепной формой рук, – пишет он Сезанну. – Глядя на них, преисполняешься чувством нежности и восторга… Я долго стоял перед гравюрой и мысленно обещал себе полюбить оригинал».[12]

Нимфы Жана Гужона, украшавшие фонтан Невинных, тоже казались ему соблазнительными, он воспламенялся при виде их

полуобнаженных тел. Глядя на камень, видел оживающую плоть. «Уверяю тебя, это прелестные богини, грациозные, улыбающиеся, точно такие, каких мне хотелось бы видеть рядом с собой, чтобы они развлекали меня в минуты уныния».[13]

Среди этих и подобных им любовных миражей юношу мучили угрызения совести. «Мне стыдно оттого, что я, здоровый двадцатилетний парень, сижу на шее у родных»,[14] – признается он в другом письме, адресованном Сезанну. А месяцем позже пишет: «Я совершенно подавлен, не способен двух слов написать связно, даже ходить не могу. Думая о будущем, вижу его таким черным, таким беспросветным, что в ужасе отступаю. Не на кого опереться, ни женщины, ни друга рядом нет. Повсюду встречаю лишь равнодушие или презрение… Я не получил образования, не умею даже правильно говорить по-французски, я полный невежда… С тех пор, как я приехал в Париж, ни минуты не чувствовал себя счастливым; я ни с кем не вижусь и сижу у огня наедине с моими печальными мыслями, а иногда – и с чудесными мечтами».[15] По словам Эмиля, он немного влюблен в молоденькую цветочницу, которая дважды в день проходит под его окном, но не решается ни пойти за ней следом, ни заговорить с ней. Точно так же, как раньше у него недоставало смелости высказать свое восхищение юной жительнице Экса, которую он в своих письмах называл «эфирной» и которой подумывал посвятить поэму, где мог бы откровенно выразить то, о чем не смел заговорить вслух. Затем, с высоты своего неведения, юноша рассуждает о различных категориях женщин, с которыми приходится в жизни иметь дело порядочному мужчине. Ему-то совершенно ясно, что обольстительные создания делятся на три разряда: продажная девка, вдова и девственница. «О продажных девках я могу поговорить с тобой со знанием дела, – пишет „искушенный парижанин“ Байлю. – Иногда кому-нибудь из нас приходит в голову безумная мысль возвратить падшую женщину на путь добра, полюбив ее и вытащив из грязи. Нам кажется, будто мы находим в ней доброе сердце, последний проблеск любви, и мы пытаемся дыханием нежности раздуть эту искру, обратив ее в пылающий костер… Увы! У продажной девки, творения Божия, при рождении могли быть прекрасные задатки, вот только привычка создала ее вторую природу… Она переходит от одного любовника к другому, не жалея об одном и почти не желая другого… Устав затрагивать каждую струну, не извлекая из нее ни единого звука, устав пробуждать сокровища любви, не встречая отклика, он [молодой человек] понемногу исчерпает свою нежность и ничего, кроме чистой кожи и красивых глаз, от этой женщины требовать не станет. Вот так и заканчиваются все

наши мечты о падших девушках». Тем же наставительно-романтическим тоном молодой человек продолжает разбор, говоря о преимуществах и недостатках любовной связи с вдовой, анализируя чувство, которое вызывает девственница: «Констатирую факт – вдова не является идеалом наших грез, нас отпугивает эта свободная женщина, которая по возрасту старше нас. Не знаю, что за предчувствие говорит нам о том, что, будучи честной, она самым прозаическим образом приведет нас к браку без любви, легкомысленная же превратит нас в игрушку, которую бросит, натешившись, ради другой забавы… Впрочем, я мало знаком с дамами такого рода… Остается девственница, этот цветок любви, этот идеал наших шестнадцати лет, улыбающееся видение у нашего изголовья, чистая возлюбленная поэта, утешительница в его золотых мечтах. Девственница, эта Ева до грехопадения… Увы! Где она, это божественное создание, столь невинное, что человеческая грязь не может его замарать?.. Повсюду я вижу пансионерок, юных девушек, только что покинувших монастырь… Мне продают их на вес золота, мне все уши прожужжали описаниями их потупленных глазок, мне надоедают рассказами о том, как хороши глупенькие детские личики этих куколок. Потом, как следует расписав достоинства девицы и нимало не интересуясь тем, люблю ли я ее, любит ли она меня, мне, во имя нравов, кричат: „Сударь, это дорогого стоит; женитесь сначала, а там, может быть, вы и полюбите друг друга…“ Девственница для нас не существует, она – словно аромат духов, завернутых в три слоя бумаги, которым мы сможем обладать, лишь поклявшись вечно носить с собой пузырек. Распутница навеки себя погубила, вдова меня отпугивает, девственниц на свете не существует».[16]

Стараясь как-нибудь заглушить терзавший его голод, тягу к юной плоти, Эмиль в дождливые дни садился у окна и глядел на женщин, которые приподнимали подолы юбок, переходя через лужи. Ему потребовалось немалое мужество, чтобы привести к себе домой проститутку по имени Берта; по словам одного из его друзей, Жоржа Пажо, она была «одета в лохмотья», у нее были «одни лишь отрицательные достоинства», и казалось, будто «для того, чтобы сдвинуться с места, она ждет вмешательства посторонней силы, которая заставит ее встряхнуться».[17] Это появление в его комнате продажной женщины стало возможным лишь в результате очередного переезда. Теперь Эмиль живет отдельно от матери, у них квартиры в разных домах на одной и той же улице Нев-Сент-Этьен-дю-Мон: он поселился в двадцать четвертом, она – в двадцать первом. «Обитаю я тут в маленькой надстройке, которую когда-то занимал Бернарден де Сен-Пьер и

где, как говорят, он написал почти все свои произведения. Такая мансарда – хорошее предзнаменование для поэта!»[18]

Да, теперь он живет один – свободный, самостоятельный и наконец-то лишившийся невинности. Однако заурядная и вялая любовница нисколько не соответствует его идеалу женщины, в которой он жаждет найти пылкость, обаяние и невинность. Кроме того, он подозревает, что подруга ему неверна. И все же – лишь удобства ради – довольствуется этими отношениями, рассудив, что так лучше. «Моя любовница целует меня и клянется, что нежность ее останется неизменной, а я думаю: уж не собирается ли она мне изменить? – пишет он все тому же Байлю. – Я прикладываю ухо к ее губам и вслушиваюсь в ее дыхание, но оно ни о чем мне не говорит, и я прихожу в отчаяние. Я опускаю голову ей на грудь, чувствую, как она трепещет, слышу, как глухо бьется ее сердце; иногда мне кажется, будто я проник в тайну этого языка, но нет, это всего лишь поднимается тина, и я прихожу в отчаяние. Вот в чем подлинная причина моего одиночества».[19]

Настало время, когда чувственный голод утолен, и нынче ему уже совсем не трудно воспеть в длинной поэме трагическую любовь Родольфо. Рифмы сами собой соскальзывают с кончика пера. С каким наслаждением Эмиль описывает плотские утехи, с которыми так недавно познакомился по-настоящему:

> Как прекрасна пылкая и сладострастная возлюбленная!
> Улыбается разгоряченный поцелуями рот;
> Затуманенный взор сияет счастьем;
> Ее грудь еще трепещет от желания,
> И от волос исходит аромат любви.[20]

Затем сочинитель рождает тысячу двести строф в честь «эфирной» из Экса, каждая – приблизительно в таком духе:

> Ах, белокурое виденье, сестра моя, возлюбленная моя!
> Раскрывшаяся и благоухающая роза на моей тропе,
> Ты, кого я всегда, как в первый день,
> Называю моей эфирной и белой девой любви!

Героиня его творений – неизменно юная дева, чистая, словно лунный луч на каменных склонах гор, неотделима для автора от Экса:

> О Прованс, слезы льются у меня из глаз,

Когда моя лютня звенит твоим сладкозвучным именем.
Лазурное небо и аттические оливы
Делают эту землю сестрой Италии и Древней Греции.

А в письме к Байлю, датированном 10 августа 1860 года, Эмиль признается: «Та, которую я любил, а может быть, и сейчас продолжаю любить, не С…,[21] это эфирная, идеальное существо, и я не столько видел это существо воочию, сколько в своем воображении. Что мне за дело до того, что у девушки, за которой я ухаживал какой-то час, есть любовник? Неужели ты и впрямь считаешь, будто я настолько глуп, что попытаюсь помешать розе любить каждую бабочку, которая приласкает цветок?»

Молодой Эмиль Золя к этому времени уже напечатал несколько стихотворений в южной газете «Прованс», в том числе одно – посвященное памяти его отца, строителя канала Франсуа Золя. Но, несмотря на неутолимое честолюбие, начинающий писатель все же осознает, что стихами для провинциальных газет не сможет заработать себе на жизнь, однако за прозу еще не решается приняться. Проза представляется ему способом выражения, при котором чудесный лиризм гибнет под натиском жестокой реальности, а он чувствует, что его призвание литератора в том, чтобы воспевать одну лишь красоту во всех ее проявлениях. «Заострить перо и приняться умышленно возводить поклеп на человека, лишая его немногих достоинств и подчеркивая многочисленные недостатки, как раз и есть то, что не может мне нравиться, – исповедуется Эмиль все тому же Байлю. – В наш век материализма… поэт облечен священной миссией: ежечасно и повсеместно указывать на душу тем, кто думает лишь о теле, и напоминать о Боге тем, в ком наука убила веру. Искусство… – великолепный факел, озаряющий путь человечеству, а не жалкая свечка в лачуге рифмоплета».[22]

Много позже, став главой и признанным авторитетом школы натурализма, Золя с насмешливым удивлением перечтет это простодушно и требовательно изложенное кредо. Но пока, в то время, о котором мы говорим, он еще убежден в том, что художник – это пророк, посланный Богом для того, чтобы приобщить людей к совершенствам природы. Вот только и пророку ведь надо чем-то питаться, а в обоих домах по улице Нев-Сент-Этьен-дю-Мон живут более чем скудно… Александр Лабо, заботливый друг семьи, к которому госпожа Золя обратилась с просьбой о помощи, нашел для Эмиля место служащего в доках таможни. Жалованье ему положили 60 франков в месяц. Молодой человек смирился с необходимостью идти работать, но очень

скоро пребывание в конторе стало для него пыткой. Он задыхался среди папок с описями, ему нестерпимо было выслушивать пошлые замечания сослуживцев. Эмиль смертельно боялся сравняться с этими убогими бумажными душонками, которые целыми днями заполняют цифрами конторские книги, сгибаясь в три погибели, когда мимо проходит начальник, и поминутно смотрят на часы: когда же, Господи, кончится рабочий день! Ему до того противно было возиться с казенным бумажным хламом, что, продержавшись на службе всего каких-то два месяца, он, к величайшему огорчению матери, уволился.

Наконец Эмиль достиг совершеннолетия и решил в ожидании, пока подвернется менее нудная и неприятная работа, приобрести французское подданство. Как ни странно, всю свою жизнь проведший на территории Франции, молодой Золя, сын француженки, в соответствии с законом 1849 года, поскольку был рожден от отца-итальянца, все еще считался иностранцем. Прежде это обстоятельство нисколько его не смущало, теперь же нелепость положения внезапно бросилась в глаза. Он-то считал себя самым настоящим французом – а как же еще, ведь он думает, говорит и пишет по-французски, не только его мать, но и дедушка с бабушкой по материнской линии – французы, он родился в Париже, все друзья воспринимают его как соотечественника, и пейзажи Прованса снятся ему по ночам! Надо как можно скорее уладить это дело – ведь всего-то и требуется несколько печатей и несколько подписей!

7 апреля 1861 года Эмиль Золя отправляется в мэрию Пятого округа, чтобы принести официальное прошение дать ему французское гражданство. Равнодушный чиновник регистрирует это его прошение: документы, говорит он, направят по обычному пути. Что ж, канцелярская машина пущена в ход, и Золя, довольный, возвращается домой. Теперь остается еще одно дело, правда, куда более трудное: найти работу. «Я не ищу ничего особенного, меня устроит просто-напросто первое же подвернувшееся место, – пишет он Байлю. – Поскольку я поступаю на службу не для того, чтобы сделать карьеру, мне совершенно безразлично, можно ли сделать карьеру в этом учреждении. Лишь бы мне платили тысячу двести франков в год, больше мне ничего не надо, и я нимало не интересуюсь тем, могу ли рассчитывать на продвижение по службе».[23]

Казалось бы, амбиций особых действительно у юноши не было, но дни шли за днями, а никакого решения проблемы даже и не намечалось, и вскоре он еще больше снизил уровень своих притязаний, решив, что возьмется за любую работу, лишь бы не сидеть больше на шее у матери. Похвальное решение, если не

помнить о том, что Эмили слишком любила сына для того, чтобы принять от него такую жертву, и потому он по-прежнему бездельничал, жаловался в пустоту и позволял родным себя подкармливать.

IV. На службе

Конечно, молодой Золя мог вернуться под родительский кров, вновь поселиться вместе с матерью и дедом, это позволило бы семье и за жилье платить поменьше. Но ему больно было видеть, как Эмили, эта преждевременно состарившаяся женщина, склоняется над шитьем и с кротким упреком смотрит на него поверх очков. Она стала живым воплощением его совести. Он обожает мать и избегает ее. Вдали от родственников он пытается оправдать теперешнюю праздность, уверяя себя в том, что зато впоследствии его наверняка ждет слава. Не может такого быть, чтобы сын строителя канала Франсуа Золя в один прекрасный день не прославился, в свою очередь, каким-нибудь великим деянием! Не может быть!.. А сейчас ничего и не оставалось, как только слоняться по парижским улицам, одновременно стыдясь своего бездействия и хмелея от неясных упований.

Порой муки совести пересиливали, но стоило какой-нибудь провинциальной газете напечатать несколько стихотворений Эмиля, и он вновь начинал надеяться. Перед сном чуть ли не по сто раз перечитывал свои творения, перечитывал, пока глаза не начинало ломить. Неужели и впрямь начинается настоящая писательская карьера? Да нет, думал он, от настоящих писателей его еще отделяет непреодолимое пространство, никогда ему не оказаться по ту сторону разверзшейся между ними ледяной пропасти. При одной только мысли о том, что когда-нибудь он увидит свое имя оттиснутым крупными буквами на обложке книги, голова молодого Золя начинала кружиться, словно он перебрал спиртного. Главное его занятие состояло в том, чтобы часами бродить по набережным, подолгу простаивать у лавочек букинистов, перебирая книжки. В своем изношенном линялом пальто с залоснившимся воротником он выглядел сбежавшим из ночлежки бродягой. Вернувшись домой, Эмиль съедал на три су картошки, зажигал свечку, набивал трубку и принимался сочинять стихи, поскольку ничего другого делать не умел…

Друзья выговаривали ему за то, что он бросил работу в доках: «Все-таки это было лучше, чем ничего!» Он возражал, спорил, кипятился, потом, выбившись из сил, сдавался и снова начинал искать работу. Но никто не хотел его брать, нигде в нем не нуждались. «Я долго обивал пороги, – напишет он Байлю, – ходил из одной конторы в другую. Везде дело затягивалось и ничем не заканчивалось, толку никакого. Ты и представить себе не можешь, как трудно меня пристроить. И нельзя сказать, чтобы я выдвигал какие-то особенные требования… Дело в том, что я знаю много

лишнего, а необходимого-то как раз не знаю и не умею… Я вхожу, вижу перед собой господина в черном с головы до ног, склонившегося над более или менее заваленным бумагами столом; он продолжает писать с таким видом, словно и не подозревает о моем существовании, ему до меня и дела нет. Проходит довольно много времени; наконец он поднимает голову, смотрит на меня с неприязнью и резким тоном спрашивает: „Что вам угодно?“… За этим следует длинный ряд вопросов и нескончаемых разглагольствований, всегда одних и тех же и примерно такого рода: хороший ли у меня почерк? умею ли я вести бухгалтерские книги? в каком учреждении я раньше служил? к чему я пригоден? – и так далее. После чего этот тип сообщает, что завален просьбами, что в его конторе мест нет, все должности заняты, и придется мне поискать работу где-нибудь еще. И я, расстроенный, спешу уйти, огорчаясь из-за того, что ничего не добился, и радуясь тому, что не придется оставаться в этой мерзкой дыре».[24]

И вдруг среди уныния блеснул луч великой радости: Полю Сезанну наконец-то удалось уговорить отца, и друг приехал в Париж, чтобы продолжить занятия живописью. Как только первые восторги от встречи поутихли, молодые люди принялись налаживать жизнь, но не так уж хорошо она налаживалась. У Сезанна оставался все такой же нелегкий характер, Париж он ненавидел и бранил все подряд: кабаки, памятники, погоду. Еще он не терпел, чтобы Эмиль в чем-то его упрекал, тем более – делал замечания или давал советы. Впрочем, они ведь не жили под одной крышей, и это помогало избегать многих недоразумений. Кроме того, Сезанн каждый день ходил заниматься в Швейцарскую академию на набережной Орфевр, Золя же оставался в своей комнате, курил и сочинял. Обедали они тоже порознь: разные у них были представления о том, где следует принимать пищу. Золя изредка приходил к Сезанну и позировал ему. Художник молчаливо и яростно писал его портрет. Затем снова уходил, на этот раз в мастерскую Вильвьея. «Я редко вижу Сезанна, – пишет Золя Байлю. – Увы! Все стало совсем не так, как в Эксе, когда нам было по восемнадцать лет, мы были свободны и не задумывались о будущем. Теперь нас отдаляют друг от друга требования жизни, и работаем мы врозь… Разве на это я надеялся?» Разочаровавшись в своем слишком уж недоверчивом, своенравном, взбалмошном друге, Золя теперь открывает в нем все новые и новые недостатки. «Доказать что-либо Сезанну, – пишет он дальше, – все равно что попытаться уговорить башни собора Парижской Богоматери сплясать кадриль… Он вытесан из цельного куска, он твердый и

неподатливый на ощупь… Он терпеть не может споров и обсуждений, потому что, во-первых, разговаривать для него утомительно, а во-вторых, если противник окажется прав, придется изменить свое мнение… Когда его уста произносят „да“, в мыслях он чаще всего говорит „нет“… Чтобы не потерять его расположения, мне приходится приспосабливаться к его настроениям».[25]

Начатый портрет продвигался медленно. Сезанн был недоволен тем, что у него получалось. Иногда он устраивал перерыв посреди сеанса, и друзья отправлялись в Люксембургский сад выкурить по трубочке. Затем они возвращались в комнату Сезанна на улице Ада, и Золя снова застывал в неподвижности под пристальным взглядом художника. Время от времени Сезанн принимался клятвенно уверять Эмиля, что больше не может жить в Париже и хочет вернуться в Экс. Золя, как мог, его отговаривал. Но однажды утром, явившись к другу, увидел раскрытый чемодан посреди комнаты и полупустые ящики комода. «Завтра я уезжаю», – злобно бросил Сезанн. «А как же мой портрет?» – удивился Золя. «Твой портрет я только что порвал. Сегодня утром хотел его подправить, но, поскольку он становился все хуже и хуже, уничтожил его, а теперь уезжаю!» Золя благоразумно не стал спорить с другом и повел его завтракать в дешевый трактир. Насытившись и поразмыслив, Сезанн отказался от своего намерения. «Но это всего лишь жалкая отсрочка, – объяснил Золя Байлю. – Если он не уедет на этой неделе, значит, уедет на следующей… И, думаю, поступит правильно. Может быть, у Поля есть задатки большого художника, но он лишен способности им стать. Малейшее препятствие приводит его в отчаяние. Еще раз тебе говорю, ему лучше уехать, если он хочет избежать множества неприятностей для себя».[26]

После этого Сезанн и Золя в течение многих недель продолжали изводить друг друга – слишком уж разными были они по характеру, – ссорились, потом мирились, потому что их все-таки связывали общие воспоминания. Поль водил Эмиля на художественные выставки, в мастерские, где работал вместе с толпой бородатых живописцев, куривших трубки, вытаскивал за город, они купались в холодной воде и высмеивали неумелых пловцов. Дня не проходило, чтобы старые друзья не поспорили из-за какой-нибудь картины, которую один находил великолепной, другой – отвратительной, или о том, в самом ли деле необходимо усердно трудиться, чтобы добиться успеха в области искусства, или о влиянии отца-банкира на карьеру сына. Что касается последнего вопроса, для Поля эта тема была

особенно болезненной. Он не мог простить отцу того, что у того есть деньги, и все же признавал, что только богатство банкира дает самому Полю возможность заниматься живописью, вместо того чтобы изучать право, как было заведено в семье. Стремясь сохранить мир и покой, Эмиль старался, насколько было возможно, избегать этой взрывоопасной темы. Он, с такой восторженной нежностью относившийся к покойному отцу, не понимал, как может Поль столь яростно восставать против собственного родителя. Когда Сезанн в начале сентября наконец и в самом деле вернулся в Экс, Золя испытал сложное чувство: он одновременно потерял друга и избавился от неприятного соседства.

Наступили холода. Золя, перебравшийся к этому времени в убогую меблированную комнатку в доме 11 по улице Суффло, сидел за рабочим столом, кутаясь в одеяло, чтобы хоть как-то согреться, и писал. Он называл эту ситуацию – «играть в араба». Продрогший, голодный, писать он себя попросту заставлял, хотя планы у него были по обыкновению грандиозные. Так, например, сочинитель задумал объединить под общим заголовком «Три любви» свои поэмы «Родольфо», «Эфирная» и «Паоло».[27] Все мысли были о литературе, но тем не менее, считая себя поэтом до мозга костей, Эмиль не мог отрешиться от окружавшей его мрачной действительности. Когда-то он попрекал Байля реалистическим взглядом на жизнь: «Когда возишься в грязи, она непременно пристанет к рукам, – писал он другу, – а когда на заре блуждаешь среди полей, возвращаешься благоухающим цветами и росой… Лирический певец… воспевающий лишь добро, справедливость и красоту, показывающий человеку лишь сияющие картины, пытаясь возвысить других, возвышается и сам».[28] Теперь он уже не так в этом уверен. Он раздумывает над тем, имеет ли право, барахтаясь в нищете и грязи своего времени, посвятить себя мечте о чистоте и гармонии. Для чего создан художник – для того, чтобы отвернуться от мира, или для того, чтобы изобразить его во всех ужасающих подробностях? Кем ему следует быть – певцом с воздетым к небесам взором или въедливым свидетелем века, а если потребуется, то и его обвинителем? Из-за стен комнаты до него доносились не мелодичные голоса, но злобные выкрики, брань, звон стаканов, непристойные песенки, прерывистое дыхание и любовные стоны, смешки шлюх. Посреди ночи он нередко просыпается от шума: кто-то топал по коридору в грубых башмаках, пронзительно визжали женщины, слышались ругань, плач, глухие удары. Все понятно: явилась полиция нравов, уводят кого-то из соседей. Повернувшись на другой бок, Эмиль снова засыпал, а

проснувшись, пересчитывал деньги в кошельке. И неизменно обнаруживал, что их едва хватит на то, чтобы купить кусочек итальянского сыра, немного хлеба и яблоко. Иногда он доходил до ловли воробьев у себя на подоконнике: поймав, сворачивал им шеи и жарил, чтобы хоть как-то разнообразить скудный стол. Но так противно убивать птиц! Где же раздобыть денег? Все, что только можно было заложить, он уже снес в ломбард… Решено было обойти немногочисленных знакомых и занять у каждого хоть сколько-нибудь денег, чтобы продержаться до конца недели. Но везде бедняга натыкался на смущенный отказ. Берта, его любовница, ходила повсюду вместе с ним и ворчала, что больше не может жить с «промотавшимся вконец человеком». Разозлившись, он однажды стащил с себя пальто, швырнул его ей со словами: «Снеси в ломбард!» – и, оставшись в рубашке и жилете, побежал домой. Холод пробирал до костей…

Но, несмотря на бедность и неустроенность, Золя и в голову не приходило восстать ни против имперского правительства, ни против поддерживающих это правительство выскочек. Политика его не касалась. Он был слишком поглощен поэзией для того, чтобы выступать с обвинениями против того или иного министра. Не испытывал он и искушения, подобно многим бунтарям, грозить кулаком небесам и осыпать Господа упреками за несправедливости, которые обрушивала на него судьба. Его религиозность отличалась умиротворяющим благоразумием. Богобоязненный, хотя и не соблюдающий религиозных обрядов католик, Эмиль писал Байлю: «Я верую в Бога всемогущего, доброго и справедливого. Я верю, что Бог создал меня, что Он руководит мной в моей земной жизни и ждет меня на небесах. Моя душа бессмертна, и, дав мне свободу воли, Господь оставил за Собой право карать и награждать. Я должен делать все хорошее, избегать всего плохого и полагаться прежде всего на доброту и справедливость моего Судии. Я и не знаю, кто я – еврей-католик, еврей-протестант или мусульманин, знаю только, что я – творение Божие, и этого мне достаточно».[29]

В декабре 1861 года произошли два очень важных для него события. Во-первых, Жан Батист Байль приехал в Париж поступать в Политехническую школу, а во-вторых, после долгой болезни умер дедушка Обер. Дочь, которая все это время заботливо за ним ухаживала, все-таки, хоть и сильно горевала, невольно думала о том, что теперь одним ртом стало меньше. Золя, естественно, тоже был опечален кончиной старика, который всегда, сколько он себя помнил, скромно, как тень, присутствовал где-то рядом с матерью. А приезд Байля… Не особенно долго он радовался его приезду, поскольку тот, едва появившись в столице,

с головой погрузился в учебу и целыми днями пропадал в крепости на улице Декарта, на склоне горы Сен-Женевьев. В общем, печалей оказалось больше, чем радостей.

Примерно тогда же, в самом конце года, один друг семьи, член Медицинской академии, пообещал госпоже Золя пристроить Эмиля служащим в издательство Ашетта. Но место должно было освободиться лишь через несколько недель. Заметив, какой удрученный вид сделался у молодого человека при этой вести, господин Буде растрогался. Разглядел осунувшееся, посиневшее от холода лицо просителя, ласково улыбнулся и попросил Эмиля разнести по адресам к Новому году визитные карточки с предварительно загнутыми уголками, в благодарность за согласие оказать услугу сунув ему в руку луидор.

Золя аккуратно исполнил поручение. Ради этого ему пришлось немало побродить по засыпанному снегом Парижу. Все люди, к которым он являлся с поздравлениями от Буде, были выдающимися личностями. Конечно, никого из них он в глаза не видел, довольствовался тем, что оставлял каждому из них визитную карточку на серебряном подносе. Но зато он дышал одним воздухом с Теофилем Готье, Тэном, Октавом Фейе, Эдмоном Абу… Правда – и только! А он-то надеялся, что ему выпадет какая-нибудь блестящая возможность войти в мир литературы! Вот как иногда сбываются мечты… С горечью посмеиваясь над собой в роли рассыльного, Золя прислушивался к великолепным созвучиям, рождавшимся у него в голове.

Несмотря на жестокие боли в животе, Эмиль в это время упорно трудился над автобиографией, которую назвал «Моя исповедь». Ему казалось, что все вокруг него рушится – и его надежды, и его воспоминания… «Париж не пошел на пользу нашей дружбе, – признал он в письме Сезанну. – Может быть, для того, чтобы вдохнуть в нее веселье, необходимо солнце Прованса?.. Все равно, как бы там ни было, я по-прежнему считаю тебя своим другом».[30] Зрение у Золя слабеет; он отпускает бородку, чтобы скрыть вялый, скошенный назад подбородок; руки дрожат; у него нередко кружится голова, потому что он никогда не ест досыта. Ну когда же господин Луи Ашетт примет его в свои объятия и избавит тем самым от всех бед?

Наконец, первого марта 1862 года, настает время отправляться на улицу Пьер-Сарразен, где расположено издательство Ашетта. И тут он узнает, что его карьера начинается с мелкой должности. Жалованье – сто франков в месяц. Сосланный в пыльную комнату где-то на задах, он упаковывает книги. Вместо того чтобы печататься самому, рассылает чужие сочинения. Пальцы у него немеют оттого, что целыми днями

приходится затягивать узлы. «За окном сияет солнце, а я сижу взаперти, – пишет он Сезанну. – Вот уже целый час смотрю на каменщиков, которые работают напротив моего окна: они ходят взад и вперед, поднимаются, спускаются, они кажутся такими довольными. А я сижу и считаю, сколько минут еще осталось до шести часов. Ах, проклятая печаль! Вечный припев всех моих песен… Сегодня буду работать весь вечер, до полуночи, и если мне удастся, как вчера, сочинить хорошее стихотворение, у меня появится запас радости на завтра. Что я за дурак несчастный!»[31]

Вскоре Эмиль получил повышение по службе – его перевели в отдел рекламы и удвоили жалованье. Вдохновленный случившимся, он немедленно вообразил, будто ему дозволено давать советы самому господину Луи Ашетту, и предложил тому создать «Библиотеку начинающих» – серию, в которой издавались бы только произведения молодых неизвестных авторов. Затем, не дав хозяину опомниться и решив взять быка за рога, положил тому на стол собственный поэтический сборник под названием «Любовная комедия». По словам автора, он предлагал издателю триптих, сопоставимый не больше и не меньше, как с «Божественной комедией» Данте: здесь можно найти свой любовный ад («Родольфо»), свое чувственное чистилище («Паоло») и свой неземной рай («Эфирная»).

Двое суток Эмиль в тревоге ожидал приговора. Наконец Луи Ашетт позвал его к себе и твердо заявил, что стихи у Золя, конечно, неплохие, но для того, чтобы его творениями заинтересовалась широкая публика, ему следует писать прозу. Золя, не моргнув глазом, выслушал совет искушенного коммерсанта. На самом деле он уже давно, размышляя в тиши своей комнаты, пришел к точно такому же выводу. Вернувшись домой, сочинитель перечитал свои последние рифмованные сочинения и не без сожаления признал, что они вполне заурядны. Но ведь у него прямо здесь, под рукой, лежит совершенно готовый поэтический сборник, его вполне можно издать! Должен ли он отказаться от него в пользу романа, который еще даже и не написан? Конечно, он набросал первые страницы «Исповеди Клода», у него есть несколько новелл, из которых можно составить сборник, но ничего из этого до конца не доведено. Неважно! Если его, как сказал Луи Ашетт, ждет большое будущее при условии, что он позабудет про стихи, Золя готов сменить не только средства выражения, но и самую кожу. Он готов расстаться с чем угодно, лишь бы впереди его ждал успех. Париж стоит мессы, а ради литературной славы можно изменять музам. Впрочем, кто знает, может быть, принося эту жертву, он еще и удовольствие получит? Собрав волю в кулак, Золя окончательно

решает посвятить себя той самой прозе, которой до сих пор пренебрегал. «Я буду складывать рукописи стопочкой, одну на другую, у себя в столе, а потом в один прекрасный день начну понемногу рассылать их в газеты, – делится он с Сезанном своими планами. – Я уже написал три новеллы страниц примерно на тридцать… Рассчитываю сочинить таких штук пятнадцать, а затем попытаюсь где-нибудь их издать».[32]

23 сентября 1862 года Эмиль посылает Альфонсу Калонну, главному редактору «La revue contemporaine» («Современного журнала»), сказку «Поцелуй ундины», сопроводив рукопись запиской в несколько строчек: «Мое имя не имеет никакого литературного веса, оно совершенно никому не известно. И все же я надеюсь, что краткость моего сочинения склонит вас к его прочтению». Сказка, отвергнутая «Современным журналом», тем не менее вскоре после этого была напечатана в «Revue du mois» («Обозрение месяца»), затем – в «Nouvelle Revue de Paris» («Новый парижский журнал»). Золя в упоении читал и перечитывал свое имя под только что опубликованным коротеньким текстом. Ему казалось, будто этой типографской краской над ним совершен был обряд миропомазания, будто произошло его литературное крещение. Другое «крещение», на этот раз официальное, свершилось 31 октября 1861 года: в этот день Золя сообщили, что его прошение удовлетворено, что он получил наконец французское гражданство.

V. Рождение писателя

Сделавшись у Ашетта руководителем рекламного отдела, Золя с головой погрузился в литературную жизнь Парижа. Самые известные авторы, войдя в его кабинет, принимались откровенничать. Он слушал, как знаменитые писатели простодушно рассказывают о своих честолюбивых замыслах, о том, насколько хорошо продаются их книги, как им хотелось бы заслужить похвалу того или другого критика, жалуются, что последняя книга была недостаточно широко разрекламирована. Все эти великие люди, которым и в голову не приходило видеть в молодом человека будущего собрата по перу, на сегодняшний день готового их проглотить с потрохами, раскрывались перед ним, доверялись ему, считая своим техническим советником. Немногословный и деятельный Золя узнавал от них все о закулисной стороне писательской работы. Они-то думали, будто он сидит в этом кабинете для того, чтобы работать на них, а на самом деле сами на него работали, обучая ремеслу. Еще не издав ни одной книги, он уже сравнялся с ними в умении дергать за ниточки, приводящие к успеху. Весьма полезными, таким образом, оказались завязанные у Ашетта знакомства с Дюранти, теоретиком реализма, Тэном, Ренаном, Литтре, Сент-Бевом, Гизо, Ламартином, Мишле, д'Абу, Барбье д'Орвилли… Большинство из них, несмотря на все свои таланты и дарования, нуждались в деньгах, и они только и говорили, что о контрактах, тиражах, гарантиях, авторском праве, отношениях с прессой… Золя понимал их. Для него самого литература тоже должна была стать одновременно священнодействием и заработком, дающим средства к существованию. А пока, надеясь когда-нибудь догнать уже увенчанных лаврами сочинителей, он рассылал в газеты сообщения, расхваливая достоинства какого-нибудь Амеде Ашара или Прево-Парадоля.

Однако, любезно встречая каждого из посетителей рекламного отдела, он ни с кем не сближался. Его настоящими друзьями оставались только те, с кем он познакомился в Эксе. Сезанн как раз вернулся в Париж и снял мастерскую. Байль два раза в неделю вырывался из Политехнической школы. Неразлучная троица воссоединилась. Они поклялись, что будут помогать друг другу завоевывать столицу, а потом – почему бы и нет? – Францию. Сезанн, менее остальных стесненный в средствах, но и самый неуравновешенный, приобщал друзей к живописи в том понимании, в каком воспринимал ее сам. Байль, наиболее холодный и рассудительный, видел все в свете науки и

мечтал добраться до сияющих вершин отвлеченного исследования. А Золя, самый чувствительный и страстный из троицы, спрашивал себя, не окажется ли верным решением для него в его занятиях литературой соединить яркое кипение Сезанна с научной строгостью Байля.

Увы! Байль при жеребьевке вытянул несчастливый номер и должен был отправляться на военную службу. Золя предстояло пройти через то же испытание. Может быть, зря он так добивался французского гражданства? Останься он итальянцем, никто бы его не тронул! Но ему повезло: он вытянул номер 495, что означало освобождение от призыва. Вот молодой человек и свободен словно ветер! Что касается Сезанна, ему тоже удалось избежать воинской службы: отец нанял ему заместителя. Такая двойная удача примирила Золя с армией. Его существование обеспечено. Он окончательно избрал свой путь. Чего же еще желать?

Вместе с Сезанном они стали совершать долгие прогулки – в Фонтене-о-Роз, в Оне, в Волчью Долину… Где-то их взгляды притянул прудик с зеленой водой. Сезанн немедленно расставил на берегу мольберт и принялся лихорадочно писать этюд. Золя наблюдал за тем, как пляшет по холсту кисть, и пытался понять, отчего другу так нравятся грубые пестрые краски.

И – понял! Искусство того времени было исключительно академическим, прилизанным и выхолощенным. Именно против этого засилья обывательской условности, приличий в живописи и выступили новички. Осознав это, Золя решительно встал на их сторону: даже не потому, что ему так уж нравились их работы, просто для него именно эти люди олицетворяли собой будущее. Он считал, что все дело в смене поколений. Молодые должны держаться вместе, идти бок о бок, во всех областях помогая друг другу сменять, а если потребуется, и свергать стариков.

Сезанн мечтал поступить в Школу изящных искусств, но провалился на вступительных экзаменах. Кроме того, он надеялся выставиться на Салоне 1863 года, только и здесь его отвергли – вместе с Писсарро, Клодом Моне и Эдуаром Мане. Неудивительно: зажиточный буржуа, задававший тон во времена Наполеона III, не любил, чтобы покушались на его привычки. Он стоял за порядок, религию, ценил богатство, благопристойность и неизменность. Его пугало всякое проявление оригинальности как в искусстве, так и в политике. В живописи он отдавал предпочтение историческим сценам, жанровым полотнам, миленьким сюжетам, изображениям мифологических богинь, чья гладкая и нарядная нагота услаждала взгляд словно пирожное. Но, слава богу, Империя не стояла на месте, кое-что в ней

менялось, и ей уже хотелось порой показать себя либеральной.

24 апреля 1863 года «Le moniteur officiel» («Официальный вестник») помещает следующее удивительное сообщение: «До императора дошли многочисленные жалобы по поводу произведений искусства, отвергнутым жюри выставки. Его Величество, желая предоставить публике возможность судить о том, насколько обоснованны эти жалобы, решил, что отвергнутые произведения искусства будут выставлены в другой части Дворца промышленности».

Сезанн и Золя восприняли это решение как первую победу новаторов. Однако на самом деле речь шла о ловушке. Публика, воспитанная в уважении к традициям и из любопытства толпой повалившая в Салон Отверженных, восхищалась великодушием и широтой ума императорской четы, одобряла мнение жюри и нисколько не скрывала, что новая живопись вызывает у нее только ужас и омерзение. А наши друзья, отправляясь на выставку, как раз наоборот, ожидали потрясения, открытия чего-то нового, и их надежды полностью оправдались. Едва войдя в зал, молодые люди остановились как вкопанные перед большой картиной, на которой изображена была расположившаяся на поляне, испещренной солнечными пятнами, небольшая компания: обнаженная женщина, сидящая вполоборота к зрителю, и двое мужчин в современных костюмах. Это был «Завтрак на траве» Эдуара Мане. От полотна исходило ощущение силы, дерзости, и в то же время от него шел такой свет, что перехватывало дыхание. Официальный же Салон предлагал посетителям умиротворяющие картинки под названиями «Первые ласки», «Драже на крестинах», «Отменный аппетит», «Бабулины друзья»…

Конечно же, ни к чему подобному не имело отношения внезапно ослепляющее зрителя великолепие этой непристойной наготы, обрамленной темными пиджаками! Люди собирались у картины кучками, перешептывались. Мужчины посмеивались, дамы возмущались, девицы потупляли глазки. Что касается Сезанна и Золя, они были покорены с первого взгляда. Но по-разному. Сезанн открыл в картине Мане новый способ видеть, простой и грубый одновременно, и искусную технику, позволяющую воссоздать атмосферу места, противопоставляя цвета. Золя же разглядел в этом своеобразное художественное выступление, целью которого было откровенное воссоздание неприкрашенной действительности и полное пренебрежение жалким писком кучки возмущенных снобов. Правда, при несовпадении взгляда на вещь и тот и другой почувствовали, что их в каком-то смысле оплодотворила эта терпкая картина жизни. Золя даже испытал внезапное желание выступить в защиту Мане,

доказать всему миру, что Мане – гений, вступить с пером наперевес в ту битву за правду, которую Мане вел, вооружившись кистью.

Сезанн водил Эмиля по мастерским, и тот не просто подружился с передовыми художниками того времени: Писсарро, Моне, Дега, Ренуаром, Фантен-Латуром, с самим Мане, – но и страстно увлекся их живописью, высмеивавшей тупость привыкшей к олеографиям толпы. Поль, у которого была беспорядочная личная жизнь и часто менялись подружки, знакомил друга и с женщинами. Одна из них, Габриэль Элеонора Александрина Меле, привлекла внимание Эмиля. Пышнотелая и чуть грубоватая, она ничем не напоминала ни крестьяночек Греза, ни нимф Жана Гужона, в которых Золя влюблялся в годы своего одиночества. Тем не менее крепкое тело, здоровый дух и приземленность этой Юноны его пленили.

Габриэль Александрина, родившаяся 16 марта 1839 года, росла без матери, вышла из низов, успела к тому времени поработать гладильщицей, а сейчас торговала цветами на площади Клиши. Для Золя все это было лишь дополнительным поводом проявить к ней интерес. Вскоре молодая женщина стала для него надежным и оздоровляющим убежищем, которое было ему так необходимо для того, чтобы твердо стоять на ногах. И он сделал выбор в ее пользу точно так же, как сделал выбор в пользу реализма в живописи и литературе.

Желая развить свои новые теории в этой области, Эмиль принимается за письмо к другу из Экса, Антони Валабрегу, тоже страстному любителю поэзии. В письме он долго рассуждает на тему трех экранов (классического, романтического, реалистического), на которые проецируется гений писателя. По его словам, «классический экран представляет собой молочно-белый лист, покрытый ровным, тонким и плотным слоем чистейшего талька… Цвета предметов, проходя через его приглушенное сияние, блекнут… Образ в этом холодном и слабо просвечивающем кристалле теряет всю свою резкость, всю свою живую и светоносную силу… Романтический экран – зеркало без амальгамы, ясное, хотя местами слегка затуманившееся, и окрашенное в семь цветов радуги. Это стекло не только пропускает краски, но делает их еще ярче; порой оно преображает и смешивает их… Реалистический экран – простое оконное стекло, очень тонкое, очень чистое. Оно претендует на такую прозрачность, какая позволит любым образам, пройдя сквозь него, воспроизвестись затем без прикрас во всей своей жизненности… Меня, если надо об этом упоминать, более всего влечет к себе реалистический экран; он удовлетворяет мой разум,

и я чувствую в нем беспредельную красоту прочности и истины». [33]

Через несколько месяцев к Золя пришло ощущение уверенности в себе. Когда он объединил несколько своих новелл в сборник под названием «Сказки Нинон» и отнес рукопись своему работодателю, тот сразу же порекомендовал автора издателю Этцелю.

Явившись к Этцелю, Золя самоуверенно заявил: «Сударь, три издателя отвергли мою рукопись. Тем не менее у меня есть талант». Этцеля такое заявление позабавило, он пообещал рукопись непременно прочесть, и всего через двое суток Золя получил короткую записку: «Зайдите ко мне завтра». В ожидании назначенного часа Эмиль бродил по аллеям Люксембургского сада, и голова у него шла кругом от предчувствий. И вот наконец он предстал перед Этцелем. «Ваша книга принята, – сообщил издатель. – Это господин Лакруа, он будет ее выпускать в свет и сейчас подпишет с вами договор». Счастливый Золя побежал с новостью к матери – бедная женщина, услышав ее, расплакалась от гордости за сына.

А он немедленно начал делать рекламу своей книге. Воспользовавшись служебным положением в издательстве Ашетта, разослал десятки писем знакомым критикам, напоминая им о себе и стараясь разжечь их любопытство. Результат не заставил себя ждать. «Сказки Нинон», появившиеся на прилавках книжных магазинов в ноябре 1864 года, были благосклонно встречены прессой. Ничего удивительного – эти коротенькие рассказы, пресные и банальные, не могли не понравиться журналистам и публике, больше всего на свете хотевшим, чтобы никто не потревожил их устоявшихся вкусов.

Ободренный первым успехом, Золя принялся печатать статьи и новеллы в «Le Petit Journal», «La Vie parisienne», «Le Salut public de Lyon» (издания «Маленькая газета», «Парижская жизнь», «Общественное благо Лиона»)… Но главным делом его жизни в то время стало сочинение автобиографического романа «Исповедь Клода».

«Сегодня мне хочется двигаться быстро, и рифма стесняла бы меня, – пишет он Антони Валабрегу. – Я перешел на прозу и прекрасно себя чувствую. Пишу роман и думаю выпустить его в свет через год… Сочинять! сочинять!! сочинять!!!» [34]

В «Исповеди Клода» Золя рассказывает историю бедного поэта, который связывается с уличной девицей Лоранс, из жалости оставляет ее у себя, пытается спасти подругу от порока, но понемногу начинает скатываться следом за ней. Однако, достигнув всей глубины падения, герой романа вырывается из-

под действия чар проститутки, бежит из Парижа и укрывается в Провансе, где надеется вновь обрести достоинство, безмятежность и вкус к жизни и литературе. Это пока еще не жесткий и суровый реализм, который в будущем станет свойственным Золя, а только робкие подступы к этому литературному стилю.

Золя вложил в первое свое крупное произведение немалую долю личного опыта. Клод, несчастный поэт, – это он сам, Лоранс – это Берта, «развратная девица», которая перебиралась вместе с ним из одной лачуги в другую и на чье нравственное исцеление он тщетно рассчитывал; наконец, возрождение героя после возвращения в Прованс говорит о собственной привязанности писателя к навеки оставшемуся в его памяти краю. Книга даже и посвящена «друзьям Полю Сезанну и Жану Батистену Байлю» – тем, с кем жизнь свела Золя именно в Провансе.

Несмотря на полную бесцветность романа Золя, генеральный прокурор Франции изучил это сочинение и составил после этого донесение министру юстиции. Осуждая крайности, в которые временами впадает автор, прокурор высказывает мнение о том, что нет оснований для того, чтобы обвинить его в оскорблении нравственности общества. Золя вздохнул с облегчением: его «Исповедь» не будет изъята с полок магазинов! Ее и не изъяли, но, надо сказать, продавалась книжка плохо. Несколько критиков отозвались о ней благожелательно, другие же, в том числе и Барбье д'Орвилли, – с нескрываемой оскорбительностью. Последнему Золя ответил весьма резким письмом, одновременно с этим рассказав о своих переживаниях Антони Валабрегу: «На меня со всех сторон сыпались удары, я погублен в мнении порядочных людей… Но сегодня я известен, меня опасаются и меня оскорбляют; сегодня я вхожу в число авторов, которых читают с ужасом. Вот в чем мастерство… Мастерство заключается в том, чтобы, написав произведение, не дожидаться читателя, а идти ему навстречу и заставлять его ласкать или оскорблять себя… Вы спрашиваете, много ли денег принесла мне моя книга. Сущий пустяк. Книга никогда не прокормит автора. По моему договору с Лакруа мне причитается 10 % с установленной цены. То есть с каждого экземпляра книги я получаю 30 сантимов. Экземпляров отпечатано полторы тысячи. Считайте сами. И заметьте, что у меня очень выгодный договор. За мной остается право газетной публикации. Всякое сочинение, чтобы прокормить своего автора, должно сначала пройти через газету, которая платит из расчета от 15 до 20 сантимов за строчку».[35]

Золя с наслаждением выстраивает цифры. Роман для него – одновременно и произведение искусства, и торговая сделка. «Я не хочу, чтобы произведение сочинялось с целью продажи, – еще в

1860 году объяснял он Сезанну, – но, как только оно написано, я хочу, чтобы оно продавалось».[36] На худой конец, Эмиль мог согласиться с тем, чтобы поэзия предназначалась немногочисленным ценителям, но проза, считал он, должна привлекать толпы читателей. Ни один достойный этого звания писатель не должен стесняться того, что его книги расхватывают, как горячие пирожки. Разве нет у них, у этих милых авторов, перед глазами примеров Бальзака, Гюго, Диккенса? И, несмотря на почти полный провал, постигший «Исповедь Клода», Золя уверен в том, что вскоре массовый читатель будет либо восхищаться им, либо проклинать его. Узнав от Антони Валабрега, что в Эксе намереваются переименовать канал Золя, он высокомерно отзовется: «Я нисколько не дорожу слабой известностью, которую может принести мне имя, данное стене; что же касается меня лично, я чувствую себя в силах, если потребуется, возвести множество стен».[37]

Вот только теперь он опасается, как бы служба у Ашетта не помешала ему строить те «стены», которые он намеревается возводить. Для того чтобы полностью посвятить себя творчеству, ему необходима полная свобода. Получить ее оказалось несложно: покровитель Эмиля, Луи Ашетт, скончался, а новому хозяину совершенно не нравилась активная деятельность в книгоиздательском доме современного дерзкого писателя. Тем более что у него дома, как и в помещении издательства, полиция произвела обыск. Секретные службы больше всего интересовались тем, что Золя когда-то печатал стихи в левой газете «Travail» («Труд»), возглавляемой Клемансо…

Что ж, чему быть, того не миновать. Произведя точные подсчеты, Золя убедился в том, что благодаря своим книгам и статьям сумеет свести концы с концами, и потому вскоре бросил службу, сохранив, правда, за собой возможность внештатного сотрудничества с издательством – редактирования для него некоторых книг, имея для себя в виду выколачивание за это максимальных сумм.

Ну, вот он и сделался «профессиональным» писателем! Эмиль снова, в который уже раз, переезжает, сняв очередную квартиру и поселившись в ней вместе со своей любовницей Александриной[38] Меле. Она стала преданной подругой, внимательной к перепадам его настроения и уважающей его работу. По четвергам, когда к нему приходили соратники – Сезанн, Байль, Ру, Солари, Пажо, Писсарро, – она скромно сидела в уголке. А они смеялись, спорили за бутылкой вина об искусстве и литературе. Разгорячившись, Золя был готов бросить вызов всему миру. И всегда сохранял уверенность в победе. «Я буду

выколачивать деньги, сколько смогу, чем больше, тем лучше, – пишет он Антони Валабрегу. – Впрочем, я верю в себя и отважно иду вперед».[39]

VI. Журналист, любитель искусства

Едва начав сотрудничать с различными газетами, Золя принялся строить большие планы. Нет, он не может довольствоваться второстепенными газетками, они недостойны его подписи под статьями. Поскольку он поклялся завоевать Францию, ему требуется издание с большим тиражом.

Очень быстро Эмилю пришла в голову мысль о том, чтобы устроиться работать к Ипполиту Вильмесану, который после того, как основал «Фигаро», намеревался выпускать теперь дешевую газету «Событие». Золя знал, что у этого человека, могучего тяжеловесного исполина с отвисшей губой, хриплым голосом и манерами ломового извозчика, непогрешимое деловое чутье и что прямоту и смелость он ценит выше виртуозной учтивости. И вот 11 апреля 1865 года Золя обратился с откровенным письмом к Альфонсу Дюшену, сотруднику и секретарю Вильмесана. «Сударь, – писал он, – я желаю как можно быстрее преуспеть. Так вот, я буду с вами откровенен. Охваченный нетерпением, я подумал о вашей газете как об издании, которое может быстрее всего принести мне известность. Посылаю несколько страниц текста и самым наивным образом спрашиваю: подходит ли это вам? Если вам не понравлюсь лично я, не станем больше об этом говорить; если же вам не понравится лишь приложенная к этому письму статья, могу написать что-нибудь другое. Я молод и, не скрою, верю в себя. Мне известно, что вам нравится испытывать людей, отыскивать новых сотрудников. Откройте меня, испытайте меня! За вами всегда будет оставаться право первого покупателя».

Просьба осталась без ответа, и через год Золя написал другое письмо, на этот раз зятю Вильмесана, публицисту Гюставу Бурдену, которому поручено было вести в недавно основанной газете раздел литературной критики. Бурдену он также предложил свои услуги, пообещав вести библиографическую хронику: «Я буду писать для вас рецензии в двадцать-тридцать строк на каждую новую книгу в тот самый день, как она поступит в продажу; кроме того, я обойду всех издателей и, несомненно, добьюсь того, чтобы они сообщали нам о выходящих книгах, благодаря чему моя статья будет появляться раньше всякой рекламы; с другой стороны, я возьму на себя обязанность раздобывать для публикации в газете интересный отрывок из всякого значительного произведения, какое будет готовиться к печати».[40]

Гюстава Бурдена такое предложение позабавило, и он представил Золя своему тестю. У Вильмесана на людей был глаз

наметанный, даже в светской гостиной он вел себя, словно барышник на ярмарке. Посетителя он оценил с первого же взгляда: парень боевой, и энергии хоть отбавляй! На него можно положиться. Поговорив с Эмилем пять минут, он объявил «просителю»: «В течение месяца газета в вашем распоряжении, мы будем печатать все, что вы принесете. Таким образом, к концу месяца я буду знать, на что вы способны, и решу, как с вами поступить».[41] Золя вышел из кабинета окрыленный.

31 января 1866 года, купив «Событие», он едва успел развернуть газету, как на первой же полосе ему бросилось в глаза его собственное имя. Статья «К нашим читателям» принадлежала перу самого Вильмесана. Обращаясь к самой широкой публике, издатель писал: «Для того чтобы полностью отвечать всем требованиям, которые подразумевает стиль нашей газеты, „Событию“ недостает раздела литературной критики… Рубрика книжного обозрения, справедливо или нет, считается скучной, расхолаживающей читателя… Поручив теперь создание этого раздела Эмилю Золя, мы не открываем никому не известного автора… Это молодой писатель, весьма искушенный в тонкостях издательского дела… человек, наделенный умом и воображением… чьи книги, пока немногочисленные, но превосходно написанные, произвели сенсацию в прессе… Если мой новый тенор будет иметь успех – тем лучше. Если провалится – все очень просто. Он сам объявил мне, что в этом случае расторгает наше соглашение, и я вычеркиваю его имя из своих списков. У меня все. И. де Вильмесан».[42]

Как мало значили в представлении Золя тяжелый слог и грубость мысли, присущие Вильмесану, в сравнении с честью, которую оказал ему матерый газетный волк! И вот уже в начале февраля 1866 года «Событие» под рубрикой «Книги сегодняшние и завтрашние» помещает первую статью Золя, тема которой «Путешествие по Италии» Тэна. Золя на все лады расхвалил книгу. Отныне он будет аккуратно, каждый день отдавать в газету по блестяще и живо написанной статье.

Не прошло и двух недель, как Вильмесан поздравил его с успехом. В конце месяца дебютант явился в кассу, еще не представляя себе, сколько ему заплатят. Кассир выдал ему пятьсот франков! Золя никогда еще не получал такой огромной суммы сразу. Он готов был расцеловать Вильмесана, если бы только посмел, а тот, посмеиваясь, хлопнул его по плечу, словно радуясь удачной шутке. Больше того: хозяин был настолько им доволен, что поручил написать еще и о Салоне 1866 года. На самом деле это была тяжкая обязанность, но Золя хватало уверенности в том, что он справится с задачей. Разве не окунулся

Эмиль еще подростком в мир живописи? Благодаря Сезанну и его друзьям он достаточно хорошо разбирается в искусстве, чтобы судить современных художников! Так ему казалось, и во вступительной статье обозрения, названного им «Мой Салон», Золя подверг резкой критике членов жюри. Подписался он, в память о герое «Исповеди», Клодом.

Наглость этого бумагомарателя, посмевшего напасть на признанные авторитеты, с самого начала возмутила читателей. Однако и в следующих номерах писака, укрывшийся под псевдонимом Клод, продолжал стоять на своем, ему и в голову не приходило извиниться. Он обличал ничтожность Салона, негодовал из-за того, что были отвергнуты картины Мане, провозглашал этого художника «одним из ведущих завтрашних мастеров», утверждал, что его полотна «попросту пробивают стену», что «его место в Лувре, точно так же, как и Курбе». Руководство Департамента изящных искусств решило «из соображений поддержания порядка» на этот раз не возобновлять Салон Отверженных. Золя, он же Клод, ополчился на жюри – этих людей, «которых поместили между художниками и публикой» и которые, вместо того чтобы способствовать расцвету творчества, «калечат искусство и предоставляют зрителям возможность увидеть лишь его изуродованный труп». В заключение он обратился с призывом к единомышленникам: «Умоляю всех моих собратьев присоединиться ко мне, я хотел бы возвысить свой голос, набрать достаточно сил, чтобы заставить и на этот раз открыть зал, где публика могла бы, в свой черед, рассудить судей и осужденных». Однако, несмотря на эти пламенные воззвания, департамент своего решения не изменил. Золя же, еще более распалившись, с удвоенной силой принялся расхваливать своих друзей и поносить «могильщиков французского духа».

И тут все революционно настроенные художники сразу же решили, что нет у их искусства лучшего защитника, чем Золя. Он часто присоединялся к ним в кабачках, где они имели обыкновение собираться. Войдя в зал заведения Гербуа, без колебаний направлялся в самый шумный и задымленный угол, где растрепанные парни с вызывающими бородками, с черными шейными платками спорили, посасывая трубки и потягивая пиво из кружек или терпкое вино из стаканов. Его со всех сторон окликали, он подсаживался к столику и тут же принимался подливать масла в огонь возмущения приятелей. В кабачках этих можно было застать Ренуара и Фантен-Латура, красавца Фредерика Базиля и Берту Моризо, серьезного Мане с тростью, зажатой между колен, и цилиндром, пристроенным рядом на сиденье. Как ни странно, Золя среди них чувствовал себя своим в

куда большей степени, чем в фальшивом мире журналистики. Ему казалось, что привычка к непосредственному взгляду на модель позволила этим новаторам в искусстве сохранить долю искренности, простоты и детского восприятия. Повинуясь инстинкту, они не столько рассуждали, сколько чувствовали. Писатели представлялись ему сложнее, хитрее, суждения их более надуманными, дружба не такой надежной. Иногда Золя спрашивал себя, уж не художник ли он, сбившийся с пути в сторону сочинительства, не служит ли перо в его руке всего лишь заменой кисти? Как бы там ни было, он твердо намерен поддерживать стаю этих молодых волков, рвущихся к успеху: они, несомненно, талантливы, раз хотят переделать мир. И с каждым днем он все неудержимее изливался на страницах «События», делясь с читателями своими художественными увлечениями и возмущением.

Однако, вволю позабавившись яростными воплями нового сотрудника, Вильмесан пришел в конце концов к выводу, что Золя слишком увлекся. Как ни нравится ему, Вильмесану, скандальная атмосфера, все-таки с подписчиками-то считаться надо, а в его почте все чаще попадаются письма негодующих читателей. Поговаривают даже, что сам император неблагосклонно смотрит на антиакадемическую кампанию, которую развернула газета. Торговцы картинами тоже недовольны и грозят, что перестанут помещать какие бы то ни было рекламные объявления в издании, на страницах которого оскорбляют их подопечных. Вильмесан быстро присмирел и решил, что в освещении Салона к Золя должен присоединиться другой репортер, Теодор Пеллоке. Последний, выслушав и приняв к сведению соответствующее внушение, обязан был расхваливать достоинства официальных художников, *изруганных* несговорчивым Клодом.

Золя покорился. Но после статьи, озаглавленной им «Провалы»,[43] где он осмелился утверждать, что искусство Курбе, Милле, Руссо со временем измельчало и сделалось пресным, что их последние произведения его разочаровали и он «оплакивает» упадок творцов, у него зародилось предчувствие, что для Вильмесана его увольнение – дело решенное. И он простился с газетой в блещущей молниями статье: «Я защищал господина Мане, как всю свою жизнь буду выступать в защиту всякой яркой индивидуальности, которая подвергнется нападкам. Я всегда буду на стороне побежденных. Между неукротимыми натурами и толпой явно идет борьба. Я – за личности, и я нападаю на толпу… Я поступил как непорядочный человек, двинувшись прямо к цели, не думая о тех бедолагах, которых могу раздавить по пути. Я жаждал истины и виноват в том, что обижал людей, стремясь этой

истины достичь… Я искал мужчин в толпе евнухов. Вот потому-то я и обречен».

Потребность выступить в защиту чести тех, кого высмеивает тупое большинство, отвага, заставляющая Эмиля забыть о личном спокойствии, если того требует жажда правды и справедливости, были присущи Золя с раннего детства. Каждый раз, защищая кого-то, он вспоминал об отце, незаслуженно лишенном славы, которой тот был достоин. Разорвав контракт с «Событием», Золя объединил свои статьи в брошюру под названием «Мой Салон». Книга была посвящена Сезанну, о котором Золя в своих заметках не упоминал, считая, что его друг еще в самом начале пути. И объяснил это в выражениях, которые, должно быть, показались Сезанну обидными: «Я не писал о тебе в газете, посвящаю тебе книгу. Ты – мой лучший друг, но судить о тебе как о художнике я повременю».

Одновременно со статьями, которые Золя поставлял в «Событие», он сочинял роман с продолжением, названный им «Завет умершей». Несмотря на скандальный уход из газеты, этот коммерческий вымысел он предложил именно Вильмесану. Роман был напечатан в ноябре 1866 года и успеха не имел. Незадолго до того Золя издал у Ашиля Фора книгу «Что я ненавижу» – сборник, в который вошли несколько язвительных очерков, посвященных литературе и искусству. В предисловии автор дал волю своей непримиримости и яростно продемонстрировал темперамент: «Ненависть священна, – писал он. – Ненависть – это возмущение сильных и могучих сердец, воинствующее презрение тех, в ком пошлость и глупость вызывают негодование. Ненавидеть – это значит любить, значит ощущать в себе душу пылкую и отважную, значит глубоко чувствовать отвращение к тому, что постыдно и глупо.

Ненависть облегчает, ненависть творит справедливость, ненависть облагораживает.

<<…>> Я ненавижу людей ничтожных и беспомощных: они терзают меня. Они возмущают меня и действуют мне на нервы, ничто не вызывает у меня большего раздражения, чем эти скоты, которые ходят, переваливаясь с ноги на ногу, как гуси, тараща глаза, разинув рот.

<<…>> Я ненавижу людей, которые живут, скучившись, как в закуте, преследуя какую-нибудь узколичную идею, которые ходят стадом, теснясь, напирая друг на друга, нагибая голову к земле, чтобы не видеть величественного сияния неба. У каждого такого стада – свой бог, свой кумир, на жертвеннике которого оно умерщвляет великую человеческую истину.

<<…>> Ненавижу зловредных насмешников, ничтожных

молокососов, которые зубоскалят, потому что не могут подражать неуклюжей важности своих папаш. Иной раз взрыв смеха еще более пуст, чем дипломатическое молчание. Наш беспокойный век отличается нервной тоскливой веселостью, которая болезненно раздражает меня, словно скрежет гвоздя по стеклу.

<<…>> Я ненавижу высокомерных глупцов, ненавижу бездарных людей, которые кричат, что наше искусство и наша литература умирают естественной смертью. Это самые пустые умы, самые сухие сердца, они зарылись в прошлое и с презрением перелистывают живые, лихорадочные произведения современности, объявляя их ничтожными и односторонними.

<<…>> Я ненавижу невежд, которые распоряжаются нами, педантов и скучных людей, отрицающих жизнь».

И вот оно наконец проявление бешеной гордыни: «И если я теперь достиг чего-то, так это потому, что я одинок и я ненавижу».[44]

На самом деле способность к ненависти уравновешивалась в Эмиле Золя ничуть не меньшей способностью к любви. В своем восхищении, как и в своем неприятии, он доходил до крайностей. Тем не менее этот человек, который с пеной у рта отстаивал свои идеи, вряд ли что еще ценил так дорого, как безмятежное течение повседневной жизни. Этот близорукий поборник справедливости в теплых подштанниках был самым настоящим домоседом. Прожив несколько лет отдельно от матери, Золя теперь захотел взять ее к себе и поселить под одной крышей со своей любовницей. Они и устроились втроем в доме номер один по улице Монсей, в Батиньоле, в уютной квартире со столовой, гостиной, спальнями и кухней. Золя очень гордился тем, что сумел позволить себе такую роскошь, заработав деньги газетными статьями.

Эмили Золя признала любовницу сына не без опасений. Конечно, эта Александрина славная девушка, ничего не скажешь. Она умеет вести дом, хорошо готовит, искусно штопает белье; она, несомненно, верна Эмилю и к тому же не мешает ему работать. Но вот красавицей ее не назовешь – с ее-то грузным телом и угольно-черными глазами. Стоя на пороге так блестяще начинавшейся карьеры, ее сын мог бы найти женщину поизящнее и пусть не герцогиню, но все-таки из другой среды, не такого низкого происхождения. А вдруг ему взбредет в голову на ней жениться? Разумеется, следовало бы – из соображений приличия. Но ведь это может повредить Эмилю в будущем, неблагоприятно сказаться на его карьере! Бывшая прачка никогда не научится держать себя в обществе и, вместо того чтобы помогать мужу возвыситься, будет тянуть его вниз! К счастью, он не торопится

надеть ей кольцо на палец. Эмили старалась не критиковать Александрину в присутствии сына, но втайне страдала оттого, что приходится уступать место самозванке. Александрина чувствовала это и все больше замыкалась в себе. Между двумя женщинами установились напряженно-вежливые отношения, молчаливое соперничество, а Золя притворялся, будто не замечает этого. Для того чтобы полностью отдаться сочинительству, ему необходим был покой в доме. Больше всего Эмилю хотелось, чтобы все оставалось, как есть. Александрина олицетворяла для него надежность, удобство, нежность. Он не столько любил сам, сколько позволял себя любить. Кроме всего, выбрав эту женщину в спутницы жизни, он застраховал себя от плотской распущенности.

Летом, спасаясь от тяжелой парижской жары, Золя увез Александрину в Беннанкур на берегу Сены. Там обычная его компания друзей облюбовала трактир тетушки Жигу. «Колония» включала в себя, помимо четы Эмиль – Александрина, хрупкого Валабрега, громогласного Сезанна, кроткого Байля, бездарного Шийяна, верного Солари и несколько доступных красоток. В этом кружке веселых повес и бойких девиц Александрина оказалась на высоте. Там крепко пили, сытно ели, а после еды, пищеварения ради, занимались греблей. Мадам Золя, разумеется, осталась дома и очень беспокоилась, зная, что сын много времени проводит на реке. «Такой сильный ветер, а лодочка маленькая, того гляди перевернется». Нередко за весла бралась Александрина. Вволю накатавшись и утомившись, вся компания устраивалась отдохнуть в тени деревьев на маленьком островке. Жара, благоухание трав, терпкий запах, исходивший от прикорнувшей рядом любовницы, кружили голову Золя, пьянили его до того, что он на время забывал о работе и полностью отдавался радостям жизни. Однажды, вернувшись с такой прогулки домой, он написал своему другу, художнику Косту, который в это время отбывал воинскую повинность: «В общем, я доволен тем, какой путь прошел до сегодняшнего дня. Но я нетерпелив, мне хотелось бы идти еще быстрее… Александрина толстеет, я немного похудел».[45]«Идти еще быстрее!» Подобно тому как другие чувствуют голод, оказавшись перед витриной колбасника, Золя испытывал его перед витринами книжных лавок. Столько книг, и среди них нет ни одной, принадлежащей его перу! Когда же он станет достаточно знаменитым, чтобы затмить других писателей? Ему хотелось бы одному заменить собой всю французскую литературу.

VII. Тереза Ракен

После многообещающего начала Золя несколько сник. Перестав регулярно получать жалованье в «Событии», он вынужден был пропитания ради подрабатывать где придется, писать то в одну, то в другую газету. Сегодня – в «Rappel» («Призыв»), завтра – в «Salut public» («Общественное благо»)… Затем, когда и эти источники стали иссякать, согласился написать для «Messager de Provence» («Провансальского вестника») роман с продолжением, в основу которого должны были лечь недавние уголовные процессы. Ему предоставили документы, оставалось лишь приукрасить их по своему вкусу. Обрадованный выпавшей ему удачей, Эмиль рьяно принялся, сохраняя голову холодной, а перо – резвым, сочинять «Марсельские тайны, современный исторический роман». Он нисколько не стыдился того, что ради денег взялся за такую работу, поскольку придерживался мнения, что для писателя унизительной может быть лишь праздность. «Я рассчитываю на широкий отклик по всему югу, – признается он Антони Валабрегу. – Совсем неплохо иметь в своем распоряжении целый край. Впрочем, я согласился на сделанное мне предложение, движимый неизменной своей жаждой работы и борьбы… Я люблю трудности, люблю совершать невозможное. А больше всего люблю жизнь и считаю, что лучше заниматься делом, каким бы оно ни было, чем бездельничать. Именно эти соображения и подталкивают меня принимать любой вызов, предстоит ли мне бороться с самим собой или с публикой».[46] И поскольку, как ему показалось, убедить Антони Валабрега не удалось, он продолжает растолковывать свою мысль: «Мне непозволительно уснуть, подобно вам, запереться в башне из слоновой кости под тем предлогом, что толпа ничего не понимает. Мне необходима толпа, я, как могу, иду к ней навстречу, я пытаюсь всеми способами ее покорить. В настоящее время мне больше всего необходимы две вещи: известность и деньги… Говорю это вам по-дружески. Разумеется, „Марсельские тайны“ я отдаю вам на растерзание. Я знаю, что делаю».[47]

«Марсельские тайны», запутанный роман с продолжением, печатался в «Провансальском вестнике» начиная со 2 марта 1867 года. Несмотря на протесты отдельных читателей, оскорбленных тем, что их родной город предстал в таком неприглядном виде, публика приняла роман скорее благожелательно. Тогда Золя решил переделать его в пьесу, которую и написал в содружестве с Мариусом Ру. Однако пьеса выдержала в марсельском театре

«Жимназ» всего-навсего три представления и с треском провалилась. Золя, приехавший вместе с соавтором взглянуть на последние репетиции, почувствовал себя уязвленным. Конечно, он признавал, что ни его роман, ни его пьеса не являются великими произведениями, но страшно обиделся на публику, разделившую его мнение.

Вернувшись в Париж, он чувствовал себя непонятым и словно бы отлученным от сегодняшних событий в этом городе, еще не остывшем от воспоминаний о посещениях королей, любовных скандалах, фейерверках и балах-маскарадах, которыми была отмечена Всемирная выставка 1867 года. Ему казалось, что и для него погасли цветные фонарики иллюминаций. Тем не менее две вещи в этой жизни послужили ему утешением: Мане, благодарный Золя за то, что тот столь отважно его поддерживал, писал его портрет, а Солари лепил его бюст. Оба, и Золя, и Солари, были так бедны, что не могли нанять профессионального формовщика. Тогда они с помощью Сезанна сами развели гипс, сделали, как могли, форму и, произведя множество тонких операций, получили отличное скульптурное изображение писателя. Что же касается картины Мане, это оказалось просто чудо сильной и строгой живописи, одно из лучших полотен художника! Золя думал, что эти два произведения, если только их выставят на Салоне, непременно привлекут к нему внимание публики.

Был у него еще один повод для того, чтобы радоваться и гордиться собой: одновременно с «Марсельскими тайнами» Эмиль начал писать другой роман, возлагая на него куда большие надежды. Утренние часы он отдавал серьезной и неспешной работе над этим сочинением, носившим пока условное название «Брак по любви», а в послеобеденные резво строчил «Марсельские тайны». Таким образом, переключаясь с одного на другое, сочинитель тешил себя тем, что одновременно ведет два дела, одно из которых льстит его самолюбию, другое же обеспечивает насущный хлеб. Замысел «Брака по любви», превратившегося впоследствии в «Терезу Ракен», появился у писателя после того, как он прочел в «Фигаро» роман Адольфа Бело и Эрнеста Доде «Венера Гордийская». В этом второстепенном сочинении авторы, заставив мужа пасть от руки любовника жены, затем отправляют преступную парочку на скамью подсудимых. Весьма банальная история бессознательно завладела умом Золя, искавшего яркий сюжет. И внезапно вспыхнула искра: обоим преступникам удастся избежать человеческого суда, но, истерзанные угрызениями совести, они будут до конца своих дней ненавидеть друг друга и покончат с собой на глазах у матери убитого, которая всегда

подозревала их в совершении преступления и теперь, парализованная, испепелит их трупы мстительным взглядом. «Трупы пролежали всю ночь на полу столовой, у ног г-жи Ракен, скрюченные, безобразные, освещенные желтоватым отсветом лампы. Почти двенадцать часов, вплоть до полудня, г-жа Ракен, неподвижная и немая, смотрела на них, уничтожая их своим тяжелым взглядом, и никак не могла насытиться этим зрелищем». [48]

«Я очень доволен своим последним произведением, – написал Золя Антони Валабрегу, – думаю, это лучшее из всего написанного мной на сегодняшний день. Боюсь даже, что роман получился слишком терпким».[49] И в самом деле, история любовников, Терезы и Лорана, исполнена яркой чувственности и неистовой жестокости. Впервые с начала своей литературной деятельности Золя предпочел не выводить на сцену себя самого под другим именем и не рассказывать, пользуясь для этого своим героем, о пережитых им самим муках и радостях. Однако описанная им драма, пусть и совершенно чуждая жизни автора, кажется читателю куда более подлинной, чем меланхолическая «Исповедь Клода». Здесь верен каждый звук, здесь все дышит правдой: и чувства, и атмосфера, и монотонность повседневного существования, которое влачат супруги Ракен, и пламя, внезапно охватившее Терезу, когда Лоран появился в убогом жилище четы.

Большой поклонник Тэна, безоговорочно им восхищавшийся, Золя сделал своим девизом цитату из его «Новых исторических и критических очерков»: «Натуралист нимало не заботится ни о чистоте, ни об изяществе; в его глазах жаба ничем не уступает бабочке, а летучая мышь интересует его гораздо больше, чем соловей».

Автор «Терезы Ракен» инстинктивно принялся изображать своих персонажей с точностью естествоиспытателя, описывающего животное, исследующего его реакции, но не пытающегося ни отождествить его с самим собой, ни судить по собственным законам. В двадцать семь лет Эмиль с гордостью осознал, что ученый задушил в нем поэта.

Роман сначала печатался с продолжениями в журнале «Артист», которым руководил Арсен Уссей; потом последний, боясь вызвать недовольство своих читателей, принялся умолять автора вычеркнуть некоторые места, «поскольку, – объяснял он, – журнал читает императрица». Золя согласился кое-что смягчить, но пришел в неописуемую ярость, обнаружив на последнем листке корректуры заключительную фразу, выдержанную в нравоучительном духе и прибавленную Арсеном Уссеем, с тем чтобы немного сгладить натуралистическую резкость

произведения.

Текст был восстановлен полностью в первоначальном виде при издании книги, вышедшей у Лакруа в конце 1867 года, и с первых же дней ее появления на прилавках Золя в тревоге стал ждать читательских откликов.

Как и ожидал писатель, его новая вещь была принята неоднозначно: одни ее хвалили, другие ругали. Ничего удивительного не было и в том, что Тэн увидел в романе приложение своих теоретических рассуждений об искусстве. «Произведение в целом построено на верной идее, – написал он Золя. – Оно крепко связано, хорошо построено, указывает на то, что автор его – подлинный художник, серьезный наблюдатель, который стремится не к приятности и одобрению, но к правде». Тем не менее Тэн в том же письме задается вопросом, не слишком ли тяжела рука у автора: «Надо быть профессиональным физиологом и психологом, чтобы книга вроде вашей не расстроила нервы… Когда, заткнув все отверстия, закрыв окна, читателя заточают в необычайной истории один на один с чудовищем, безумцем или неуправляемым существом, читателю становится страшно, порой его даже начинает подташнивать, и он возмущается автором… Если бы я посмел высказать свое мнение, то посоветовал бы вам расширить рамки и взвешивать эффекты». [50]

Выступили с критикой и братья Гонкуры. Они, со своей стороны, объявили, что «Тереза Ракен» – «восхитительно проведенное исследование мук раскаяния, где от каждой страницы веет трепетом тонких чувств и небывалым прежде в литературе нервным ужасом»; заверили автора в том, что все их симпатии на его стороне: они выступают вместе с ним за идеи, принципы, утверждение прав современного искусства на Правду и Жизнь.

А Сент-Бев, в отличие от коллег, похвалив Золя, выразил сомнение в достоверности его истории и в выборе средств выражения и с высоты своих непревзойденных познаний обратился к нему с кисло-сладким посланием. «Вы написали примечательное произведение, которое во многих отношениях может произвести огромные перемены в современном романе, – пишет он молодому автору и тут же прибавляет: – Если страстно влюбленные Клитемнестра и Эгисф могли отдаваться друг другу рядом с еще не остывшим окровавленным трупом Агамемнона, и этот труп, по крайней мере в первые ночи, нисколько их не смущал… то я совершенно не понимаю ваших любовников с их муками раскаяния и внезапным охлаждением, наступившим еще до того, как они достигли своей цели». И заключает притворно

отеческим тоном, сопровождая оценку советом: «Вы совершили смелый поступок, этим произведением вы бросили вызов и читателям, и критикам. Не удивляйтесь же тому, что иные обрушат на вас свой гнев – вы вступили в бой, ваше имя привлекло внимание. Подобные битвы, если талантливый автор на это идет, заканчиваются другим произведением, не менее смелым, но чуть более спокойным, в котором читатели и критики видят уступку своим вкусам, и все завершается одним из тех мирных договоров, какие упрочили не одну репутацию».[51]

Получать такие отзывы было, конечно, несмотря ни на что, приятно, зато Золя не раз вздрагивал, читая в «Фигаро» статью Луи Ульбаха, подписавшегося псевдонимом Феррагюс. «Мое любопытство на днях заставило меня окунуться в лужу грязи и крови, именуемую „Терезой Ракен“, автор которой, господин Золя, считается талантливым молодым человеком, – сообщал читателям Луи Ульбах. – Большой любитель непристойностей… он видит женщину такой, какой изображает ее господин Мане: цвета грязи, слегка подкрашенной румянами… В „Терезе Ракен“ сосредоточены все опубликованные прежде мерзости. Туда стекают вся кровь и все гнусности… Я не склонен непременно порицать резкие ноты и яростные, темные мазки, я сетую на то, что они ничем не разбавлены и не оттенены… Однообразие в изображении мерзости – худший вид однообразия. Кажется, – если подыскивать сравнение, достойное этой книги, – будто ты лежишь под краном на одном из столов в мертвецкой и до самой последней страницы чувствуешь, как на тебя, капля за каплей, падает та вода, которой обмывают трупы».

Однако на самом деле эта резкая критика не так уж и огорчила Золя. Главное, что о книге заговорили, а хвалят ее или ругают, в конце концов, не так уж существенно. Своей разгромной статьей Луи Ульбах только дал ему повод великолепно отразить удар на страницах той же газеты: «Вы пребываете на поверхности кожи, сударь, тогда как романисты-аналитики без колебаний проникают в плоть… Позабудьте об атласном кожном покрове той или иной дамы, подумайте о том, какие залежи грязи скрываются под этой розоватой кожей, созерцание которой отвечает вашим примитивным желаниям. И тогда вы поймете, что можно встретить писателя, который отважно погружается в человеческую грязь. Истина, подобно огню, очищает все».

Но Луи Ульбах уже успел задать тон, и большинство журналистов стали подпевать ему. Эдмон Тексье в «Веке» обвинил Золя в том, что тот сочинил «Терезу Ракен», впав «в некое физиологическое опьянение». Один из основателей «Трибуны», Андре Лавертюжон, написал автору: «Ваша точка зрения и выбор

сюжета чудовищны, меня потом мучили кошмары… Надеюсь, „Трибуна“ наведет вас на менее мрачные замыслы».[52] Лоран-Пиша пообещал, что в «Маяке Луары» будет писать о книге «со всей суровостью по отношению к жанру и с уважением к таланту».[53] Со всех сторон на Золя сыпались обвинения и обидные клички, его называли «порнографом», «ассенизатором», сторонником «аморальной литературы». И всего этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы пробудить невероятное любопытство широкой публики. За «Терезу Ракен» брались с тем же чувством, с каким отправляются потанцевать в подозрительные кварталы: мы содрогаемся от омерзения, но все-таки желание потолкаться среди всякого сброда пересиливает… Споры вокруг романа подстегнули интерес к нему, и продавалась книга хорошо. В мае 1868 года Лакруа стал готовить к печати второе издание «Терезы Ракен». На этот раз текст предваряло большое предисловие от автора: «Я пришел в полный восторг, узнав, что у моих собратьев нервы словно у барышни… Что меня огорчает – ни один из тех целомудренных журналистов, которые краснели, читая „Терезу Ракен“, как мне кажется, не понял этого романа… В „Терезе Ракен“ я поставил перед собой задачу изучить темпераменты, а не характеры. Я выбрал персонажей, которыми безраздельно управляют их нервы и их кровь… Тереза и Лоран – звери в человеческом обличье, ничего больше… Надеюсь, теперь вы начинаете понимать, что моя цель была прежде всего целью научной».

Несмотря на это объяснение, шум не утихал, нападки на Золя продолжались. Освистанный писатель с довольным видом потирал руки. Наконец-то он сделался заметной фигурой в литературном мире!

Снова сменив квартиру, Эмиль поселился теперь все в том же Батиньоле, но уже в доме 23 по улице Трюффо: это был небольшой особнячок с садом. Платить за новое жилье надо было пятьсот пятьдесят франков в год. Золя пока еще нелегко было выкладывать такую сумму, и, чтобы покрыть расходы, он стал больше писать для газет, а кроме того, состряпал еще один роман с продолжением, переделку пьесы, написанной им за три года до того, в те времена, когда он еще служил у Ашетта: «Мадлен Фера» – всего лишь неудачный перепев «Терезы Ракен» – и отдал рукопись в новое «Событие», которым руководил Анри Бауэр. С первых же выпусков очередное произведение Золя, выходившее в газете под более привлекательным названием «Стыд», задело целомудрие подписчиков. Имперский прокурор вызвал к себе главного редактора и объявил, что, если тот немедленно прекратит публикацию романа, его самого не тронут, но с книгой

прокуратура так этого дела не оставит. Бауэр повиновался, публикацию романа прекратил. Золя немедленно выступил на страницах «Трибуны» в свою защиту, ссылаясь на Мишле, автора «Женщины», и доктора Проспера Люка, чьи теоретические работы о наследственности подсказали ему идею произведения. Имперский прокурор, лично принявший Эмиля, показался ему сговорчивым. Совершенно уверенный в том, что никто не станет преследовать автора за издание нового романа отдельной книгой, Золя решил ни слова в нем не менять. И сейчас чье-то возмущение, чьи-то нападки не только не были ему неприятны, а, напротив, лишь подстегивали его. Он ведь не рассказывал историю, он сражался с пером в руке! И если бы он почувствовал, что всем нравится то, что он делает, если бы он слышал вокруг себя только гул одобрения, может быть, ему расхотелось бы работать. Некоторые авторы гладят читателя по шерстке, он же теребит, задирает, поражает, ранит. И испытывает наслаждение творца именно благодаря своей решимости бросить вызов общественному мнению.

Как писатель и рассчитывал с самого начала, благодаря шумной и скандальной известности в литературном мире теперь у него появились как друзья, так и завистники. Он прилежно посещал «вторники» Арсена Уссея и «понедельники» Поля Мериса, сам принимал гостей по четвергам, сблизился с Альфонсом Доде, с Мишле, с Дюранти, а результатом того, что он открыто восхищался творчеством Гонкуров, стало приглашение братьев приехать в их особняк в Отейле.

Приехал. И вечером 14 декабря 1868 года Гонкуры записали в своем «Дневнике»: «Сегодня у нас обедал наш поклонник и ученик Золя. Мы впервые с ним виделись. Первое наше впечатление было таким: мы увидели в нем измученного студента, одновременно коренастого и тщедушного, напоминающего Сарсе, с бескровным, восковым, словно из тонкого фарфора, лицом, изящно обрисованными веками, нервно вылепленным носом, красивыми руками. Вся его фигура скроена отчасти по мерке его же персонажей, в которых он соединяет два противоположных типа, смешивая мужское и женское; и в нравственном отношении можно уловить в нем сходство с его созданиями, у которых двойственные, противоречивые души. Преобладают в нем черты болезненные, страдальческие, он до предела издерган, а когда приближается к вам, минутами вас охватывает пронзительное ощущение, будто перед вами нежная жертва сердечной болезни. Непостижимое, глубокое и, в конечном счете, запутанное существо, страдающее, тревожное, беспокойное, неопределенное».

Не подозревая о том, какому клиническому исследованию подвергают его старшие друзья, Золя выбалтывал Гонкурам все, что накопилось к тому времени у него в душе. Эмиль был уверен в том, что эти богатые, талантливые и утонченные писатели, живущие среди вычурных безделушек, японских гравюр и антикварной мебели, обладают всеми качествами, необходимыми для того, чтобы понять такого человека, как он, человека, стремящегося лишь к тому, чтобы добиться такой же славы и купаться в такой же роскоши. «Он рассказывал нам о том, как трудно ему живется, – записали еще братья, – о том, как ему хочется и как необходимо найти издателя, который купил бы его на шесть лет за тридцать тысяч франков, обеспечив ему каждый год выплату шести тысяч франков: это даст ему возможность прокормить себя и мать и написать „Историю одной семьи“ в десяти томах».

Да, в самом деле, Золя, опьянев от вина, вкусной еды и лестных высказываний хозяев дома, разгорячился до того, что открыл им свою удивительную тайну: он хотел бы написать цикл романов, в которых действовали бы персонажи, принадлежащие к одной и той же семье, отмеченные печатью наследственности и влиянием окружающей среды, «огромную махину», которая заткнет рот его гонителям. «Дело в том, что у меня очень много врагов, – жаловался старшим коллегам более молодой. – Так трудно заставить говорить о себе!»

Расстался он с Гонкурами в полном убеждении, что заручился их дружеской поддержкой на пути восхождения к славе. На редкость проницательный, когда речь шла о том, чтобы глубоко исследовать характеры персонажей романа, Золя оказывался удивительно простодушным при встрече с реальными людьми. Но не эта ли неспособность умно вести себя в жизни позволяла ему так искусно управлять воображаемым миром? В Отейль он приехал железной дорогой, как и посоветовали ему братья, указав в записке, что поезда идут через каждые полчаса, а их дом в двух шагах от вокзала, и теперь, снова садясь в поезд, думал о том, что уезжает с уверенностью и беспредельной надеждой, порожденными общением с этими удивительными людьми. Паровоз загудел, вагон дернулся, а он уже заранее предвкушал, как будет рассказывать о сегодняшней исторической встрече матери и Александрине, которые ждут его дома.

VIII. Александрина

Запавшая в голову мысль прокладывала себе путь. Чем больше Золя размышлял о дальнейшем развитии своей карьеры, тем больше убеждал себя в том, что, если ему и впрямь хочется связать свое имя с представлением о чем-то значительном, он должен сочинить нечто многотомное, наподобие «Человеческой комедии» Бальзака. Он преклонялся перед автором «Отца Горио». «Что за человек! – писал он другу. – Я сейчас как раз перечитываю его книги. Он весь век подмял под себя. По мне, так и Виктор Гюго, и все остальные рядом с ним меркнут».[54] Но, восхищаясь этим исполином французской литературы, он немного и злился на него за то, что он так велик. Как сравняться с таким гением, не подражая ему? В этом-то вся загвоздка. Золя упорно стремился хоть в чем-то выйти из-под влияния своего кумира. Первое отличие: «Человеческая комедия» выстроилась задним числом, когда Бальзак написал уже несколько романов из цикла, и отсюда происходит некоторая несвязность в построении целого. Так, например, отдельные части, из которых слагается этот монумент, нередко соединены между собой лишь появлением неких второстепенных персонажей. Перед нами, думал Золя, труд человека вдохновенного и безалаберного, повинующегося лишь вспышкам собственного вдохновения. А вот он хочет и будет творить размеренно, методично, и задолго до того, как напишет первую строчку первого тома, у него будет составлен общий план и все разложено по папкам и по ящикам. В противоположность Бальзаку, который населял созданный им мир, доверясь собственной фантазии, Золя решил, наполняя жизнью собственный мир, ничего не оставлять на волю случая. Заметил он, кроме того, что у Бальзака нет героев-рабочих, что великий писатель хотел создать историю нравов своего времени, что его творчество – зеркало общества, «которым правят религия и королевская власть». И подробно определил в заметках, названных «Различие между Бальзаком и мной»: «Мое произведение будет совершенно другим. Рамки его будут те же. Я хочу изобразить не все современное общество, а одну семью, показав, как изменяется порода в зависимости от среды… Моя главная задача – оставаться чистым натуралистом, чистым физиологом».

Для того чтобы развернуть такую широкую картину со множеством персонажей, мест действия, разнообразием занятий, требовалась направляющая мысль. За этим дело не станет – надо только исследовать модные теории. Действительно,

набросившись на эти модные теории, Золя нашел в них оправдание собственному пристрастию к точным наукам. «Точные науки так стремительно продвигаются в покорении мира, что в один прекрасный день смогут объяснить все», – сказал он себе. По его мнению, у романиста, склонившегося над листом бумаги, и ученого, затворившегося в своей лаборатории, одна и та же миссия: углубить познание реальности. Один исследует души, другой – тела, но ход их рассуждений одинаков. Толпа, завороженная достижениями искусников скальпеля, реторты или микроскопа, не может не довериться целиком и полностью писателям, повинующимся той же умственной дисциплине. Век выдался научный, и литература обречена стать такой же. Для того чтобы окончательно в этом увериться, Золя мысленно возвращался к разговорам со своим другом из Экса, ученым Фортюне Марионом, который рассказал ему об устойчивости кровных уз в физическом и нравственном облике человека. Прочел он также с жадностью неофита «Введение в экспериментальную медицину» Клода Бернара, «Трактат о естественной наследственности» доктора Проспера Люка, «Философию искусства» Тэна, «Физиологию страстей» доктора Шарля Летурно и труды Дарвина, незадолго перед тем переведенные на французский язык. Все эти публикации окончательно убедили Эмиля Золя в главном: для того чтобы быть созвучным своему времени, он должен отбросить идеалистические мечты и вплотную приблизиться к осязаемой реальности. Очень скоро писатель решил, что его творчество должно сделаться иллюстрацией теории наследственности. Все объясняется прежней жизнью, предшествующими событиями, «анамнезом» человека. Порывшись в его генетическом прошлом, можно заранее определить его будущее в обществе. Вооружившись этой уверенностью, нисколько не смущаясь, а, напротив, радуясь тому, как хорошо все раскладывается по полочкам, Золя вообразил, будто призван стать основателем нового искусства. Он уже это предчувствовал, когда писал «Терезу Ракен». Теперь, когда ему под тридцать и в голове у него столько ученейших сочинений, он в этом нисколько не сомневается. Ошеломленный своим открытием, он решил, что им найден лучший способ показать, какую огромную роль играет наследственность в жизни людей: надо, чтобы все персонажи его цикла романов принадлежали к одной и той же семье. Таким образом, пороки каждого из них будут объяснены и словно бы оправданы почти автоматическим атавизмом. Эта пирамида будет называться «Естественная и социальная история одной семьи во времена Второй империи». Если Бальзак был демиургом, то он,

Золя, будет экспериментатором.

«Я хочу показать семью, небольшую группу людей и ее поведение в обществе, показать, как, разрастаясь, она дает жизнь десяти, двадцати личностям, на первый взгляд глубоко различным, но, как обнаруживает анализ, близко связанным между собой, – напишет он позже в предисловии к „Карьере Ругонов“. – Наследственность, подобно силе тяготения, имеет свои законы.

Для разрешения двойного вопроса о темпераментах и среде я попытаюсь отыскать и проследить нить, математически ведущую от человека к человеку. И когда я соберу все нити, когда в моих руках окажется целая общественная группа, я покажу ее в действии, как участника исторической эпохи, я создам ту обстановку, в которой выявится сложность взаимоотношений, я проанализирую одновременно и волю каждого из ее членов, и общий напор целого.

Ругон-Маккары, та группа, та семья, которую я собираюсь изучать, характеризуется безудержностью вожделений, мощным стремлением нашего века, рвущегося к наслаждениям. В физиологическом отношении они представляют собой медленное чередование нервного расстройства и болезней крови, проявляющихся из рода в род, как следствие первичного органического повреждения; они определяют, в зависимости от окружающей среды, чувства, желания и страсти каждой отдельной личности – все естественные и инстинктивные проявления человеческой природы, следствия которых носят условные названия добродетелей и пороков. Исторически эти лица выходят из народа, они рассеиваются по всему современному обществу, добиваются любых должностей в силу того глубоко современного импульса, какой получают низшие классы, пробивающиеся сквозь социальную толщу. Своими личными драмами они повествуют о Второй империи, начиная от западни государственного переворота и кончая седанским предательством. < < … > >

Этот труд, включающий много эпизодов, является в моем представлении биологической и социальной историей одной семьи в эпоху Второй империи».[55]

Теперь он окинул орлиным взором угодья, в которых ему предстояло охотиться. Набросал первоначальный план десяти романов, которые должны были вытекать один из другого, носить на себе отпечаток материализма, физиологии, наследственности, а все описываемые события происходили бы в царствование Наполеона III. Золя ненавидел это время за его униженное преклонение перед деньгами, его напыщенность, мишуру,

дешевый блеск, буржуазные предрассудки, лицемерие, ханжество и нетерпимость. Выбрав ненавистную ему эпоху, он сможет обличить ее пороки и ее тупость. Но, забираясь в это болото, он хотел передвигаться по нему с уверенностью. В течение года усердно работал в Императорской библиотеке, с головой погружаясь в научные сочинения, делая выписки, тщательно составляя генеалогическое древо своих персонажей Ругон-Маккаров. Эту родословную он потом предъявит Лакруа вместе с планом цикла романов, и издатель, на которого размах и серьезность замысла произведут сильное впечатление, тут же подпишет договор на первые четыре тома. Автору определены гарантированные выплаты – по пятьсот франков в месяц.

Перед тем как приступить к работе над первым томом – «Карьера Ругонов», Золя раз и навсегда установил для себя распорядок дня. Подъем в восемь утра, затем прогулка в течение часа – это позволит одновременно размять ноги и проветрить мозги, после чего можно сесть за работу. Потом обед. Во второй половине дня – встречи с нужными людьми, переписка, сбор дополнительных материалов в Императорской библиотеке. С неизменной своей точностью Эмиль высчитывает, сколько страниц сможет писать в день, и выводит из этого дату окончания всего цикла: великое событие должно иметь место через десять лет. Только бы никакие внешние события не помешали творцу заниматься той огромной работой, которую он на себя взвалил!

Для того чтобы обеспечить себе столь необходимое при такой напряженной работе мирное течение жизни, Золя решил узаконить свои отношения с Александриной. Прожив с ней около пяти лет, он научился ценить немалые достоинства подруги. Она, конечно, не была красавицей из тех, которым оборачиваются вслед на улицах, – просто крепкая, плотного сложения женщина с темными шелковистыми волосами, живыми черными глазами и легким пушком над верхней губой. Преданная, деятельная, практичная, честолюбивая. Одержимая навязчивой мыслью о том, как бы забраться на более высокую ступеньку социальной лестницы, Александрина хотела, чтобы ее признавали добропорядочной супругой, делящей жизнь с прославленным романистом. Предложив ей руку и сердце, Золя исполнил ее заветное желание. Мало того, она потребовала, чтобы он обвенчался с ней в церкви, и он, позитивист и агностик, не смог ей в этом отказать. Свидетелями на свадьбе стали Поль Сезанн, Мариус Ру, Филипп Солари и недавно перебравшийся в Париж из Экса молодой поэт, большой почитатель таланта автора «Терезы Ракен» – Поль Алексис. Госпожа Золя-мать смирилась с тем, что ее невесткой стала девушка «из простых». Отношения между

женщинами на первый взгляд могли показаться сердечными: с обоюдного согласия они, чтобы не нарушать покой хозяина дома, постарались заглушить взаимное недовольство друг другом.

После свадьбы Золя наконец почувствовал себя уверенно. Его сексуальный аппетит никогда не был чрезмерным. Или, вернее, этот аппетит пробуждался в нем лишь тогда, когда он брался за перо. Если живая, настоящая женщина из плоти и крови оставляла его более или менее равнодушным, то стоило ему начать описывать выдуманные им создания, как он тут же воспламенялся, в нем просыпался неукротимый темперамент. Рядом с этими сочиненными им женщинами он уже не чувствовал себя скованным детской робостью. Он дерзал проживать и описывать самые откровенные любовные сцены, никакие объятия не казались ему слишком смелыми. Избавившись от всякого страха перед плотской неудачей, он втайне предавался наслаждению и хмелел от этого. А когда после всего этого возвращался к Александрине, ему казалось, будто он только что ей изменил, хотя на самом деле хранил верность. Скромный и целомудренный в спальне, Эмиль брал свое в рабочем кабинете. Никто и заподозрить не мог, какие радости ждут его в уединении за письменным столом. Нет, ничто не могло сравниться для писателя с пьянящим удовольствием, которое он испытывал, водя пером по бумаге и зная, что он – единственный и полновластный хозяин мира, существующего лишь у него в голове. Он был чудовищно трудолюбив, он жил грезами и только что не питался чернилами.

Узнав в июне 1870 года о смерти Жюля де Гонкура, Золя написал его брату Эдмону патетическое письмо, которое заканчивалось словами: «Искусство убило его».[56] Несколько недель спустя он обедал в Отейле и долго рассказывал хозяину дома о своей работе. Гонкур записал потом в своем «Дневнике»:[57]«Он говорил мне о десятитомной эпопее, „Естественной и социальной истории одной семьи“, которую он намерен писать, показав в ней темпераменты, характеры, пороки и добродетели, развивающиеся в той или иной среде и различающиеся между собой так же, как та часть сада, что находится в тени, отличается от той, которая освещена солнцем». В конце обеда Эмиль, обращаясь к человеку, глубоко опечаленному кончиной брата, воскликнул: «После анализа бесконечно малых величин чувства, какой был проделан Флобером в „Мадам Бовари“, после произведенного вами анализа всего, что имеет отношение к искусству, формам, нервам, после этих *произведений-драгоценностей*, этих шедевров, этих филигранно проработанных томов, для молодых не осталось места, им больше нечего делать,

нечего строить, они больше не смогут создавать персонажи. И только количество томов, мощь творения могут дать возможность обратиться к читателю».

Произнося эти слова, Золя оставался искренним. Он бесконечно восхищался Флобером (о чем и написал ему, посылая собрату по перу свою книгу «Мадлен Фера»), он признавал его своим наставником в искусстве наблюдения реальной жизни и в каком-то смысле своим предшественником, но не разделял пристрастия Флобера к безупречно отделанной фразе. Восторгаясь совершенством его стиля, над которым тот работал с ювелирной точностью, Золя отказывался ему подражать. *Произведение-драгоценность*– не то, что ему хотелось бы создать. Он пишет яростно, неудержимо, наспех, с избытком прилагательных, не заботясь о благозвучии, а порой и допуская неправильные обороты речи. Давая волю этому словесному потоку, он не стремится услаждать читательский слух, нет, он жаждет втолкнуть читателя, не позволяя опомниться и отдышаться, в чуждый тому мир. Краски, звуки, запахи этого мира должны были обрушиться на читателя, как обрушивались они на него самого в тиши кабинета, пока мать и жена пробирались мимо его двери на цыпочках, бесшумно хлопоча по хозяйству. Если описания свои он набрасывал только грубыми и крупными штрихами, то делал это для того, чтобы еще сильнее поразить ленивые умы.

Истина Флобера – тщательная копия, его же истина – трагическая карикатура. Но самой своей чрезмерностью эта трагическая карикатура подстегивает воображение, обостряет восприимчивость, помогает обнажать души и проникать в суть вещей. Искусство, в понимании Золя, было способом увеличения действительности, как в лупе, увеличения на грани или за гранью *преувеличения*, которое восстанавливает, усиливая и подчеркивая ее, сущность этой действительности. Тонкость он заменял силой, подробное наблюдение – страстным искажением.

В «Карьере Ругонов» Золя живо и насмешливо рассказывает о том, как отозвались последствия государственного переворота, совершенного принцем Луи-Наполеоном Бонапартом 2 декабря 1851 года, на жизни провансальского города, который он придумал, опираясь на свои воспоминания об Эксе, и назвал Плассаном. Под прикрытием этого потрясения разгораются страсти. Две соперничающие ветви одного рода, Ругоны и Маккары, открыто выступают друг против друга: первые – бонапартисты по расчету, вторые – либералы по бедности и из зависти. Оказавшийся между двумя вражескими лагерями, молодой родственник тех и других, идеалист Сильвер Муре,

гибнет, защищая республику. По этой политической канве Золя вышивал полный веселой ярости психологический роман, в котором описывал медленное разложение душ, попавшихся на приманку денег и почестей.

Автор надеялся, что появление его книги, столь сурово обличавшей имперский режим, наделает много шума. Но он знал, что на этот раз за ним будет стоять огромная партия сторонников. Вознеся поначалу Наполеона III до небес, многие люди отвернулись затем от своего идола, ставя ему в вину злоупотребления властью, которые позволяло себе правительство, скандалы, неудачную мексиканскую экспедицию, нелепые работы, предпринятые Османном, наглую роскошь, выставленную напоказ рядом с нищетой, в какой жили рабочие. Республиканцы, ободренные результатами выборов 1869 года, подняли голову. Сотрудничество Золя с такими газетами, как «Трибуна», «Призыв» и в особенности «Колокол» («La Cloche»), превратило его в человека левых взглядов, явного оппозиционера. Тем не менее на самом деле ни к одной воинствующей группировке он не принадлежал. Эмиль просто хотел, чтобы во Франции было больше справедливости, больше свободы, больше равноправия в распределении богатства – словом, чтобы там установился парламентский режим, достойный такого определения. И он говорил и писал об этом с тем большей страстью, что чувствовал приближение грозы.

После того как 10 января 1870 года французский журналист Виктор Нуар был убит, застрелен из револьвера принцем Пьером Бонапартом, в стране стало неспокойно. Казалось, будто даже и самые незыблемые учреждения чем-то подточены изнутри и готовы рухнуть. Едва прикрытая тщеславием немощность Империи пробудила алчность германского соседа. Бисмарк стремился к войне. И если Наполеон III войны боялся, то императрица Евгения заставляла его проявить непримиримость. Именно в этой атмосфере правительственной нерешительности и народного недовольства началась публикация «Карьеры Ругонов» в газете «Век». Будет ли роман с продолжением напечатан до конца? Золя в этом сомневался, и, как оказалось, не напрасно. 13 июля 1870 года Бисмарк, который искусно вел свою игру, передал в газеты сокращенный вариант депеши, посланной ему из Эмса императором Вильгельмом I. Этот урезанный текст во Франции сочли оскорбительным для национальной гордости. Нанесенное оскорбление пробудило уличный патриотизм. Правые газеты утверждали, что французская армия непобедима. Все военные эксперты в один голос предсказывали быструю победу. Народ, слившись в едином порыве, кричал: «На Берлин!» Золя был

ошеломлен тупым непониманием, ослеплением правительства и толпы. Война казалась ему неизбежной. «Карьера Ругонов» больше никого не интересовала. Читатели «Века», разворачивая свою газету, выискивали в ней теперь лишь политические новости. Уже начиналась мобилизация. И в этот момент, когда страна была охвачена лихорадочным воинственным пылом, Золя осмелился написать в «Колоколе»,[58] что тысячи французских солдат бессмысленно позволяют себя убить во имя Империи, которую ненавидят. Мало того, он призывал к восстановлению республики. Статья навлекла на автора обвинение в том, что он «разжигает презрение и ненависть к правительству и подстрекает к неповиновению законам». Однако, на его счастье, суды были перегружены делами, и эта история заглохла сама собой. Желая доказать, что, несмотря на свои пацифистские настроения, он все же хороший француз, Золя решил записаться в национальную гвардию, но его забраковали из-за усилившейся с годами близорукости.

Между тем напряженность событий нарастала. 19 июля 1870 года, несмотря на все старания Тьера, война была объявлена. 11 августа «Век», ссылаясь на «тяжелые обстоятельства», приостановил публикацию «Карьеры Ругонов». Золя от всего этого вместе взятого приходит в отчаяние: из-за войны, из-за неудачи его романа, из-за своей писательской бесполезности в обезумевшем мире. «Эта ужасная война выбила у меня из рук перо, – пишет он 22 августа 1870 года Эдмону де Гонкуру. – Я чувствую себя неприкаянным. Слоняюсь по улицам. Поездка в Отейль дала бы возможность развеяться несчастному романисту, оказавшемуся не у дел».

Седанский разгром, пленение императора, беспорядочное отступление армии помешали Золя по-настоящему обрадоваться установлению республики. Наступление прусской армии пугало его мать и Александрину. Оставаться в Париже становилось опасно. Надо было уезжать. Но куда? В Эксе победила революция. Байль и отец Поля Сезанна вошли в состав нового муниципалитета. Однако перебираться туда тоже страшновато: семья опасалась беспорядков. Лучше всего было бы укрыться в каком-нибудь мирном уголке, подальше от охватившего многие города безумия.

Они продолжали обсуждать разные возможности, а тем временем на востоке гремели бои. Седьмого сентября семейство Золя наконец-то покинуло Париж и поселилось в предместье Марселя, Эстаке. Поль Сезанн уже обосновался там со своим мольбертом. Его суровая и давняя дружба послужит утешением и ободрением для «несчастного Эмиля». Золя одновременно

испытывает и стыд из-за своего бегства, и облегчение оттого, что захватчик теперь от него достаточно далек; наконец, он чувствует себя несчастным, сознавая, что никто не расслышал его голос в защиту республики среди грохота, с которым рухнула Империя.

IX. Поражение

В Эстаке Золя снова встретился с Полем Сезанном, который скрывался в этом тихом городке у моря вместе со своей любовницей Ортанс Фике. Военные власти отказались от намерения его разыскать, да что военные власти – даже родители не имеют ни малейшего понятия о том, где находится его убежище! Сезанн с великолепным пренебрежением относится к войне, полностью поглощенный своей живописью. Не его дело – отмечать на карте, далеко ли продвинулись пруссаки, он предпочитает покрывать холст красками, которые бы зрителю всю душу переворачивали. Сколько раз художник говорил об этом Золя, но тому было не понять друга: его самого преследовала действительность, понукала, не оставляла в покое. Эмиль, как всегда, солидарен с людьми, которые сражаются, с теми, кто не скрывает своего возмущения, с теми, кто ищет наилучший способ спасти Францию. Солнечная безмятежность Эстака кажется ему оскорблением, нанесенным страданиям целой страны.

Проведя несколько преступно праздных дней в этом тихом городке, Золя решил, прихватив жену и мать, перебраться в Марсель – ему казалось, что там он будет ближе к заботам и тревогам соотечественников.

Но, приехав туда 10 сентября 1870 года, он застал огромную *ярмарку тщеславия*, беспорядочную и крикливую. В городе была провозглашена республика, но между членами захватившей власть группировки разгорелось соперничество. Гамбетта издалека отдавал распоряжения, но никто и не думал их выполнять. Город оказался в руках неуправляемой черни, которая с криками выплеснулась на улицы. Доверенным лицом простонародья стал депутат Эскирос; Гамбетта и он противостояли друг другу. Уж не закончится ли все это брато-убийственной войной? Нет, опасаться нечего, здесь только громко говорят и много жестикулируют, а кровь не проливают.

Назначив Альфонса Жана префектом департамента Буш-дю-Рон, Гамбетта отправил его в Марсель, велев изгнать национальную гвардию из здания мэрии, которым та завладела. Гвардейцев образумили и усмирили, и в результате наспех проведенных муниципальных выборов в ратуше появляется Совет, придерживающийся умеренных взглядов.

Едва в городе установилось относительное спокойствие, Золя начал подумывать о том, чтобы возобновить свою деятельность репортера. Встретился с давним другом Мариусом Ру и с Леопольдом Арно, которые когда-то заказали ему «Марсельские

тайны». Решили совместно выпускать газету «Марсельеза». Замысел был одновременно и республиканским, и благоразумным. Пошатавшись по городу во время этой пародии на восстание, Золя возненавидел тупую толпу, которая, стоит ей только выступить против властей, теряет всякую способность управлять собой. Ему казалось, что умные люди в толпе, словно заражаясь друг от друга, теряют разум, который затем уносится волной ярости и потоком заблуждений. Сторонник порядка и благопристойности, Золя осуждает всяческие крайности, а потому решительно становится на сторону Альфонса Жана. По его мнению, вполне можно ратовать одновременно за социальную справедливость и за буржуазный комфорт и добропорядочность.

Несмотря на все старания издателей, «Марсельеза» просуществовала недолго, и вскоре Золя снова оказался не у дел. Но у него в городе остались связи. Внезапно Эмилю пришло в голову, что он мог бы получить должность префекта или супрефекта, и это обеспечило бы семье «прожиточный минимум». Однако все назначения делались в Бордо, стало быть, если ему хочется добиться желаемого, надо отправляться туда.

К несчастью, в разгар войны любая, даже самая короткая и недальняя поездка превращалась в неразрешимую проблему, трудности казались непреодолимыми. Расписание железных дорог менялось день ото дня. И все же, хотя и после долгих колебаний, Золя решился пройти через грозившие ему испытания и взял билет третьего класса. В набитом битком вагоне было холодно, он насквозь продрог и к тому же сильно проголодался. Правда, в Сете ему повезло – удалось раздобыть кусок окорока. Насытившись, он принялся с тоской смотреть на снег, монотонно засыпавший поля от Сета до Монтобана.

В Бордо, куда поезд прибыл 12 декабря, Золя долго бродил под дождем из одной гостиницы в другую в поисках пристанища. Найти жилье не удавалось: все оказалось переполнено. Наконец ему предложили комнату для прислуги в отеле Монтре на улице Монтескье. Платить за нее надо было всего-навсего два франка.

Золя прошелся по городу, и Бордо с первого же взгляда ему не понравился, показался серым, унылым и грязным. Чтобы хоть сколько-нибудь утешиться, он позволил себе поесть устриц по франку двадцать сантимов за дюжину. И немедленно начал действовать.

Если Париж был осажден пруссаками, то Бордо осаждали просители. С тех пор как правительство, после недолгой остановки в Туре, обосновалось в этом городе, население его, казалось, удвоилось. Политики, журналисты, адвокаты, спекулянты всех мастей неотступно преследовали тех, кто был в

это время у власти, добиваясь кто – покровительства, кто – должности, кто – заключения выгодной сделки. И пока истощенный, голодный, лежавший в кольце осады Париж из последних сил боролся за то, чтобы выжить, здесь плели интриги, болтали, сплетничали, устраивали заговоры… Все это, включая охоту за теплыми местечками, показалось Золя отвратительным, но, как ни противно ему было, ничего другого не оставалось и приходилось во всем этом участвовать.

Первые же визиты к высокопоставленным особам принесли ему разочарование. «Ни одного свободного места не осталось, – пишет он Александрине и матери. – Прежде всего, министерство назначает одних только префектов, предоставляя последним право и вменяя в обязанность самим находить супрефектов. Однако все префектуры уже разобраны, и ни один префект явно не намеревается выпускать добычу из рук… Остаются супрефектуры. Мазюр[59] предложил мне супрефектуру Кенперле в Бретани, от которой я отказался: и слишком далеко, и пейзаж унылый… Тогда он предложил мне Леспарр, маленький городок в нескольких лье от Бордо. Я снова отказался, сохранив за собой право передумать, если ничего лучше не подвернется».[60]

Не сдаваясь, не падая духом, Эмиль продолжает стучаться во все двери. Теперь он метит на должность супрефекта Экса. Конечно, она уже занята! Ну что ж, значит, надо сместить нынешнего супрефекта, и Альфонс Жан, префект Марселя, вполне мог бы на это пойти. Вот пусть Мариус Ру и займется делом! Вполне можно побеспокоить ради достижения этой цели Артюра Ранка, сотрудника Гамбетты и начальника сыскной полиции! Пустить в ход все возможные средства!

Альфонс Жан в ответ на просьбу сообщил, что и место супрефекта в Эксе уже занято: успели назначить нового. Золя пришел в отчаяние, у него опустились руки. Мать писала ему в эти дни: «Не переутомляйся, я желаю, чтобы тебе все удалось, но, если тебе не повезет и твои труды успехом не увенчаются, не слишком огорчайся из-за этого. В таком случае утешайся мыслью о том, что ты сделал все от тебя зависящее… Мы не станем из-за этого меньше радоваться твоему возвращению, потому что главное – ты снова будешь с нами».

Действительно, все средства Золя исчерпал. Он не может прожить меньше чем на десять франков в день. Еще неделя, и у него ровно ничего не останется. «Дождь идет не переставая, – пишет он матери и Александрине. – Поскольку занят я всего два-три часа в день, провожу время, прохаживаясь под аркадами театра. Кафе отвратительные. По стенам всех домов течет вода… До чего сырой город!.. Я встаю в семь часов, съедаю булочку,

потом хожу по своим делам и гуляю под аркадами театра до полудня. В полдень обедаю в „Лакомом Каплуне“, после чего ложусь вздремнуть, потом до ужина читаю. В девять часов укладываюсь спать. Нельзя сказать, чтобы все это было очень уж весело».[61]

Мать, которую он прозвал «госпожа Утка», и Александрина, которую он ласково называл «Коко», издалека утешали его, жалели, сочувствовали многочисленным неудачам, преследовавшим его в столь негостеприимном городе. Они рассказывали ему, что пес Бертран очень скучает без хозяина, и уговаривали Золя поскорее вернуться в Марсель. Но он упорствовал в своем намерении любой ценой заполучить должность супрефекта. Собирался даже – в случае, если его старания увенчаются успехом, – уговорить обеих женщин перебраться в Бордо: «Ах, если бы только вы были здесь, рядом со мной, я бы не сомневался в успехе моего дела, проявив самую малость терпения и приложив некоторые усилия. Не теряйте надежды. К сожалению, не могу точно назвать вам день моего возвращения. Чувствую, что, как только перестану упорствовать, отступлю, все будет потеряно. Но я собираюсь наседать на всех и каждого и постараюсь как можно скорее добиться результата… Сообщите мне в следующих ваших письмах, сколько у вас есть денег и что вам потребуется для того, чтобы приехать сюда ко мне».[62] Растроганная и взволнованная приглашением, Эмили тут же принимается обдумывать возможность поехать к сыну и заканчивает свое письмо к нему такими словами: «До встречи, мой Эмиль, мой толстый утенок. Мадам Утка уже расправляет крылья, чтобы лететь к тебе, как только ты, призывая ее к себе, громко закричишь „кря-кря-кря“».[63]

Теперь Золя все свои надежды возлагает на Александра Глэ-Бизуэна, члена правительства, на досуге от случая к случаю что-то пописывавшего. Для того чтобы уж точно не упустить высокопоставленного чиновника, Эмиль целый час выстоял у двери его дома под проливным дождем. Наконец важная особа решилась высунуть нос на улицу. Золя тут же бросился к Глэ-Бизуэну и сердечно его поприветствовал, а Глэ-Бизуэн в ответ пригласил писателя в кафе, чтобы угостить шоколадом. Однако Золя, осведомленный о крайней скупости того, дипломатично отказался, а еще через пять минут, спрятав гордость подальше, осмелился обратиться к собеседнику с вопросом: «Если у вас есть своя канцелярия, не нашлось бы там для меня местечка?» Глэ-Бизуэн, к великой радости просителя, ответил, что у него работает только один секретарь, который в настоящее время находится в Ванне. Так вот – не согласится ли Золя его заменить?

[64]

Узнав, что жалованье секретаря составляет пятьсот франков в месяц, Золя с восторгом принимает предложение. Вот он и снова на плаву, с затруднениями покончено! Конечно, секретарская должность выглядит не слишком блестящей и куда менее привлекательна, чем вожделенный пост супрефекта, но во времена смуты и интриг просто грешно слишком уж привередничать. Радуясь тому, что все так удачно сложилось, новый секретарь министра в очередном письме «мадам Коко и госпоже Утке» сообщает им радостную новость и зовет к себе, советуя привезти с собой как можно больше денег, чтобы хватило на обустройство. Кроме того, в этом же письме он рассказывает, что на окружающих его новая официальная должность уже производит впечатление: перед ним «начинают заискивать» и ему уже случается «давать аудиенции». Впрочем, он вовсе не собирается ограничиться тем, чтобы вести переписку своего бесцветного и благожелательного начальника: «Я, несомненно, найду возможность писать статьи для провинциальных газет; все будут думать, что я, в качестве секретаря Глэ-Бизуэна, посвящен в планы начальства, а потому я рассчитываю выгодно продавать свои газетные материалы».[65]

Единственное, что теперь несколько тревожит Эмиля, – это проблема жилья: «У меня есть на примете две квартиры, но у обеих существенные неудобства, и пока я ни на что не решился. Кухни здесь чудовищные: плиты нет, а печка низкая и тесная. Вам будет очень неудобно. Впрочем, я не собираюсь надолго задерживаться в Бордо и пробуду здесь ровно столько времени, сколько потребуется для того, чтобы раздобыть себе какую-нибудь су-префектуру, если только не решу, что место секретаря устраивает меня больше». Что касается самой поездки обеих дам, говоря о том, что лучше всего было бы получить два бесплатных железнодорожных билета, он сетует: «Здесь это невозможно. Это было бы уж слишком шито белыми нитками и точно не удалось бы, я осведомлялся. Я должен здесь производить впечатление вполне приличного господина, но никак не служащего».

И продолжает, преисполненный заботы не только о жене и матери, но и о своей собаке Бертране, которого они непременно должны к нему привезти: «Прежде всего, советую вам потеплее укутаться, здесь стоит ледяная стужа. Бедному Бертрану придется очень несладко. Для собак существуют такие будки, с одной стороны закрытые, попросите устроить его в такой будке, чтобы он не замерз. Словом, постарайтесь как можно лучше его устроить. В крайнем случае дайте пару франков кондуктору и спросите у него, что можно предпринять, чтобы не дать

несчастному животному подхватить воспаление легких…[66] До скорой встречи, жду вас в воскресенье вечером. И как же я рад!»[67]

Когда к Рождеству, к 25 декабря, женщинам все еще не удается приехать, Золя начинает впадать в уныние. «Здесь такой холод, какого я в Париже ни разу не испытывал, и я брожу по улицам как неприкаянный. Пока мне приходилось бороться, я еще мог мириться с тем, что мы в разлуке, но теперь, когда я пристроен, вы и представить себе не можете, до чего мне не терпится вас увидеть… Какое печальное Рождество! Я весь день дрожал от холода; сейчас пойду встречать вас на вокзале, и, если вернусь домой без вас, мне будет очень грустно».[68]

И все-таки Рождество он встречал один. Путешественницы добрались до Бордо лишь в ночь с 26 на 27 декабря: им пришлось целый день провести в Фронтиньяне, потому что пути были завалены снегом.

Семья кое-как разместилась в тесной квартирке, которую Золя успел к этому времени снять в доме 48 по улице Лаланда.

Едва обосновавшись на новом месте, Эмиль забеспокоился о своем батиньольском доме. До него дошли слухи о том, что дом реквизирован, и он тотчас написал Полю Алексису, забросав его вопросами: «Не разорен ли сад? Какие комнаты отданы захватчикам? Занят ли мой кабинет? Осталась ли мебель на прежних местах или ее подняли на верхний этаж, ведь это можно было сделать только через окна?.. Что стало с бумагами, лежавшими у меня в ящиках письменного стола, в шкафчике и в секретере, не выбросили ли их? Не перебили ли посуду? Не разграбили, не украли ли чего-нибудь?.. Впрочем, надеюсь, что жилище мое было занято в соответствии с требованиями закона и при участии комиссара. Надеюсь также, что были наложены печати и составлена опись… Я на особом положении: в качестве должностного лица, в качестве секретаря Глэ-Бизуэна я имею право на неприкосновенность моего жилища. Так вот, соблаговолите передать это консьержу, домовладельцу, мэру и всем тем, кого встретите… В каком состоянии должен сейчас быть бедный мой кабинет, в котором я с таким усердием приступил к работе над моими „Ругон-Маккарами“!»[69]

Поль Алексис, не дожидаясь просьбы Золя, уже осмотрел его дом и отправил писателю подробный отчет о том, в каком виде этот дом застал. Однако письма разминулись, и послание Поля Алексиса достигло Бордо с большим запозданием. «Батиньоль не обстрелян, – читал Золя, получив письмо, – но часть вашего жилища была реквизирована мэрией Батиньоля для того, чтобы на время осады приютить семью беженцев. Все попытки

предотвратить эту неприятность, как я неоднократно предотвращал другие аналогичные, были тщетными. Да, дорогой мой Эмиль, *horresco referens*,[70] целая семья, отец, мать и пятеро детей!.. Спешу прибавить с тем, чтобы вас успокоить, что в их распоряжение был предоставлен лишь первый этаж. Полотно Мане, ваше столовое серебро, прочие разнообразные предметы, которые вы оставили разложенными на столах, были моими заботами перенесены на второй этаж. Я несколько раз, проходя мимо, заглядывал в дом и могу надеяться на то, что, вернувшись, вы обнаружите здесь не слишком большой ущерб. Скорее всего, отделаетесь тем, что придется заново перетянуть матрац».[71] Золя был удручен полученным из Батиньоля известием, однако сознавал, что ему еще повезло по сравнению с соотечественниками: у многих из них дома были вообще разрушены или еще хуже – кто-то из близких пал в бою. Работая секретарем у Глэ-Бизуэна, Эмиль горел желанием вернуться в журналистику и, охваченный нетерпением, письмом предложил свои услуги Луи Ульбаху, главному редактору «Колокола». Предложение было принято.

Тем временем события в стране развивались стремительно. Истерзанный Париж предпринимал тщетные попытки разжать тиски пруссаков. После тяжелых и кровопролитных боев Жюль Фавр и Бисмарк подписали перемирие. В Туре Гамбетта последний раз объявил мобилизацию, призывая к оружию население оглушенной своим поражением страны, которая сейчас единственно, чего хотела, это зализать свои раны. После проведенных в атмосфере паники выборов в законодательные органы в Бордо начались заседания Национального собрания. Тьер был избран главой правительства, прусские войска, празднуя свою победу, прошли парадом по Елисейским Полям, а новые депутаты подписались под условиями перемирия, по которым Франция лишалась Эльзаса и значительной части Лотарингии и обязывалась уплатить Германии военную контрибуцию в размере пяти миллиардов франков.

Золя был глубоко удручен итогами этой жестокой войны, которой вполне можно было избежать, и в то же время возмущался самоуверенной наглостью победителей. Теперь, когда Францию оскорбили и унизили, он, сын итальянца, чувствовал себя французом в большей степени, чем когда-либо.

После того как правительство национальной обороны сложило с себя полномочия и Глэ-Бизуэн покинул Бордо, у Золя единственным источником дохода остались его журналистские гонорары, больше ему рассчитывать было не на что. Однако он не дрогнул, и даже больше того, ему, как это ни странно, стало

казаться, будто только что пережитое страной чудовищное кровопролитие открывает людям его поколения дорогу к светлому будущему. «Я чувствую обновление, – еще раньше писал он Полю Алексису. – Мы – люди завтрашнего дня, и день наш настает».[72]

Золя поручил своему младшему другу привести в порядок батиньольский дом, только что освобожденный от постояльцев. Он рассчитывал вернуться туда, как только ход событий даст ему такую возможность. «Посылаю вам чек на пять франков, – пишет он, – велите садовнику подрезать мои розовые кусты, деревья и виноградник. Прошу вас особенно позаботиться о моих розовых кустах – тех, что высажены на первой клумбе. Землю пусть никто не трогает, в нее зарыты луковицы тюльпанов и лилий, их могут повредить». И заканчивает письмо ставшей уже традиционной формулировкой: «Скажите себе, что пришло наше время. Мир установлен. Мы – писатели завтрашнего дня».[73]

Завтра наступит завтра, а пока писатель посылает в «Колокол» исполненные ярости и вдохновения статьи на тему о политической жизни Бордо. Национальное собрание при ближайшем рассмотрении оказалось отчаянно реакционным, поскольку состояло по большей части из невежественных и самодовольных именитых граждан, избранных в сельской местности. Заседания проходили в городском театре. Золя, ежедневно на них присутствовавший, подробно описывает обстановку: сумрачный зал, три люстры, освещающие красные скамьи, сцена с поднятым занавесом и салонным убранством, задрапированное пурпурным бархатом возвышение, – и заключает свое описание словами: «Здесь будет казнена Франция».

Он обличает неблагодарных провинциальных депутатов, посмевших оскорбить Гарибальди – этого героя, который с оружием в руках служил Франции и провинился лишь тем, что пожелал остаться итальянцем. Он с изумлением слушает поток брани, который обрушился на Виктора Гюго, депутата от Парижа, когда тот попытался вступиться за Гарибальди. Он смотрит, как коротышка Тьер взбирается на трибуну, и находит, что он, с его хитроватым видом и плавным красноречием, в совершенстве воплощает усредненные достоинства страны. Золя с горечью наблюдает за дрязгами и перебранками всех этих новичков-депутатов, которые сваливают друг на друга ответственность за поражение. «Вы, разумеется, не имеете ни малейшего представления о том, как выглядит это Национальное собрание, – пишет он в одной из статей. – Я не хотел бы проявлять к нему неуважение, да и времена сейчас такие, что не располагают к веселью, но как не сказать, что наши деревни и в самом деле

прислали сюда славных ребят, при виде которых карикатуристы пришли бы в восторг. Представьте себе мелких помещиков времен Карла X и Луи-Филиппа, слегка запыленных, но великолепно сохранившихся. Самое немыслимое – их шляпы разнообразных форм. Эти славные люди с тех пор, как пала монархия, жили себе на своих землях и только что оставили своих фермеров, чтобы присутствовать при последних днях республики. Иные ведут себя совсем по-ребячески. Большинство даже не умеет поднять руки, чтобы проголосовать».

Тем временем Национальное собрание уже намеревается, покинув Бордо, перебраться в Версаль, и Золя приходится вновь укладывать чемоданы. Он сильно встревожен: ему только что стало известно, что типография «Века» потеряла единственный экземпляр рукописи романа «Карьера Ругонов», публикация которого была прекращена в начале войны. Хватит ли у него сил заново написать этот роман, с которым он так намучился? И почему внешние события непременно должны расстраивать его планы, мешать осуществлению его писательских замыслов?

Когда семья Золя вместе с псом Бертраном села в поезд, идущий в столицу, у всех на сердце было тяжело. 14 марта 1871 года они уже были дома и могли с облегчением убедиться в том, что их освобожденное от постояльцев жилище нисколько не пострадало за прошедшие месяцы. Пруссаки ушли из Парижа, но их присутствие в окрестностях города было вполне ощутимым, казалось, будто воздух внезапно сгустился, здесь стало невозможно дышать хотя бы так же свободно, как в остальной части Франции.

По приезде Золя первым делом бросился в типографию «Века» – и нашел свою рукопись! Каким-то чудом она оказалась лежащей на столе корректора. У него камень с души свалился.

18 марта «Век» возобновил публикацию «Карьеры Ругонов». Но радость, которую испытывал от этого Золя, была омрачена доходившими из города дурными известиями. Тьер решил отобрать пушки у национальной гвардии, считая опасным дольше оставлять их в распоряжении народного ополчения.

«Влияние этой массовой организации непрерывно росло. К середине марта в ее состав входило 215 батальонов (из общего числа 266). Когда 27 февраля распространился слух о предстоящем вступлении в Париж немецких войск (они вступили 1 марта и ушли 3-го), национальные гвардейцы, опасаясь, что пруссаки захватят пушки, перетащили их на Монмартр, в Бельвилль и другие пролетарские округа».[74] Но войско натолкнулось на сопротивление толпы, состоявшей из рабочих, женщин, детей и национальных гвардейцев. Генералы Леконт и

Клеман Тома были захвачены в плен и расстреляны. Восстание набирало силу, и Тьер, испугавшись, вместе со всем правительством укрылся в Версале, где уже находилось к тому времени Национальное собрание. Между законными представителями народа и Парижской коммуной произошел полный разрыв. «С убийцами в переговоры не вступают!» – заявил Жюль Фавр.

Заседания Национального собрания возобновились 20 марта, и Золя, как добросовестный репортер, решил публиковать в «Колоколе» отчеты о них под общим заголовком «Письма из Версаля». Но когда через два дня после начала восстания Эмиль вознамерился сесть в поезд, идущий в Версаль, его задержали вооруженные мятежники. Назавтра неприятная история в точности повторилась, только на этот раз в Версале. Теперь Золя был задержан комиссаром полиции, который препроводил его в оранжерею замка, куда сгоняли повстанцев. Шарлю Симону, с которым он познакомился в редакции «Колокола», удалось добиться того, чтобы писателя после допроса отпустили. «Вчера мне помешал Центральный комитет, сегодня я оказался на подозрении у исполнительной власти, – пишет он в „Колоколе“ 23 марта, – и теперь я охвачен колебаниями, подвергаю себя суду совести, анализирую собственные поступки и задаюсь вопросом, не было бы сейчас умнее всего уложить чемоданы».

Тем не менее он продолжает отправлять репортажи и в «Колокол», и в «Марсельский семафор». В жестокой схватке, происходившей между Версалем и Парижем, он никак не может определиться, колеблясь между презрением, которое вызывает у него «парламент-куриная-гузка», и ужасом и отвращением, которые пробуждают в нем преступления толпы. И все же Золя надеется, что правительство окажется достаточно сговорчивым, коммунары образумятся и сложат оружие и Париж снова станет «великим городом здравого смысла и патриотизма».

31 марта из-за военных операций, проводившихся по приказу Версаля, Золя не смог сесть в поезд на вокзале Сен-Лазар. Один из национальных гвардейцев посоветовал ему отправиться на вокзал Монпарнас: вроде бы на левом берегу поезда еще ходят. Два дня спустя версальская армия перешла в наступление, стремясь уничтожить Коммуну. Золя был потрясен жестокостью, с которой подавлялось восстание. Ему претило свирепое воодушевление, охватившее роялистов, заседавших в Национальном собрании. В своих отчетах он подчеркивал, что лицо Тьера, когда он рассказывал Национальному собранию об успехах своих войск, сияло от «эгоистического и пошлого» удовольствия. Можно было подумать, что правительство,

побежденное пруссаками, отыгрывается на французах. Но и коммунары были ничем не лучше с их «диктаторами из Ратуши», [75] которые закрывали враждебно настроенные к ним газеты, приказывали проводить обыски, вводили «удостоверения гражданина» и подстрекали толпу к убийствам и грабежам.

«Признаюсь вам, у меня уже голова начинает кружиться от того, что я оказался в ситуации, которая с каждым днем становится все более сложной и более необъяснимой», – пишет Золя 23 апреля. А 10 мая, когда ему угрожает опасность оказаться заложником у коммунаров, он покидает Париж и перебирается в Сен-Дени.

Вскоре после этого версальцы вошли в столицу через разрушенные и оставленные защитниками ворота Сен-Клу, и это послужило сигналом к началу кровавой недели. Неорганизованные, плохо вооруженные отряды коммунаров отступали, сражаясь за каждую пядь земли. Люди из службы общественной безопасности разбирали баррикады. Всякого коммунара, схваченного с оружием в руках, казнили на месте. 28 мая повстанцев загнали на кладбище Пер-Лашез и расстреляли, многие из них оказались тогда на том месте, которое теперь называется Стеной коммунаров.

Когда Золя и его родные добрались до Парижа, в городе установился угрюмый порядок. Запуганные горожане не решались прямо взглянуть в лицо друг другу. К унижению из-за победы пруссаков прибавился стыд за братоубийственную войну. Единственным утешением для парижан стала возможность подписаться на национальный заем, и они за эту возможность ухватились, ведь собранные деньги дадут возможность освободить территорию страны. Сбор средств начался утром 27 июня, закончился вечером того же дня, и собрано было за это время около пяти миллиардов франков. Раскошелившись, обыватель чувствовал себя успокоенным, ему казалось, будто он откупился одновременно и от памяти о войне между государствами, и от воспоминаний о гражданской войне. Патриотизм крови уступил место патриотизму бумажника. Казни и депортации не переставали множиться. Трупы еще не успели истлеть в могилах, но уже начисто исчезли из памяти. Не полностью оправившимися от страданий людьми овладело безудержное желание наслаждаться жизнью.

«В течение двух месяцев я жил в пекле, – пишет Золя Полю Сезанну. – Днем и ночью, не переставая, грохотали пушки, а под конец снаряды пролетали по саду прямо над моей головой… А сегодня я снова в Батиньоле, и все спокойно, словно закончился страшный сон. Домик мой все тот же, и сад в

неприкосновенности, ни одна вещь не повреждена, ни одно растение не пострадало, и я готов поверить, что эти две осады – всего лишь злая шутка, кем-то выдуманная для того, чтобы пугать детей… Никогда я не был полон ни такой надежды, ни такого желания работать. Париж возрождается. Наступает, как я тебе уже неоднократно говорил, наше время. Мой роман, „Карьера Ругонов“, скоро будет напечатан. Ты себе и представить не можешь, какое удовольствие я испытываю, читая корректуру. Можно подумать, у меня выходит первая книга. После всех этих потрясений я вновь чувствую то же, что чувствовал в молодости, когда с лихорадочным нетерпением ждал листы „Сказок Нинон“». [76]

Другую радость, и тоже немалую, доставил писателю муниципальный совет Экса, решивший официально присвоить имя «канала Золя» сооружению, строительство которого когда-то было начато его отцом. Наконец-то итальянскому инженеру, которым Эмиль так восхищался в детстве, воздали по заслугам, справедливость восторжествовала!

Как только «Карьера Ругонов» вышла отдельным изданием, Золя послал книгу Флоберу и получил от него в ответ несколько строк: «Только что дочитал вашу прекрасную и жестокую книгу… Я все еще не могу опомниться! Это очень крупная, значительная вещь… Вы обладаете завидным талантом, и вы хороший человек». [77]

X. Ругон-Маккары

Война закончилась, горечь от поражения утихла, и Золя с головой ушел в продолжение «Ругон-Маккаров». Его батиньольский дом превратился в настоящую литературную оранжерею. Чтобы немного размяться между двумя главами, он, переодевшись в дырявую фуфайку и старые штаны, обувшись в грубые крестьянские башмаки, выходил в сад, рыхлил там землю, подрезал розовые кусты или поливал салат. Пес Бертран неотступно следовал за хозяином. Золя сколотил для него будку из старых досок. Мадам Коко и мадам Утка с умилением смотрели, как их Эмиль занимается незатейливым физическим трудом. Сами они выращивали кур и кроликов, вместе вели хозяйство и нарадоваться не могли на скромное благополучие, пришедшее к ним после всех тревог и лишений последних месяцев.

Иногда Золя, облачившись в приличный костюм, отправлялся «в город», чтобы поработать в библиотеке, которая называлась теперь уже не Императорской, а Национальной. Случалось, заглядывал и в кафе «Гербуа», где встречался с друзьями, но прежнего веселья там уже не бывало. Многие завсегдатаи, в том числе и жизнерадостный Фредерик Базиль, пали на поле боя. Поэтому Золя предпочитал приглашать близких друзей к себе, собирая их по четвергам за домашним столом. Александрина великолепно готовила, ее щедро сдобренные пряностями буйабессы и благоухающие вином и луком рагу из кролика были бесподобны.

Хорошо, что тяжелая, сытная еда нисколько не мешала Золя, едва за гостями закрывалась дверь, резво устремляться к письменному столу. Пища усваивалась его организмом быстро, голова оставалась ясной. К сочинению очередного романа он приступал, лишь основательно подготовившись: после того, как предварительные разработки были аккуратно разложены по пяти папкам. Первая – на ней он сделал надпись «набросок» – содержала характеристики героев и главную мысль будущей книги в самом общем виде; во второй лежали карточки с обозначением гражданского состояния, наследственных признаков и наиболее выдающихся особенностей персонажей; третья заключала в себе подробное исследование среды, в которой им предстояло действовать, профессии, которой занимался тот или другой из них, и так далее; в четвертую писатель складывал выписки из книг, газетные вырезки, листочки со сведениями, полученными от друзей, которых он

расспрашивал о той или иной мелочи, «чтобы было похоже на правду»; наконец, в пятой папке был подробный, по главам, план. Золя давал волю вдохновению только после того, как материалы были самым кропотливым образом собраны. Он писал от трех до пяти страниц в день, залпом, почти никогда не перечитывая написанное, ничего не вычеркивая и не делая вставок на полях. Несколько лет спустя он откровенно расскажет русскому журналисту: «Я работаю самым простым и добротным способом, в определенные часы, по расписанию. С утра усаживаюсь за стол, как торговец становится за прилавок, и потихоньку пишу, в среднем по три страницы в день, не переписывая; представьте себе женщину, которая вышивает шерстяной ниткой, стежок за стежком… Я переношу фразу на бумагу лишь после того, как она окончательно сложится у меня в голове. Как видите, все это на удивление обыкновенно».[78]

Зато совершенно необыкновенным было пламя, горевшее в этих столь тщательно подготовленных текстах. Знатоков и любителей творчества Золя неизменно поражал, нет, не только поражал – поражает до сих пор! – контраст между продуманной умеренностью труда и вдохновенной яростью результата.

Вся внутренняя структура «Ругон-Маккаров» объясняется неврозом Аделаиды Фук, отец которой кончил свои дни умалишенным и которая после смерти мужа, простого батрака по имени Пьер Ругон, сделала своим любовником пьяницу Антуана Маккара. Именно по такой причине потомство той, кого станут называть тетушкой Дидой, будет отмечено двойным проклятием – безумия и алкоголизма, и каждый побег на этом генеалогическом древе будет носить печать страшной наследственности, включающей самые различные вариации, связанные с особенностями характера и темперамента, зависящие от пола персонажа и его окружения. Переходя от одного тома к другому, читатель познакомится со всеми семьями, всеми ветвями, идущими от этого одновременно мощного и прогнившего ствола. А весь цикл в целом будет обладать полнотой панорамы общества времен Второй империи и отличаться безукоризненной четкостью научного исследования.

Вот уже несколько месяцев, как Золя, вдохновленный столь грандиозным видением, приступил к работе над вторым томом цикла. Свой новый роман писатель назвал «Добыча». В нем рассказана история Аристида Ругона, молодого неудержимого честолюбца, который перебирается в Париж сразу после переворота, женится на молоденькой беременной женщине, чтобы «прикрыть ее позор», пускается в земельные спекуляции и наживает колоссальное состояние, а его вторая жена Рене,

одинокая и жаждущая наслаждений, влюбляется в своего пасынка Максима и, разоренная мужем, умирает от менингита. Этот терпкий и чувственный роман стал и приговором, вынесенным деловому миру с его жестокими происками, его распутством, его показной пышностью, его поддельной респектабельностью, – и портретом «новой Федры», «извращенной парижанки», предающейся кровосмесительному блуду в объятиях безвольного и лишь наполовину согласного на это юноши.

Золя, никогда не вращавшийся в том мире роскоши и разврата, который он описывает, и на этот раз собирал материал для романа с присущей ему серьезностью. Он посетил особняк господина Менье в парке Монсо, подолгу расспрашивал более богатых и высокопоставленных, чем он сам, друзей о том, какие наряды носят модно одетые женщины, как выглядят ливреи на слугах, узнавал, чем отличаются от прочих экипажи английского мелкопоместного дворянства, выяснял, какие грандиозные перемены должны были произойти в Париже в соответствии с фантастическими планами Османна, рылся в книгах, пытаясь разобраться в тонкостях займов Земельного кредита и Кодекса конфискации. Как добросовестный ремесленник, он рассчитывал при помощи точных деталей сделать особенно яркой и полной картину пряного и легкомысленного упадка нравов времен Второй империи.

Едва в «Колоколе» появились первые главы «Добычи», вокруг романа поднялся шум. Возмущенные читатели засыпали письмами прокурора Республики, и тот, вызвав к себе Золя, любезно, но решительно посоветовал ему прекратить публикацию романа, который кажется оскорбительным стольким людям. В случае отказа прокурор вынужден будет закрыть газету. Для того чтобы убедить Золя, ошеломленного такой неожиданностью, пришлось показать ему письма, в которых читатели называли роман порнографией: «Даже при Республике в печать попадают эти альковные мерзости!» Золя сдался, не желая навлекать неприятности на «Колокол», но сделал попытку оправдаться в открытом письме Луи Ульбаху, которое немедленно было напечатано на первой полосе газеты: «Это я сам, а не прокурор Республики, прошу вас приостановить публикацию романа… „Добыча“ – не отдельное произведение, а часть большого целого, всего лишь одна музыкальная фраза в задуманной мной грандиозной симфонии… Впрочем, не могу не отметить, что первый роман был напечатан в „Веке“ во времена Империи, и мне тогда и в голову не могло прийти, что когда-нибудь моей работе станет препятствовать прокурор Республики… Должен ли я был промолчать, мог ли я оставить в тени эту вспышку разврата,

озаряющую Вторую империю, словно злачное место, неверным светом?.. „Добыча“ – опасное растение, выросшее на имперской навозной куче, это инцест, вызревший на перегное миллионов… Моя Рене – потерявшая голову парижанка, которую толкнули на преступление роскошь и жизнь, полная излишеств; мой Максим – порождение исчерпавшего себя общества, мужчина-женщина, безвольная плоть, позволяющая любые надругательства над собой; мой Аристид – это биржевой игрок, вынырнувший из парижских волнений, бесстыдно обогатившийся и ставящий на все, что только попадается ему под руку: женщины, дети, честь и совесть. Я попытался, используя эти три общественных уродства, дать представление о той чудовищной трясине, в какую погружается Франция… Тем не менее я с трудом могу привыкнуть к мысли, что именно прокурор Республики предупредил меня о том, какую опасность создает эта сатира на Империю. Мы не умеем во Франции любить свободу мужественно и безраздельно». [79]

Впрочем, ответ получился неудачный. Некоторые читатели действительно упрекали Золя, но не столько в том, что он обличает пороки Второй империи, сколько в его склонности к эротике. Эти люди, воспитанные в жестких рамках ложной морали, возмущались, читая описание ночи любви, когда Рене вела себя как мужчина, подчинив себе томного, расслабленного пасынка, принимающего ее ласки пассивно и благодарно. В ловких руках мачехи Максим, по словам Золя, становился «красивым белокурым бесполым существом с безволосыми членами», напоминавшим высокую девушку. «Они провели безумную ночь. Рене проявила страстную, действенную волю, подчинившую Максима. Это красивое белокурое и безвольное существо, с детства лишенное мужественности, напоминавшее безусым лицом и грациозной худобой римского эфеба, превращалось в ее пытливых объятиях (объятиях мачехи) в истую куртизанку. Казалось, он родился и вырос для извращенного сладострастия…»[80]

Должно быть, Золя испытывал сильнейшее наслаждение, описывая в уединении и тиши своего кабинета подобное андрогинное совокупление. Как всегда, в его сочинениях подавленная чувственность находила себе выход, прорывалась наружу. Сочинитель был одновременно и ненасытной Рене, и Максимом, жертвой ее сладострастия. После того как публикация «Добычи» была прекращена, газета «Constitutionnel» с торжеством писала: «В литературе господин Золя принадлежит к шайке Валлеса, считающего себя реалистом, хотя на деле он попросту нечистоплотен. Все мы знаем, что породила в политике эта

школа, мать Коммуны».

Когда «Добыча» вышла у Лакруа отдельным изданием, вокруг нее образовался заговор молчания. Не сговариваясь, большинство газет решили избегать каких-либо упоминаний о романе. Они были слишком поглощены сегодняшней политикой для того, чтобы интересоваться вчерашними страстями. В довершение всех несчастий Лакруа разорился, лишив Золя последней надежды на благополучную судьбу книги.

Теофиль Готье, сжалившись над молодым собратом по перу, которого постигла такая неудача, порекомендовал Золя собственному издателю, Жоржу Шарпантье. И очень вовремя это сделал: писатель к тому времени оказался на мели. У него не хватало денег даже на то, чтобы купить себе приличный костюм, в котором можно было бы отправиться на встречу с возможным спасителем.

Жорж Шарпантье, которому в то время было всего тридцать пять лет, принял Золя с почтительным уважением. Он умел распознать истинный талант и без колебаний брал на себя обязательства, если книга ему нравилась или внешность собеседника внушала доверие. Вот и сейчас без долгих раздумий и лишних уверток Шарпантье предложил печатать два романа Золя в год, выплачивая автору по пятьсот франков ежемесячно, а кроме того, выкупить у Лакруа за восемьсот франков права на «Карьеру Ругонов» и «Добычу». Золя вернулся домой победителем. Он спасен! И отныне может спокойно работать над продолжением «Ругон-Маккаров», не думая о том, как свести концы с концами.

И вот он уже приступает к «Чреву Парижа»… Если все то, что Эмиль узнавал, собирая сведения о высшем обществе времен Второй империи, его увлекало, то теперь, открывая для себя удивительный мир Центрального рынка, он испытывал такое ощущение, будто погружается в мир видений. Охваченный страстью, он чувствовал себя перед этими грудами припасов, которыми парижане должны были утолить голод, разом и художником, и романистом. День за днем он исследовал ларьки, погреба, кладовые, отмечая форму кровель и расположение различных секторов: мясные, рыбные, зеленные, сырные лавки, справлялся о полицейских предписаниях, налогах и пошлинах, вычерчивал план квартала, подробно описывая каждую улицу со всеми ее особенностями, раздувал ноздри, жадно втягивая мощные и крепкие запахи, исходившие от этого чудовищного скопления пищи.

Понемногу Центральный рынок перестал в его представлении быть всего лишь декорацией, фоном, превратившись в

мифическое существо и сделавшись главным героем романа. Интрига в «Чреве Парижа» строится на противопоставлении *тощих* и *толстых*. Мечтатель Флоран, из числа «тощих», бывший осужденный и беглый каторжник, снова увлекается политикой и создает тайное общество. Но его выдадут, он будет арестован и снова отправится в Кайенн. Его сводный брат Кеню, «толстый», разбогатевший колбасник, и жена Кеню Лиза, мещаночка с сонной плотью и корыстным умом, не способны представить себе, как это честные люди могут умирать с голоду.

Золя доказывал, что тощие, наивные идеалисты, неизменно терпят поражение от толстых, которые при любом режиме только о том и думают, как бы набить карманы, и «Чрево Парижа» в связи с этим заканчивалось выводами не менее пессимистическими, чем «Карьера Ругонов». Однако читателей того времени поражал не столько глубокий смысл книги, сколько тот поразительный фейерверк ощущений, который вырывался с ее страниц. Шла ли речь о подвозе рыбы, о ее хлынувшей потоком сверкающей чешуе, о беспокойном копошении лангустов, окутанных свежим запахом прилива, или о крепостных валах разнообразнейших сыров, источающих нежное зловоние: от бри до камамбера и от рокфора до канталя, – каждый квадратный метр этого храма жратвы потакал самым низменным желаниям человека и призывал его забыть обо всем, кроме радостей чревоугодия. «Здесь, рядом с фунтовыми брусками масла, завернутыми в листья свеклы, раскинулся громадный, словно рассеченный топором сыр канталь; далее следовали: головка золотистого честера, головка швейцарского, подобного колесу, отвалившемуся от колесницы варвара; круглые голландские сыры, напоминавшие отрубленные головы, с запекшимися брызгами крови; она кажутся твердыми, как черепа, поэтому голландский сыр и прозвали „мертвой головой“… У трех головок бри, лежавших на круглых дощечках, были меланхолические физиономии угасших лун; две из них, уже очень сухие, являли собой полнолуние, а третья была луной на ущербе, она таяла, истекая белой жижей, образовавшей лужицу, и угрожала снести тонкие дощечки, с помощью которых тщетно старались сдержать ее напор… А рокфоры под стеклянными колпаками тоже тщились казаться знатными господами; физиономии у них были нечистые и жирные, испещренные синими и желтыми жилками, как у богачей, больных постыдной болезнью от излишнего пристрастия к трюфелям. Жесткие, сероватые сырки из козьего молока, те, что лежали рядом на блюде и были величиной с детский кулак, напоминали камушки, которые катятся из-под копыт козла-вожака, когда он мчится вперед по извилистой горной тропинке.

Затем в общий хор вступали самые духовитые сыры».[81]

Что сыры! Сами торговки съестным у Золя были насквозь пропитаны стойким благоуханием. От юбок зеленщицы Сарръетты пахло сливами. От нормандки, словно неистребимым ароматом духов, въевшимся в гладкую кожу, «веяло приливом, этот душок исходил от ее гордых грудей, царственных рук, гибкой талии, придавая терпкий оттенок ее женскому запаху». Цветочница Кадина сама по себе была «нежным живым букетом». Казалось, на Центральном рынке все – и люди, и вещи – превращается в еду.

Читатели газеты благосклонно приняли роман и, можно сказать, лакомились им, несмотря на то, что порой при виде этого исполинского натюрморта не могли сдержать дрожи отвращения. «Чрево Парижа», вышедшее отдельным изданием, продавалось лучше, чем «Карьера Ругонов» и «Добыча». Критики же разделились на два лагеря. «Обозрение Двух Миров» («La Revue de Deux Mondes») посоветовало Золя отказаться «от нездоровых преувеличений, способствующих извращению вкусов публики». Барбье д'Орвилли в «Constitutionnel» обозвал автора «взбесившимся мазилой». Зато Мопассана роман привел в полный восторг. «Эта книга, – писал он, – пахнет свежим уловом, словно возвращающееся в порт рыбацкое судно, пахнет овощами, с их земляным привкусом, их пресным деревенским благоуханием». Что касается Гюисманса, тот зашел еще дальше: «Попросту признаюсь, что „Чрево Парижа“ доставило мне безмерную радость».[82]

Еще не слишком этому веря, Золя начал понимать, что за его спиной сплотилась группа молодых авторов, готовая во имя истины противостоять идеализму Гюго. Эти новаторы чувствовали себя ближе к Центральному рынку, где священнодействовала колбасница Лиза, чем к собору Парижской Богоматери, приюту Квазимодо, безобразного и влюбленного звонаря.

XI. Истинные и ложные литературные друзья

Золя по природе был одиноким тружеником, и тем не менее с детства им владел дух сплоченности, он всегда испытывал потребность в том, чтобы в час досуга встретиться с друзьями. Но теперь прежние друзья от него отдалились, теперь он совсем не виделся ни с Байлем, ни с Сезанном.

Поль жил уединенно и живописью занимался втайне от всех. «Он стал затворником, он вступил в период проб и ошибок, и, на мой взгляд, он прав, не желая впускать никого в свою мастерскую, – пишет Золя искусствоведу Теодору Дюре. – Подождите, пока он сам объявится».[83] Однако к этому времени Эмиль уже полностью разочаровался в Сезанне – и как в живописце, и как в человеке.

Им стало не о чем говорить друг с другом. Золя понял: никогда ему не понять этого вечно недовольного художника с его резкими перепадами настроения, его бессмысленными вспышками ярости и проблесками гениальности, – и выбрал общество двух молодых уроженцев Экса, Поля Алексиса и Антони Валабрега, перебравшихся в Париж и относившихся к писателю любовно и уважительно. Разумеется, он по-прежнему встречался и с Эдмоном де Гонкуром, хотя догадывался о том, что собрат по перу втайне над ним посмеивается и мелочно ему завидует. Временами ему казалось, что этот эстет, живущий в окружении драгоценных безделушек и пишущий в нарукавниках, издевается над простодушием и неотесанностью приятеля. Тем не менее Золя продолжал делиться с Эдмоном своими переживаниями автора, ищущего успеха у публики, рассказывал тому о своих слабостях. «Не думайте, будто я обладаю волей, – сказал он как-то. – По природе своей я существо самое слабое и нисколько не способное к постоянному усилию. Волю мне заменяет навязчивая идея, и я заболел бы, если бы не подчинился требованиям этой навязчивой идеи». И, обеими руками приподнимая стакан бордо, прибавил: «Смотрите, как у меня дрожат пальцы». «Он говорит, что у него начинает развиваться болезнь сердца, – записывает Эдмон де Гонкур, – что ему угрожает заболевание мочевого пузыря, угрожает суставной ревматизм… Часть дня я провел с этим милым больным, который в разговоре почти по-детски то и дело переходит от надежды к отчаянию».[84]

Через некоторое время после того, во время обеда у Флобера, Гонкур, глядя на Золя, который уплетал за четверых, спросил у

него: «Золя, вы любите хорошо поесть?» – «Да, – ответил Золя, – это мой единственный порок; если у меня нет чего-нибудь вкусного на ужин, я чувствую себя несчастным, совершенно несчастным. Одно только это; все остальное для меня не существует… Разве вы не знаете, как я живу?» «И вот, – пишет Гонкур, – он помрачнел и принялся перечислять свои несчастья. Просто удивительно, до чего этот толстый пузатый парень любит хныкать и как многословно он изливается в меланхолических жалобах». Среди прочего Золя пожаловался и на то, что его романам «объявлен бойкот». А когда остальные гости, сидевшие за столом, стали возражать, воскликнул: «Ну что, вы хотите, чтобы я прямо сейчас сказал вам все, что у меня на душе?.. Вы смотрите на меня, как на ребенка, что ж, тем хуже! У меня никогда не будет наград, мне никогда не сделаться академиком, я никогда не получу ни одного из тех знаков отличия, которые утвердили бы мой талант (*sic*). В глазах публики я всегда буду парией, да, парией!» И Гонкур, изливая раздражение, накопившееся за ужином, записал тогда в своем дневнике: «Этот толстяк, полный детского простодушия, капризов избалованной шлюхи и зависти с нескрываемо социалистическим оттенком, продолжал говорить нам о своей работе, о том, как заставляет себя ежедневно нестись сотней строчек; о своей монашеской, затворнической жизни и единственном в ней развлечении – по вечерам играть с женой в домино… Среди прочего он, не удержавшись, признался и в том, что на самом деле величайшее наслаждение для него – чувствовать свое влияние, ощущать, что при помощи прозы он, сидя в своей убогой дыре, господствует над Парижем. И говорил он все это с неприятной интонацией – интонацией бедняка, который долго прозябал в нищете и лишь теперь может отыграться».[85]

Внутреннее неприятие при всем при том было обоюдным: Гонкур, с его поверхностной любезностью, не производил на Золя впечатления человека честного и прямого. Зато о Флобере у него сложилось совершенно иное мнение. Подумать только – во время первого визита к автору «Госпожи Бовари» знаменитый писатель, серьезно рассуждавший о красоте в искусстве, исключающей всякие философские соображения или социальные мотивы, показался ему смешным! Ведь уже при второй встрече с Флобером на улице Мурильо Эмиль не устоял – подпал-таки под обаяние этого исполина с громовым голосом, детским взглядом и нежным сердцем. Вспышки ярости Гюстава, то и дело выходившего из себя по пустякам, удивляли его, словно внезапное извержение вулкана. Случалось, в порыве гнева «отшельник из Круассе», как иногда называли Флобера, срывал с

себя галстук и воротник, выскакивал из-за стола и, бросившись к окну, распахивал створки, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Конечно, Золя восхищался им, ценя в нем такого же, как он сам, неутомимого искателя подлинных деталей, целыми днями, час за часом, сидевшего, не разгибаясь, над своими рукописями. Однако он не понимал, как можно придавать такое значение выбору определений, тщательной отделке периодов, удалению повторов – а именно это и составляло предмет главной заботы писателя, чье кредо было сформулировано так: «Для того чтобы обессмертить имя человека, достаточно одной хорошо построенной фразы!» Иногда Эмилю начинало казаться, что хозяин дома не осознает значения собственных произведений. Золя видел в нем создателя современного реализма, говорил об этом вслух, а Флобер… хохотал во все горло. В обществе этого гениального чудака у Золя неизменно появлялось такое чувство, будто он нашел наконец прямого и надежного как скала человека, на которого можно опереться в минуты сомнений. Кого-то вроде ласкового и ворчливого духовного отца.

Гордый этой дружбой, Эмиль, стоило Флоберу приехать в Париж, каждое воскресенье во второй половине дня отправлялся к нему. В светлой квартире, окна которой выходили в парк Монсо, он встречался с Эдмоном де Гонкуром, Ги де Мопассаном, Альфонсом Доде и Иваном Тургеневым, которые вместе с ним образовали «группу пятерых», «пятерку освистанных авторов», как они сами себя называли после неудач в театре.

Мопассан, который был десятью годами моложе Золя, выглядел в глазах последнего всего-навсего самонадеянным мальчишкой, пописывающим стишки, скрипящим пером в учреждении, падким на женщин, неплохим гребцом, но при этом – правой рукой Флобера, к которому он относился с почти сыновней любовью. Что касается Доде, то этот бледный и болезненный певец солнечного Прованса казался ему куда более сложной личностью. Проза Альфонса была, на его взгляд, тонкой и изящной, зато в живописи он ровно ничего не понимал и любого мазилку ставил выше Мане. От Гонкура же, самого, пожалуй, утонченного и красноречивого в компании, человека с безупречными манерами литературного аристократа, как ему казалось, исходило странное ощущение фальши. Если он открывал рот, следовало быть настороже. И Золя предпочитал общество кроткого великана Тургенева с серебряной бородой, длинными шелковистыми волосами и высоким, почти девичьим голосом. Как чудесно рассказывал Тургенев о своей родной России! Весь он – по природе своей округлый, гладкий, по-детски простой – виделся друзьям словно бы постоянно влюбленным в

облако.

Золя казалось, что он никогда не сможет прожить без одобрения ближайших собратьев. Несмотря на то что они одновременно были и его соперниками, легко и свободно он чувствовал себя только с ними, потому что одолевавшие их заботы в точности совпадали с его собственными. Всю «пятерку освистанных авторов» сжигала одна и та же творческая лихорадка, они терзались одними и теми же сомнениями, когда перечитывали свои рукописи, они обсуждали профессиональные проблемы на том же языке и так же точно жаловались на непонимание со стороны журналистов и издателей, как и сам Золя. Одержимые своим сочинительством, они встречались друг с другом для того, чтобы поделиться своими заботами и надеждами, подобно тому как больные, коротая время в приемной врача, рассказывают собратьям по несчастью о своих недомоганиях. При всех различиях, существовавших между этими людьми, они повиновались единому требованию: повернуться спиной к романтизму и изображать жизнь в неприкрашенном виде. Стремясь к воплощению жизни в ее истинных красках, они для достижения своей цели намеревались исследовать живые существа с научным бесстрастием и свойственной ученому бесчувственностью. Они предпочитали примитивный стиль, а свои описания среды, в которой происходит действие, старались сделать как можно более точными, не боясь обвинений в очернительстве или банальности. Они претендовали на полное разоблачение общества, жаждали сорвать с него покров лицемерия, высказаться до конца. Для них не существовало ни запретных тем, ни слов, произносить которые не позволили бы требования благопристойности. Их упрекали в том, что от их разоблачений дурно пахнет, они же, отбиваясь от критиков, утверждали, что просто распахнули окно, чтобы впустить свежий воздух и дневной свет в лачуги рабочих и альковы дам полусвета. Их обвиняли в том, что они подрывают дух нации и развращают сограждан систематическими упоминаниями о безобразном и порочном, – они возражали, что, напротив, выкладывая неприглядную правду, стремятся исцелить нацию и сограждан.

Вокруг крупных фигур этого литературного направления группировались второстепенные авторы, жаждущие признания. Они избрали себе именно этих руководителей, поскольку реалистическая или натуралистическая жила казалась им поистине золотоносной. Но в большинстве своем эти малооплачиваемые и невысоко ценимые начинающие писатели, как ни старались, не могли выбиться из нужды. Если Золя мог рассчитывать получить тридцать тысяч франков от «Жиль Блаза»

за уступку права напечатать очередной роман с продолжением, то Поль Алексис должен был радоваться, если ему за его сочинение выплачивали десятую часть этой суммы!

Разговоры о деньгах были в литературной среде делом обычным. Тут все, от самых известных до самых неприметных авторов, с пристальным вниманием относились к финансовому успеху своих произведений, старательно проверяли доходы от авторских прав и изо всех сил продвигали свои творения. Раскрепостившись благодаря гонорарам, они сделались профессионалами, которые, собираясь вместе, с одинаковой легкостью говорили о творческих успехах и о высоких доходах. В противоположность безрассудным романтикам предыдущего поколения они сделались чиновниками пера.

У этого нового племени литераторов эксцентричное поведение считалось предосудительным. Читателя полагалось приводить в изумление своими книгами, а не ошеломлять поведением или нарядами. Многие писатели одевались вполне благопристойно. Ярко-красный жилет Теофиля Готье был выброшен за ненадобностью. «Давно пора толпе уяснить, что одаренные люди, за немногочисленными исключениями, ведут достойную уважения жизнь, – утверждал Гюисманс. – Те, кто достиг истинных вершин в искусстве мыслить и писать, живут у себя дома, а не работают в кафе, и когда выходят в свет, то большинству не приходится спешно отыскивать у ближайшего старьевщика поношенный фрак и чищеные перчатки. Если во Франции и многочисленна литературная богема, натуралисты не имеют к ней ни малейшего отношения».[86]

Одним словом, следом за Золя и другие писатели пожелали занять в обществе прочное положение, сравнимое с положением нотариуса, адвоката, представителя городского управления или университетского преподавателя, поскольку гордились тем, что теперь создают «полезные произведения». Кончились времена любительства, развлечения, грез наяву. С приходом натурализма началась эпоха воспитательной литературы, авторы отныне не забавляли, а наставляли читателей.

К сожалению, слишком много молодых умов, ухватившись за этот предлог, принялись усердно носить издателям что попало. Поток сочинений сделался таким обильным, что читатель, которого дергали со всех сторон, уже и не знал, какую книгу стоит покупать, какую нет. «Когда видишь все это убожество, все эти банальности, эту лавину посредственных сочинений, хлынувшую на прилавки, – пишет Золя, – начинаешь задумываться над тем, есть ли такое сочинение, от которого издатели откажутся».[87] А Поль Боннетен возмущенно

восклицает, обращаясь к Жюлю Юре: «Все теперь пишут романы: отставные шлюхи, *лиги патриотов*, авантюристы, нотариусы, актеры!»[88] Это были выступления профессионалов против любителей, а сам плодовитый Золя в глазах собратьев по перу был воплощением профессионала, поскольку жил литературным трудом и гордился этим. Кроме того, он привлекал начинающих коллег тем, что был молод и громогласен. Но вокруг него сплачивались, присоединяясь к натуралистическому клану, не столько потому, что верили в распространяемое им учение, сколько ради того, чтобы воспользоваться поддержкой старших в погоне за большими тиражами.

Когда 11 марта 1874 года в «Водевиле» должны были впервые играть пьесу Флобера «Кандидат», наш маленький литературный отряд перепугался не на шутку. Мопассан взял на себя обязанность «заполнить зал». Золя в день премьеры бегал во время антракта по фойе, пытаясь убедить зрителей в том, что они присутствуют на представлении истинного шедевра, но никто его не слушал. И в конце представления, когда занавес упал, свист заглушил аплодисменты клакеров. Провал был несомненным. Все друзья автора устремились за кулисы, чтобы подбодрить его. Флобер в ответ на утешения презрительно усмехнулся, развел руками и пробормотал: «Ну и что! Мне все равно!», но Золя почувствовал, что друг глубоко уязвлен. Правда, назавтра газеты проявили снисходительность к промаху великого человека, и злобного недоброжелателя Гонкура это благосклонное обхождение только возмутило: «Если бы эту пьесу написал я, если бы вчера был мой вечер, могу себе представить, как топтали бы меня газеты, какими оскорблениями и поношениями осыпали бы. Но почему? Я точно так же напряженно живу, тружусь, точно так же предан искусству».[89]

Гонкур со своей «Анриеттой Марешаль», Доде с «Лизой Тавернье» и «Арлезианкой», Золя с его тщетными попытками пробиться на сцену, – все они имели основания жаловаться на театры. Приняв решение высмеивать свои провалы, они учредили «ужин освистанных авторов», на который впервые собрались 14 апреля 1874 года в кафе «Риш». За столом друзья-неудачники весело рассуждали об «особых склонностях тех, кто страдает литературным поносом и запором».[90]

Несмотря на все эти неудачные театральные опыты, Золя все-таки отдал в «Клюни» свой фарс «Наследники Рабурдена», навеянный «Вольпоне» Бена Джонсона. «Золя своим письмом заставил меня сходить на репетицию его пьесы, – записывает в дневнике Гонкур. – Ее играют в „Клюни“: этот театр, расположенный в центре Парижа, умудряется тем не менее

походить на провинциальный, что-нибудь вроде Саррегемина. У комедиантов, выступающих здесь на подмостках, легко заметить прохладную веселость бедных актеров, обедающих не каждый день. Весьма прискорбно, когда выдающегося человека представляют в таком театре такие актеры».[91]

Чувствуя, что бой завязался неудачно, Золя пишет Флоберу: «Каждый день, с часу до четырех, я кусаю локти. Мечтаешь создать что-то необычное, а все заканчивается водевилем».[92]

Первая театральная неудача постигла Эмиля годом раньше, когда инсценировка «Терезы Ракен» выдержала всего-навсего девять представлений. Неужели боги сцены и на этот раз окажутся к нему неблагосклонными? До самой последней минуты автор надеялся на чудо, но его не случилось: 3 ноября 1874 года пьесу ждал провал. Зрители словно с цепи сорвались. Среди свиста и выкриков один только Флобер, налившись краской, изо всех сил аплодировал и вопил: «Браво, браво! По-моему, великолепно!» А пресса на следующий день просто свирепствовала. И из всех критиков лишь Доде проявил снисходительность, обвинив актеров в том, что они своим неумением играть предали автора. «Спасибо, дорогой друг, – написал ему Золя. – Посреди чудовищной резни, которую устроили критики моей пьесы, ваша статья, несомненно, остается лучшей… Поймите меня правильно, у нас общее дело. Во мне истребляют художника. Мы должны как можно теснее сплотиться. Отряд мал, но он будет сильным».[93] А три дня спустя он так рассказывал Флоберу об очередных спектаклях: «В воскресенье театр „Клюни“ был полон; пьеса имела огромный успех; весь вечер не смолкал хохот. Но в следующие дни зал снова опустел. В общем, ни гроша не заработали. Я это предсказывал, я чувствовал неизбежность денежной катастрофы со второго представления… Я испытываю отчаяние оттого, что пьеса может выдержать сотню представлений, а между тем ее и двадцати раз не сыграют. Меня ждет провал. Критика будет торжествовать. Повторяю, только это меня и огорчает. Прочли ли вы все те оскорбления, под которыми меня старались похоронить? Меня уничтожили… И как верно вы сказали в день премьеры: „Завтра вы станете великим романистом“! Теперь все они говорят о Бальзаке и осыпают меня похвалами по поводу книг, которые до сих пор хаяли. Это мерзко, отвратительно до того, что к горлу подступает тошнота… До свидания, дорогой друг, желаю вам быть сильнее меня. Я дал себя *облапошить*– вот что я чувствую».[94]

Пьеса действительно сошла со сцены после семнадцатого представления, и Золя, потерпев неудачу в театре, не мог утешиться даже несомненным успехом романа, тем более что его

последняя книга, «Завоевание Плассана», расходилась плохо – за полгода было продано всего-навсего 1700 экземпляров – и не удостоилась ни единого отклика в прессе. И все-таки рассказу о пагубном влиянии, оказываемом священником, аббатом Фожа, на семью, на дом, на женщину, которую он довел до безумия, наконец, на целый город, где аббат решил установить новый нравственный строй, на самом деле были присущи и величие, и смелость. Этот яростно антиклерикальный роман, в котором соединились темы провинциального лицемерия и неспособности слабых созданий противостоять фанатичному уму, как обычно, нисколько не потакал вкусам читателей. Вот читатели и отомстили, пренебрегая произведением, которое должно было их задеть. Ни малейшего шума, ни малейшего недовольства. Тишина. Подобная казнь безразличием приводила Золя в отчаяние. Он размышлял о том, что нет для писателя худшей пытки, чем проповедовать в пустыне. Разве не был он всю свою жизнь малоизвестным и мало оплачиваемым автором? Ему уже тридцать четыре года, и только что вышедшее «Завоевание Плассана» – четвертый том цикла «Ругон-Маккары». В его возрасте, может быть, чуть постарше, Флобер уже прославился со своей «Госпожой Бовари». Где справедливость? Конечно, Мопассан объявил его гением, а Флобер признался Тургеневу: «Только что, прямо сегодня, залпом прочел „Завоевание Плассана“ и все еще не могу опомниться. Это поразительно. Это лучше, чем „Чрево Парижа“.[95] Слабые утешения! Что ж, тем хуже для „них“: Золя не намерен отступать от того пути, который он себе начертал! Намереваясь окончательно определить свою литературную позицию, он пишет художнику Эдуару Бельяру: „Я принадлежу к школе или, вернее, к литературной группе, которая в данный момент занимает главенствующее положение. Мы не судим – мы изображаем; мы не делаем выводов – мы анализируем; мы попросту собираем человеческие документы и довольствуемся тем, что составляем протокол событий, при которых присутствуем… Я расчищаю место вокруг себя, отбрасываю все то, что не требуется мне в полной мере и немедленно. Мое ремесло – и ничего больше. Впереди одна литература, все прочее позади и остается второстепенным. Никаких других помыслов, кроме того, чтобы мощно творить персонажей. И единственная радость – быть сильным, напряженным, довести до предела свои достоинства и недостатки, чувствовать в каждой написанной фразе собственный кулак… Гипертрофия личности, если хотите“».[96]

Поддерживало Золя то, что в это время он уже работал над другим романом. В «Проступке аббата Муре» говорилось о

трагической битве религии с природой. Серж Муре, тщедушный и бесполый священник, двусмысленно поклоняющийся Деве Марии, захворал, и его дядя, доктор Паскаль, перевез больного в Параду, где тот будет выздоравливать. Но там, встретившись с юной Альбиной, Серж познает любовь – любовь пылкую и словно бы буйно расцветающую вместе с пышной растительностью заброшенного парка. То, что поначалу было лишь порывом души, вскоре превращается в плотскую страсть, которую обличает другой служитель церкви, брат Арканжиас, гонитель Женщины, истинный Жандарм Божий. Истерзанный раскаянием Серж Муре возвращается в свою церковь, бросив Альбину – вместе с ребенком, которого та ждет, – умирать вдалеке от любимого. Точно так же, как в «Чреве Парижа», главным героем был один из кварталов Центрального рынка, здесь героем романа стало солнце – слепящее, согревающее землю и человеческое тело, пробуждающее соки в растениях и людях, всем своим сиянием осуждающее сумрачные предписания религии.

Для того чтобы как можно лучше разобраться в психологии аббата Муре, Золя обложился грудами благочестивых сочинений. Мистическая сторона его романа питалась чтением работ испанских иезуитов и «Подражания Иисусу Христу». Он расспрашивал священника-расстригу о годах обучения в духовной семинарии. Наконец, много дней подряд он каждое утро ходил к мессе в маленькую церковь Сент-Мари-де-Батиньоль, где, сев в сторонке с молитвенником в руках, пристально следил за ходом богослужения и время от времени делал карандашные пометки на полях книги. Чтобы точнее описать растения в Параду, он рылся в словарях, посещал садоводческие выставки, призывал на помощь собственные воспоминания о пейзажах в окрестностях Экса…

Между тем семья переехала в том же Батиньоле на новую квартиру и теперь жила в хорошеньком домике под номером 21 по улице Сен-Жорж.[97] Это было двухэтажное буржуазное жилье: восемь комнат, кухня, чулан, подвал и красивый сад. Лето выдалось знойное. Золя то и дело поглядывал на свой газон и видел, как трава на нем разрастается до немыслимых размеров, превращая сад в джунгли. Прямо-таки Параду! Обливаясь потом и задыхаясь, с пылающей головой, он описывал деревья и цветы, а в их сени – юную неискушенную пару, открывающую для себя любовь с невинностью Адама и Евы. Через посредство этих персонажей он утверждал свою веру в природу, свое отрицание греха, свою восхищенную и милосердную нежность ко всему человеческому.

Золя возвращается к подобному, чисто языческому пониманию жизни в предисловии, которое пишет для сборника

старых рассказов, озаглавленного «Новые сказки Нинон». «Ах, Нинон! Я ничего еще не сделал. Я плачу над этой горой исписанной бумаги; мне горестно оттого, что я не смог утолить свою жажду истинного; что великая природа ускользнула из моих слишком коротких рук. Я страстно желаю взять землю, сжать ее в объятиях, обладать ею, все видеть, все знать, все сказать. Я хотел бы поместить на лист бумаги все человечество, все существа, все вещи; создать произведение, которое было бы огромным ковчегом». И здесь же он признается: «Я скатился бы к тупому ремеслу, если бы в моей любви к силе не нашел утешения, которое дает непрерывная работа, прогоняющая любую усталость».

Это правда, что «непрерывная работа» стала для него единственным смыслом жизни. Его жена, его мать, его друзья двигались, словно тени на дальней стене его рабочего кабинета. Он наслаждался жизнью, лишь описывая жизнь своих персонажей. Бег пера по бумаге заменял ему любовные утехи.

Эмиль возлагал большие надежды на «Проступок аббата Муре». Когда книга вышла отдельным изданием, ей вроде бы удалось привлечь внимание читателей, но критика оказалась суровой. Барбье д'Орвилли, который о «Завоевании Плассана» и словом не обмолвился, на этот раз буквально взорвался: «Это скотский натурализм, бесстыдно и бессовестно поставленный выше нашего христианского спиритуализма… Не думаю, чтобы в наше время, время низменных вещей, кому-нибудь удалось написать нечто более низменное». Тот же колокольный звон раздавался и со страниц «Французского обозрения» («Revue de France»): «Самый безнравственный и самый безбожный роман цикла оказался вместе с тем и наиболее посредственным. Описание нового Эдема, места действия проступка, вышло скорее техническим, чем поэтическим, и утомительно длинным; эта идиллия создана при помощи словаря». А в «Синем журнале» («Revue Bleue») можно было прочесть: «Нет, в действительности здесь нет ни потомка Ругонов, ни аббата. Есть животное-самец, брошенное в лесную чащу вместе с животным-самкой». Даже Флобер отозвался о романе сдержанно. «Мне кажется, – пишет он мадам Роже де Женетт, – что „Аббат Муре“ – любопытное сочинение. Но описание Параду просто-напросто неудачное. Для того чтобы его изобразить, требуется совсем другой писатель, чем мой друг Золя. Однако в этой книге есть гениальные вещи, прежде всего – образ Арканжиаса, и – в самом конце – возвращение в Параду». Малларме признается Золя в том, что был очарован «щедростью» романа. Гюисманс, не преминув раскритиковать неправдоподобие и излишества этой «поэмы

любви», находит там «поистине великолепные страницы». Мопассан же, покоренный «Проступком аббата Муре», пишет автору блестящее письмо, уверяя, что лишь немногие книги производили на него столь же сильное впечатление: «Что же касается лично меня, то с начала и до конца этой книги я испытывал странное ощущение; одновременно с тем, как я видел то, что вы описываете, я и вдыхал все это: от каждой страницы исходит как бы крепкий и стойкий запах. Вы заставляете нас в сильнейшей степени ощущать землю, деревья, брожение и произрастание; вы погружаете нас в такое изобилие плодородия, что по окончании чтения, вдохнув глоток за глотком и „мощные ароматы земли, спящей в поту, иссушенной зноем страсти и млеющей, словно разметавшаяся под солнцем пылкая, бесплодная женщина“, и благоухание Евы Параду, „подобной пышному, душистому букету“, и опьяняющие запахи парка, „брачного уединения, кишащего обнимающимися существами“, и даже, наконец, бесподобного брата Арканжиаса, „испускающего зловоние козла, ненасытного в своей похоти“, – я заметил, что совершенно охмелел от вашей книги, да и сверх того пришел в сильное возбуждение».[98]

Если Золя сумел привести Мопассана в такое «сильное возбуждение», то лишь потому, что сам, сочиняя «Проступок аббата Муре», познал наслаждение, которое теперь Александрина дарила ему лишь изредка. Но Мопассан, когда он «приходит в возбуждение», отправляется к женщине, в то время как Золя в подобном случае возвращается к своему письменному столу. Писать, писать, писать… вот оно, счастье!

Несколько дней спустя, в воскресенье, друзья, собравшись у Флобера, говорили о «блудливой и совокупительной силе», разлитой по страницам «Проступка аббата Муре». От обсуждения романа перешли к самому романисту, стали расспрашивать Золя о его любовных предпочтениях, и тот с готовностью принялся исповедоваться. Вернувшись домой, Гонкур, ликуя, записывает в своем «Дневнике»: «Золя рассказал нам, что, когда он был студентом, ему случалось по целой неделе проводить с женщиной, не вылезая из постели или, по крайней мере, не одеваясь. Комната *пахла спермой*: это его собственное выражение. Он признался нам, что после таких недель брел по улицам на ватных ногах, держась поближе к стенам и то и дело хватаясь руками за задвижки ставней, чтобы не упасть. Теперь, по его словам, он образумился и вступает в плотские отношения со своей женой лишь раз в десять дней. Он открыл нам кое-какие любопытные нервные особенности своей личности, связанные с совокуплением. Два или три года назад, когда он только начинал

цикл „Ругонов“, на следующий день после супружеского излияния он не приближался к столу, заранее зная, что не сможет выстроить ни одной фразы, написать ни одной строчки. Теперь у него все наоборот: если в течение недели или десяти дней работа у него идет посредственно, назавтра после совокупления у него появляется небольшая лихорадка, весьма благоприятная для сочинительства. Наконец, он рассказал нам об удивительном феномене, происходившем с ним в начале его карьеры. В те времена, если ему очень трудно было писать, у него порой, после того, как он в течение получаса долбил одну и ту же фразу, случалась эякуляция без эрекции».[99]

Снимая таким образом штаны перед собратьями, Золя повиновался чувству, говорившему, что в проявлениях природы нет ничего предосудительного. Он считал делом чести – как человек, для которого литература и наука едины, – откровенно выкладывать все о своих победах и невзгодах. Он полагал, что его теория реализма требует от него искренности и простоты. А если гости Флобера, слушая его, от удовольствия хлопали себя по ляжкам, – тем хуже для них!

В другой раз, когда все та же игривая компания собралась в кабачке, чтобы полакомиться буйабессом, и снова зашел разговор об особенностях проявлений каждого в любовных утехах, Золя с пылающими щеками воскликнул, преисполненный мелкого тщеславия: «Перед тем как овладеть той женщиной, с которой я лишился невинности, я ее вылизал! Нет, нет, говорю вам, у меня нет никакого нравственного сознания. Я спал с женами моих лучших друзей. Решительно у меня в любви нет никакого нравственного сознания!»[100]

Скорее всего, в этих так называемых признаниях была доля преувеличения. Золя попросту не хотелось показаться более целомудренным, чем его собратья по перу. Раз он в своих книгах резко и прямо говорит о любви, ему следует и в жизни утверждать, что он знает толк в таких вещах. Воображение у него было настолько несдержанным, что, даже если он на самом деле всего лишь втайне пожелал жену друга (но которого из друзей, Боже правый!), ему представлялось, будто он обладал ею в действительности. И поскольку при мысли об этом Золя не испытывал ни малейшего раскаяния, он считал себя циничным и безнравственным.

Но хоть Эмиль и хвастался своими *животными* инстинктами, сложения он был до того слабого, что, и без того страдавший нервным расстройством, он в это время еще хуже себя почувствовал. Теперь Золя казалось, будто он слышит, как сердце колотится у него в голове, в руках, в животе… Испугавшись, он

бросил курить, но состояние не улучшалось, и врач предписал ему поездку к морю. А так как Александрина тоже болела, отправились в Сент-Обен, между устьем Орны и Курселем, всей семьей.

Поначалу южанин Золя ворчал, недовольный «изгнанием» в край бесконечных безлюдных пляжей и пенных волн, но очень скоро подпал под обаяние этих диких берегов. «Здесь дует неистовый ветер, который гонит волны, они останавливаются всего в нескольких метрах от наших дверей, – пишет он из Сент-Обена Мариусу Ру. – Нельзя представить себе ничего более величественного, особенно ночью. Ла-Манш совсем не такой, как Средиземное море, это нечто одновременно и очень некрасивое, и очень большое…»[101] В хорошую погоду он вместе с Александриной плещется в воде, неспешно прогуливается, собирает водоросли и вдыхает их полезный для здоровья запах, возит по песку сачком и радуется, когда в него попадается несколько креветок. Однако, наслаждаясь покоем и своеобразной красотой этих мест, он непрестанно проклинает каникулы, нарушившие течение его жизни. Он не может привыкнуть к новому рабочему столу, к назойливому шуму волн, к проходящим на горизонте парусникам. Все это прерывает его грезы. А ведь он начал сочинять новый роман: «Его превосходительство Эжен Ругон»! Этот персонаж, с которым читатель познакомился в «Завоевании Плассана», теперь сделался министром. Стремясь к власти ради власти, он сталкивается с любовными требованиями Клоринды, прелестной авантюристки, которая хочет выйти за него замуж. Однако Эжена Ругона влекут не радости плоти, он жаждет интеллектуального господства. На этот раз Золя наделил своего героя собственным целомудрием и собственным желанием преуспеть любой ценой. Эжен Ругон отталкивает Клоринду, и та мстит за себя, сделавшись любовницей императора, а затем сломав карьеру человека, который ею пренебрег.

Главное место в романе отводится не любовной линии, а описанию политического мира Второй империи, политического мира с его министрами, депутатами, придворными балами, праздниками в Компьене, закулисными интригами, взяточничеством, всей этой ярмаркой тщеславия блестящего снаружи и прогнившего изнутри режима. Для того чтобы рассказать об этой совершенно ему незнакомой, официальной среде, Золя, по своему обыкновению, воспользовался записями, которые делал, роясь в книгах библиотеки Пале-Бурбона или расспрашивая людей, вращавшихся в высшем обществе того времени.

Тургенев рекомендовал Золя Стасюлевичу, главному

редактору русского журнала «Вестник Европы», и вся Россия мгновенно воспылала страстью к французскому писателю, настолько не похожему ни на кого своей резкостью и настолько недооцененному у себя на родине боязливыми читателями. Переводы сочинений Золя нашли в России широкий отклик, что привело его в восторг; мало того, переводы эти приносили ему больше ста франков за печатный лист. Для того же издания он написал статьи о Флобере, Гонкуре, Шатобриане…

Едва закончив править «Его превосходительство Эжена Ругона», Эмиль предложил Стасюлевичу печатать этот роман с продолжением. «Я только что дописал роман „Его превосходительство Эжен Ругон“, шестой из моего цикла „Ругон-Маккары“… Думаю, это одна из самых интересных книг, до сих пор мной написанных, благодаря в высшей степени современным и натуралистическим описаниям… Я ожидаю, что его публикация вызовет большой шум».[102]

Надежды не сбылись: «большой шум» в парижской прессе свелся к слабому шепоту. По мнению критики, Золя издавался слишком много и слишком быстро, и в его же интересах было бы себя ограничить: хорошо известно, что плодовитость и качество не могут совмещаться друг с другом. Настоящий писатель не должен, указывали критики Золя, быть подобным яблоне и в изобилии рассыпать яблоки, нет, ему следует, подобно устрице, медленно, терпеливо выращивать свою единственную жемчужину.

Время шло, в маленький домик на берегу моря проникли осенние холода и сырость… «Со вчерашнего дня у нас начались наивысшие приливы равноденствия, сильное волнение самого трагического действия, – пишет Золя Полю Алексису. – Вечером мы промокли чуть ли не до колен… Пришлось спасать Крысенка, [103] который едва не утонул… Если не считать этих выдающихся событий, здесь царит беспредельный покой. Многие туристы уехали, пляж почти опустел. По утрам хожу смотреть, как торгуют рыбой, затем пишу для „Семафора“; потом работаю над русскими корреспонденциями; вечерами же я вместе со своими дамами сажусь на песок и смотрю, как прибывает вода. Тупое и прелестное занятие. Не понимаю, почему так не может продолжаться вечно… Что касается моего будущего романа, он спит и проснется, должно быть, только в Париже. Я уже наметил основные линии, но мне нужен Париж, для того чтобы отыскивать подробности. Впрочем, я решил, что картина должна быть очень широкой и очень простой, я стремлюсь к исключительной заурядности событий, хочу изобразить повседневную жизнь. Остается найти стиль, что нелегко будет сделать. Прежде всего, перестать бы слышать это чертово море, оно мешает мне думать».

[104]

Теперь, глядя на морской горизонт, он с наслаждением вспоминает узкие улочки, мечтает об исхлестанных дождем домах, о фонарях, освещающих грязные закоулки. Ему так не терпится вернуться в Париж, словно его там ждет любовница. Но ведь у него и впрямь назначено свидание! Ее зовут Жервеза. Она – смиренная и жалкая героиня его будущего романа «Западня».

XII. Натурализм

Золя давно лелеял замысел книги, действие которой разворачивалось бы в рабочем предместье. В папке с подготовительными материалами, «набросками» уже лежал листок с записью: «Показать народную среду и объяснить через эту среду нравы народа: таким образом, станет понятно, что в Париже пьянство, распад семьи, побои, приятие любых унижений и любых невзгод идут от самих условий существования рабочих, тяжелого труда, тесноты, запущенности и так далее. Одним словом, очень точное изображение жизни народа, с ее грязью, небрежностью, грубым языком и так далее. Чудовищная картина, сама заключающая в себе свою мораль».

Это общее видение он уточнил в «Подробном плане»: «Главы в среднем по двадцать страниц, неравные – самые короткие по десять страниц, самые длинные по сорок. Писать наотмашь. Роман о падении Жервезы и Купо, который приводит ее в рабочую среду. Объяснить нравы народа, его пороки и грехи, нравственное и физическое уродство этой средой, тем положением, в которое рабочий поставлен в нашем обществе».

И вот исходя из собственных указаний Золя принимается за дело. Роман станет прежде всего историей кроткой несчастной Жервезы. «Она должна быть обаятельным персонажем… – продолжает писатель размышлять в „наброске“. – По характеру она нежная и страстная… Работает, как ломовая лошадь… Любое ее достоинство оборачивается против нее же… От работы она тупеет, нежность приводит ее к удивительному малодушию».

Понемногу, кроме главной героини, появляются и другие персонажи «Западни»: прямой, честный Купо, рабочий-оцинковщик, – он женится на Жервезе, но, упав с крыши и сломав ногу, становится алкоголиком; красавчик Лантье, от которого Жервеза родит двух детей и который, бросив ее, потом вернется, поселится вместе с четой и будет заставлять Купо пить уже до полной потери человеческого облика…

Золя вернулся в Париж 4 октября 1875 года и вскоре после этого написал Полю Алексису: «На следующий же день по приезде мне пришлось начать изыскания для моего романа, найти квартал, встречаться с рабочими».[105] Конечно, он и сам знал немало бедных кварталов столицы, но то убогое жилье, которым ему приходилось довольствоваться в молодости, было жильем студенческой богемы, а не рабочего класса, обреченного на невежество, усталость и пьянство. Еще Гонкуры в «Жермини Ласерте» задавались вопросом, «должен ли народ оставаться под

угрозой литературного запрета». Решившись поднять перчатку, Золя с блокнотом в руке исходил вдоль и поперек квартал улиц Гутт-д'Ор и Пуассоньер.[106] Этот батиньольский обыватель, затесавшийся в среду дикарей, делает наброски, подробно описывает в блокноте, как выглядят дома, лавки, подмечая мимоходом хромую простоволосую женщину, красный пояс рабочего, стайку гладильщиц, выпорхнувшую из мастерской, в витрине которой красуются подвешенные на латунной проволоке кружевные чепчики… Снедаемый любопытством, он забредает в кабак, разглядывает опустившихся завсегдатаев с мутными глазами и мокрыми губами, вдыхает запах скверного вина и выходит с ощущением, будто всю свою жизнь провел в этом месте погибели и безволия. Должно быть, куда больше смелости ему потребовалось для того, чтобы отважиться войти в прачечную, заполненную расхристанными потными женщинами, грубо окликающими одна другую и колотящими белье в облаках пара. Но и здесь он подмечает все: оцинкованные баки, лохани с горячей водой, валики для отжима, записывает цену жавелевой воды (два су за литр) и воды для стирки (одно су за ведро). Вернувшись в свой хорошенький батиньольский домик после головокружительных путешествий в край нищеты, он с усиленным интересом погружается в роман «Возвышенное» Дени Пуло, где автор, анализируя участь рабочих, советует создавать профсоюзы, чтобы противостоять хозяевам. Читает он и «Словарь жаргона» Альфреда Дельво и выписывает оттуда более шестисот слов, покоривших его своей образностью и звучностью. Каждый раз, использовав одно из них в своей книге, он будет вычеркивать его из списка. «Заложить за воротник», «ворон считать», «протянуть ноги» – он просто упивается этими выражениями и, сидя за письменным столом в шлепанцах и расстегнутом жилете, наслаждается тем, что он одновременно и так близок к простому люду, и так надежно защищен от его невзгод.

Оставалась проблема стиля. Золя, доверившись ослепительной догадке, решил не ограничивать использование простонародной лексики одними лишь диалогами персонажей, а вести весь рассказ на том же терпком и образном языке. Он полагал, что благодаря этому весь текст будет словно пропитан насквозь самой сутью улицы Гутт-д'Ор. У читателя сложится впечатление, что он не снаружи, взглядом любопытного чужака, осматривает этот квартал, но приобщен разом и к языку, и к духу его обитателей. Как будто он не разглядывает сквозь стекло рыб в садке, а погружается в зеленую, пахнущую тиной воду.

Выбранный писателем намеренно плебейский стиль придает главным сценам книги выразительность кошмара: свадьба, драка

женщин в прачечной, похороны, приступ белой горячки у Купо… Золя, похоже, радуется этому и отвечает журналисту Альберу Мийо, который упрекнул его в использовании «уличного языка»: «Вы соглашаетесь с тем, что я могу позволить моим персонажам разговаривать на привычном для них языке. Сделайте еще одно усилие, поймите, что лишь соображения равновесия и общей гармонии склонили меня к тому, чтобы принять единый стиль… Впрочем, неужели вас так уж смущает этот уличный язык? Он немного грубоват, но зато какая вольность, какая сила и какие неожиданные образы, сплошное удовольствие для любознательного грамматиста!»[107] Но на самом деле, даже похваляясь тем, что написал роман, который стелется вровень с тротуаром, он не слишком-то верил в будущее «Западни». Он уже предвидит, что нарядная публика будет воротить носы от этих откровений. Не слишком ли далеко он зашел, изображая мир с замкнутым горизонтом, с облупившимися домами, мир, источающий зловоние, населенный несчастными, ни один из которых не решается поднять голову? Не совершил ли он ошибки, не позволив и слабому лучу света проскользнуть в эти потемки, в которых человек, доведенный до скотского состояния, утратив надежду, шаг за шагом бредет на бойню? Не обвинят ли его в том, что он до предела упростил психологию своих персонажей, чтобы превратить их в марионетки, годные лишь для того, чтобы подкрепить его теорию наследственности? Что ж, значит, так тому и быть! Слишком поздно для того, чтобы хоть что-то исправить в этой искренней и смелой книге.

Тем не менее, предложив рукопись Иву Гийо, главному редактору «Общественного блага», радикальной республиканской газеты, которую финансировал владелец шоколадной фабрики Менье, Золя позволил сделать в своем тексте кое-какие купюры, щадя чрезмерную стыдливость читателей. Однако для того, чтобы «Западня» превратилась в приемлемое для порядочных людей сочинение, одних сокращений оказалось недостаточно. Публикация романа началась 30 апреля 1876 года, и подписчики немедленно ощетинились.

Ив Гийо, захлестнутый потоком гневных писем, вынужден был сдаться. Печатание романа было приостановлено. Возмущенный этим Катюль Мендес предложил Золя поместить продолжение романа в литературном журнале, которым он руководил, «Республика словесности» («La République des lettres»). Пробыв «под арестом» в течение месяца, Жервеза, Купо и Лантье снова заступили на службу в прессе. И снова начались неприятности. Уже в сентябре 1876 года Альбер Мийо, критик из «Фигаро», воткнул первую бандерилью: «Мы могли надеяться на

то, что господин Золя, хотя и чрезмерно реалистичный, удержится на своем месте и сделает хорошую карьеру в трудном искусстве современного романа. Но господин Золя внезапно остановился на этом пути. В настоящее время он печатает в маленьком журнальчике роман под названием „Западня“, который и впрямь, как нам кажется, оказался *западней* для его зарождающегося таланта. Это не реализм, а неопрятность, и это не откровенность, а порнография».

Золя прочел эту статью в Пирьяке, в Бретани, где отдыхал с Александриной и семьей Шарпантье, ловил креветок и, по его собственным словам, «с утра до вечера объедался моллюсками». [108] На все нападки Мийо он ответил, что никто не может судить о нравственном значении романа, публикация которого не закончена. Это разъяснение навлекло на него новые обличения Мийо, на этот раз назвавшего его «писателем-демократом и отчасти социалистом». Золя рассердился: «Я считаю себя просто романистом, без всяких ярлыков; если вам непременно надо кем-то меня объявить, скажите, что я романист-натуралист, меня это не опечалит… Знали бы вы, до чего мои друзья забавляются ошеломляющей легендой, которой потчуют толпу всякий раз, как мое имя появляется в газете! Знали бы вы, насколько этот кровопийца, этот беспощадный романист на самом деле – почтенный обыватель, человек науки и искусства, благоразумно живущий в своем уголке и полностью преданный своим убеждениям!.. Что же касается моего изображения рабочего класса, оно таково, каким я его задумал, не сгущая и не смягчая краски. Я говорю о том, что вижу, просто-напросто облекая увиденное в слова, и предоставляю моралистам заботу о том, чтобы извлечь из этого урок… Я запрещаю себе в своих романах делать какие-либо выводы, поскольку, по моему мнению, вывод ускользает от художника. Тем не менее, если вы непременно хотите узнать, какой урок сам собой выйдет из „Западни“, я сформулировал бы его приблизительно в таких словах: если хотите исправить нравы рабочих, дайте им образование, вытащите их из той нищеты, в какой они живут, сумейте победить скученность и тесноту предместий с их застоявшимся и зараженным воздухом, а главное – прекратите пьянство, которое истребляет народ, убивая его разум и тело».[109]

«Фигаро» отказывается печатать это письмо, а «Галл» («Le Gaulois») присоединяется к хору гонителей: «Это наиболее полное из всех мне известных собрание мерзостей без возмездия, без наказания, без исправления, без стыда, – пишет Фуко. – Романист не избавляет нас даже от блюющего пьяницы… Что же касается стиля… Определю его выражением самого господина Золя,

который не сможет обидеться на цитату из его собственного произведения: „Он крепко воняет“».

Золя обиделся! Но, хотя и сильно задетый, убедил себя в том, что подобная полемика представляет собой великолепную рекламу для его романа. «Что до меня, то я очень доволен, – пишет он художнику Антуану Гийеме. – „Западня“ продолжает навлекать на меня поток оскорблений… Думаю, что, когда в январе выйдет книга, она будет хорошо продаваться. Впрочем, я рад уже и тому, что поднялся шум».[110] Эмиля удивляло только, что и левые газеты тоже выступили против него. Артюр Ранк, из «Французской Республики» («La République Française»), упрекал писателя в «нероновском презрении» к народу. Виктор Гюго и сотрудники «Призыва» («Le Rappel») обвинили в том, что он оскорбил рабочих, изобразив их слишком мрачными красками. Флобер в те дни писал Тургеневу: «Я, как и вы, прочел недавно несколько отрывков из „Западни“. Они мне не понравились. Золя становится вычурным *в обратном смысле*. Он думает, что существуют сильно действующие слова, подобно тому как Катос и Маделон верили, что существуют слова благородные. *Система* вводит его в заблуждение. Его принципы ограничивают его ум. Прочтите понедельничные фельетоны Золя, и вы увидите: воображает, что открыл тайну „натурализма“! Ну, а поэзия и стиль – эти два вечных элемента – о них он никогда не упоминает! Спросите также нашего друга Гонкура. Если он будет откровенен, то признается вам, что до Бальзака французской литературы не существовало. Вот куда ведет излишнее умничанье и опасение стать шаблонным».[111] Впервые Золя привлекает внимание карикатуристов. Он завоевал славу, но это слава под градом плевков.

Когда «Западня» в конце января 1877 года вышла у Шарпантье отдельным изданием, споры разгорелись с новой силой. Ни один читатель не смог остаться равнодушным к этой книге – каждый был либо за, либо против нее. Отдел печати Министерства внутренних дел начал с того, что запретил продавать роман на вокзалах из-за «грубой и низменной непристойности подробностей». Зато среди *панегиристов* оказался Анатоль Франс, написавший 27 июня в «Le Temps» («Время»): «Конечно, „Западню“ не назовешь приятной книгой, но это мощная книга. Жизнь изображена там непосредственно и прямо… Многочисленные персонажи говорят языком предместий. Когда же автор, не давая им говорить, сам заканчивает их мысль или описывает их душевное состояние, он тоже пользуется их языком. Другие его за это порицают. Я его за это хвалю. Вы можете верно передать мысли и чувства любого существа лишь на

его языке». Да и Поль Бурже уверял Золя: «Это ваш лучший роман. Сама ярость нападок на него служит тому доказательством. Вы, несомненно, на своей территории. Вы поразительный человек! Молодые люди, с которыми я встречаюсь, и я сам – мы все ставим вас в первый ряд».[112] А Малларме подхватывает: «Перед нами по-настоящему великое произведение, достойное времен, когда истина делается распространенной формой красоты».

Собравшиеся в другом лагере противники «Западни» продолжали всячески поносить ее и обливать грязью. Одни ругали роман за «отвратительную нечистоплотность», другие – за презрение к народу, третьи – потому что видели в нем всего-навсего исследование патологии, и, наконец, четвертые – вообще под совершенно надуманным предлогом: они утверждали, что автор слишком усердно пользовался сочинением Дени Пуло. А Золя – одновременно «плагиатор», «враг простого люда», «подстрекатель буржуазии» и «фальшивый студент-медик, плохо усвоивший прочитанное», – тем временем радовался, подсчитывая доходы. «Западня» расходилась с ошеломляющей быстротой и удивительным постоянством. Стопки книг в лавках таяли мгновенно. За несколько месяцев вышло тридцать пять изданий. Гюго пошатнулся на своем пьедестале. Шум, поднявшийся за пятнадцать лет до того вокруг его «Отверженных», был заглушен бурей, которую вызвала «Западня». Если в «Отверженных» борьба между Добром и Злом была еще окрашена в романтические тона, то в «Западне» сквозь зловоние городского дна уже не пробивается и самая слабая струйка чистого воздуха. У Золя перед старым мастером было то преимущество, что он не пользовался розовыми очками, глядя на мир. Он изображал ад, и изображал его так, что всякому хотелось на этот ад взглянуть.

Шарпантье, проявив редкостные деликатность и щедрость, разорвал контракт, связывавший его с автором, разделил с ним прибыль от продаж и немедленно, сразу же выплатил ему восемнадцать с половиной тысяч франков. На улицах распевали куплеты, в которых говорилось о несчастьях Жервезы. Цирк Франкони превратил «Западню» в пародийную пантомиму. Для светской публики роман Золя был «новинкой», которую непременно следовало прочитать, чтобы иметь возможность обсуждать ее в гостиных. Буржуазия поеживалась, одновременно и шокированная беспощадностью рассказа, и польщенная тем, какую чудовищную картину представил автор, изображая рабочую среду. А тут и сама эта рабочая среда заинтересовалась книгой. Люди, принадлежавшие к низшим классам, признали и приняли жестокую правдивость описаний. Теперь читатели Золя

появились во всех слоях общества. От мысли об этом у него кружилась голова. Деньги прибывали, росла известность, а вместе с ней и ненависть, которую он возбуждал. Получается, он наконец достиг всего, к чему стремился?

Завидуя этому внезапному успеху, Эдмон де Гонкур в своем «Дневнике» упрекнул Золя в том, что некоторые фрагменты «Западни» слишком явно навеяны его, Гонкура, романом «Девка Элиза». И ему непонятно, почему не он, а этот «итальяшка» пробудил такие страсти. 16 апреля 1877 года, во время обеда в ресторане Траппа, молодые писатели, в числе которых были Гюисманс, Сеар, Энник, Поль Алексис, Октав Мирбо и Ги де Мопассан, «молодое поколение реалистической, натуралистической литературы», устроили овацию Флоберу, Золя и Гонкуру и провозгласили их величайшими мастерами современности. «Образуется новое войско», – замечает по этому поводу Гонкур. Казалось, он должен быть обнадежен этим обстоятельством. Но годом позже он снова не может сдержать злобы: уж слишком много зарабатывает Золя своими книгами. «В жизни не видел более требовательного и менее довольного своим огромным состоянием человека, чем этот самый Золя», – пишет Гонкур.[113]

На самом деле он больше всего злится на автора «Западни» за то, что Золя завладел понятием «натурализм» и теперь размахивает им словно флагом. Когда Флобер в кругу друзей подшучивал над пристрастием Эмиля к предисловиям и проповедям натурализма, которые тот использовал для рекламы собственных книг, Золя, по словам Гонкура, ответил: «У вас было небольшое состояние, которое позволило вам избежать многих вещей. Мне же, вынужденному зарабатывать на жизнь исключительно своим пером, пришлось пройти через постыдное сочинительство всякого рода, через занятие журналистикой, и с тех времен у меня сохранился – как бы вам это объяснить? – некоторый *банкизм*… Что правда, то правда, я, как и вы, не могу всерьез относиться к слову *натурализм* и тем не менее буду неустанно его повторять, поскольку всякую вещь необходимо окрестить, для того чтобы публика думала, будто это нечто новое… Для начала я приставил к голове читателя гвоздь и ударом молотка вогнал его на сантиметр; затем, вторым ударом, я вогнал его читателю в мозг на два сантиметра… Так вот, мой молоток – это пресса, которую я сам организую для своих произведений». И Гонкур заключает: «Золя, достигший триумфа, чем-то напоминает выскочку, на которого внезапно свалилось богатство».[114]

Золя и правда охотно выставляет свой успех напоказ. Он

открыл в себе страсть к безделушкам и теперь, разбогатев, в изобилии скупает их у антикваров. «Самое меньшее, что можно сказать, это что его кабинет-гостиная не производит впечатления классической элегантности, – замечает русский журналист Боборыкин. – Он похож на лавку старьевщика». Александрина тоже рьяно взялась за декоративные работы. «Моя жена занялась великолепным делом, – пишет Золя госпоже Шарпантье. – Она шьет мне занавески с аппликациями из старых шелковых цветов по бархату, и уверяю вас, получается очень красиво».[115] Почему вдруг занавески? Дело в том, что семья в очередной раз переехала, и теперь надо было достойно украсить жилье ставшего таким знаменитым писателя.

Семья Золя поселилась в доме 23 по улице Булонь,[116] на третьем этаже. Новая квартира состояла из прихожей, кухни, ванной, столовой, гостиной и спальни. Мебель тут была преимущественно в готическом стиле. Войдя в спальню супружеской четы, Флобер воскликнул: «Всегда мечтал спать в такой кровати!.. Это комната святого Юлиана Странноприимца!» Гонкур же, приглашенный на новоселье, по привычке зубоскалил потом в своем «Дневнике»: «Рабочий кабинет, где молодой мэтр работает, восседая на португальском троне из цельного палисандра. В спальне – резная кровать с колоннами, в окнах витражи XII века, позеленевшие гобелены с изображениями святых на стенах и потолках, над дверью передняя часть алтаря, вся обстановка, собранная из церковного старья, создает довольно странный фон для автора „Западни“.[117] Обстановку оценили по-разному, зато ужин все гости приветствовали дружно – восторженными криками. Доде в припадке красноречия сравнил благоухающее мясо рябчиков с „плотью старых куртизанок, замаринованной в биде“. Флобер, разгоряченный вином и вкусной едой, громил тупых обывателей, *уснащая* свои речи непристойными ругательствами, что возмутило мадам Доде, не ожидавшую „такой грубой и неумеренной распущенности“. У Золя горели щеки, он тоже говорил не умолкая, сверкая глазами из-за стекол пенсне, перебивая других, размахивая руками, и Шарпантье прошептал, глядя на своего автора: „Поразительно, ему хотелось бы, чтобы, кроме него, никого не было, чтобы он был один в гостиной!“»[118]

Прошлым летом Золя вместе с Александриной съездил в Эстак и объедался там буйабессом. Но, несмотря на обильную пищу, он нашел в себе достаточно мужества для того, чтобы написать там, под южным солнцем, под пение цикад, восьмой роман цикла, названный им «Страница любви», работать над инсценировкой «Западни» и править свою комедию о рогоносцах

«Розовый бутон». Этот водевиль, в свое время отвергнутый из-за того, что автор был никому не известен, теперь должны были поставить к началу сезона, поскольку Золя с тех пор приобрел оглушительную славу. Публика с нетерпением ожидала фарса, который не мог не быть «натуралистическим». Всем было интересно, каким способом Золя, прежде заставлявший зрителей и читателей плакать, теперь попытается их рассмешить?

Премьера, состоявшаяся 6 мая 1878 года, завершилась полным провалом. По мере того, как развивалось действие, зал, удрученный пошлостью и вульгарностью зрелища, все громче возмущался. Когда закончился третий акт, занавес опустился под свист и шиканье. А когда один из актеров хотел, по обычаю, объявить имя автора, из партера крикнули: «Автора *у этого* нет!» «Не понимаю, как человек, претендующий на то, чтобы стать главой школы, и притом не принуждаемый к этому потребностью в деньгах, мог допустить представление такой заурядной вещи, ничем не отличающейся от того, что кропают худшие из водевилистов», – запишет в «Дневнике» Гонкур. Друзья потерпевшего фиаско попытаются смягчить горечь поражения, сам же Золя, хотя и сильно подавленный, все же захочет непременно собрать всех на ужин в Вефуре.

«Несчастный, глубоко потрясенный герой дня, – продолжает Гонкур, – предоставил жене заниматься ужином, а сам сидел, склонившись над тарелкой, бледный, с отсутствующим видом, равнодушный к тому, что говорилось вокруг, и машинально вертел зажатый в кулаке нож лезвием вверх». Время от времени Золя, словно разговаривая сам с собой, ворчал: «Нет, мне безразлично, но это меняет весь план моей работы… Мне придется писать „Нана“… Вообще-то театральные провалы внушают отвращение… займусь романом…» Сидевшая напротив Александрина ела с аппетитом и между двумя глотками вина успевала упрекнуть мужа в том, что он не сделал кое-каких купюр в тексте, как она ему советовала. Наконец вся компания встала из-за стола. Спускаясь по лестнице ресторана следом за мадам Шарпантье, шлейф платья которой волочился по ступенькам, Золя процедил сквозь зубы: «Осторожнее, я сегодня вечером нетвердо держусь на ногах!»[119]

Вернувшись домой, он окинул взглядом все предметы, которые смог купить себе на доходы от уступки издателям авторских прав, и вновь поверил в себя. Вот они – свидетельства его прошлого успеха и гарантии будущего триумфа. Свистки публики не пройдут за эти укрепления. Несколько дней спустя, во время ужина у Шарпантье, он даже станет утверждать, будто провал «Розового бутона» его радует. «От этого я стал моложе! –

воскликнул Золя. – Мне снова двадцать лет! После успеха „Западни“ я расслабился. В самом деле, стоит только подумать о той цепи романов, которые мне остается создать, и я чувствую, что лишь в состоянии борьбы и гнева смогу заставить себя их написать!» Затем разговор свернул на ближайший бал. Золя уверял, что слишком утомлен для того, чтобы туда идти. Но тут «кисло, как тощая селедка», по словам Гонкура, вмешалась Александрина. «Обязательно надо пойти, – заявила она. – Надо многое взять на заметку!» И Гонкур насмешливо комментирует: «Спонтанные наблюдения, которые происходят почти что помимо собственной воли, – отлично! я не против; но идти наблюдать, как отправляются на службу, это уж увольте!»[120]

Несмотря на провал «Розового бутона», снятого с репертуара после семи представлений, Золя не постеснялся включить текст пьесы в сборник, украшенный следующим предисловием: «Мои романы в конце концов стали читать, когда-нибудь станут слушать и мои пьесы». Но в глубине души он уже не так был уверен в том, что способен писать для театра.

Между тем вышел роман «Страница любви», о котором сам Золя говорил, что это «довольно-таки непритязательная история». Суждение чрезмерно упрощающее, поскольку речь идет о драме женщины по имени Элен Гранжан, прекрасной вдовы, которую терзает раскаяние из-за того, что, в то время как она нежилась в объятиях любовника, доктора Деберля, ее дочь Жанна умерла от скоротечной чахотки. Испытав тяжелейшие муки совести, пройдя через кризис, Элен преодолеет свое горе, выйдет замуж за старого друга, обретет спокойствие и сделается почтенной и рассудительной матроной, крепко стоящей на ногах в мире парижской благопристойности. «Я должен изучить зарождающуюся и великую любовь так же, как изучал пьянство», – записал Золя в «набросках», а итальянскому критику Эдмондо Де Амичису пообещал, что «заставит плакать весь Париж».

В начале тома было помещено родословное древо Ругон-Маккаров. Великолепный рисунок, где на каждом из листочков были написаны не только имя персонажа и дата его рождения, но и клинические проявления наследственности. Впечатление все это производило сильное. Золя созерцал рисунок с тем же волнением, какое испытывал спящий Вооз у Виктора Гюго, когда Господь послал ему во сне откровение, показав все его будущее потомство. Однако собратья Золя насмехались над этим нововведением. Доде уверял, что если бы это он вообразил такое дерево, то повесился бы на самой высокой ветке. Золя с профессиональной серьезностью оправдывался в предисловии: «Сегодня мне всего лишь хочется доказать, что те романы,

которые я выпускаю вот уже почти девять лет, являются частями огромного единого целого, план которого был составлен сразу и заранее, а следовательно, оценивая каждый роман по отдельности, надо учитывать и то место, какое он будет гармонично занимать в этом ансамбле». Теперь сочинитель собирается написать для цикла «Ругон-Маккары» уже не десять романов, а двадцать! И надеется прожить достаточно долго для того, чтобы завершить свой труд. Но ведь, если он хочет пройти этот путь до конца, он должен следить за своим здоровьем, чтобы все время быть в форме по примеру спортсменов. Разве он не атлет с пером в руке?

После всех грубостей «Западни» ему захотелось обольстить чувствительные души изяществом своей новой книги, сотканной из полутонов. Но, несмотря на приятные отзывы в газетах и восторженные письма друзей и собратьев, история Элен волновала читателей куда меньше, чем история Жервезы. Книга продавалась вяло. Надо ли было сделать из этого вывод, что читатели, сами того не сознавая, тянулись к пряной литературе? Да, бесспорно, ругая Золя, они тем не менее ждали от него стряпни, которая обжигала бы рот. Писатель принял это к сведению и не медля взял курс на следующий роман. Следующей его книгой стала «Нана»!

XIII. Невинные радости

Если Золя и любил деньги, то только ради удовольствия их тратить. Теперь ему недостаточно было скупать безделушки. Он мечтал отыскать в окрестностях Парижа виллу, где мог бы запереться, чтобы в тиши и покое завершить своих «Ругон-Маккаров». Мать, которая в последнее время жила отдельно от него, которая очень устала и нуждалась в заботе и нежности, тоже нашла бы там приют. Конечно, мадам Франсуа Золя находила невестку чрезмерно властной, считала, что та слишком громко и крикливо разговаривает, что ее на первый взгляд приличные манеры в действительности выдают простолюдинку, но все же признавала, что Александрина хорошо ведет хозяйство в доме сына, а это главное. Что же касается Александрины, то ей проще было терпеть больную, охающую, бездействующую свекровь, чем бодрую и постоянно вмешивающуюся в семейные дела. Золя, присмотревшись ко всему этому, заключил, что совместное существование женщин проблем не создаст, и, наняв экипаж, принялся разъезжать по департаменту Сены-и-Уазы, выбирая дом, который можно было бы снять. Поначалу о покупке он не думал, однако на привлекшем его внимание строении, которое стояло в Медане при дороге, была табличка «ПРОДАЕТСЯ». Золя отправился к хозяину и попытался уговорить его сдать дом в аренду, тот оказался неумолим. Тогда Эмиль посоветовался с женой: нигде больше им не найти такого тихого и мирного уголка, как в этой долине, по которой течет Сена. В мечтах он уже видел, как возится в саду, катается на лодке, купается, принимает у себя друзей. Цена – девять тысяч франков – его не останавливала, нищая Жервеза сделала Золя богатым человеком. И 28 мая 1878 года, подписав у нотариуса все необходимые бумаги, писатель вступил во владение виллой. Вселившись в новое жилье, он тут же усердно принялся обустраиваться и приводить дом в порядок. Сделать предстояло немало: пол прогнил, на стенах проступали пятна сырости. Рабочие, набранные в окрестностях, начали ремонт, и Золя, которого вся эта суета приводила в восторг, написал Флоберу: «Я купил дом, крольчатник между Пуасси и Триелем, в очаровательном захолустье, на берегу Сены, за девять тысяч франков. Называю вам цену, чтобы не внушать вам излишнее уважение. Литература заплатила за этот скромный сельский приют, который хорош тем, что расположен далеко от всех курортов и по соседству нет ни одного обывателя. Я один, совершенно один; уже целый месяц я не видел человеческого лица! Вот только мое обустройство

доставило много хлопот».[121]

По просьбе Золя Мопассан взялся купить для него лодку. Нашел – совсем новенькую, охотничью, длиной пять метров – отличную лодку, за прочность которой с радостью поручился. Стоила она семьдесят франков. Золя ухватился за такую великолепную возможность, и вскоре Мопассан вместе с Энником, дружно налегая на весла, проделали путь в сорок девять километров, отделявшие Безон от Медана. Имя для лодки выбрали быстро. Ее назвали «Нана», потому что, как объявил Мопассан, туда «всем захочется залезть!».

В первые же дни на новом месте Золя понял, что дом слишком тесен для той широкой и трудовой жизни, которую он намеревался в нем вести. И немедленно приказал выстроить рядом с заурядной виллой, которую он приобрел, грандиозную квадратную башню, где разместились: на первом этаже – столовая и кухня, на втором – супружеская спальня с примыкающей к ней ванной, на третьем – огромная комната с высоким потолком и широким окном, откуда открывался буколический вид на окрестности вплоть до самого Отиля и на слияние Сены с Уазой.

Поль Алексис описал это святилище во всех подробностях: «Пять метров в высоту, девять в ширину и десять в глубину. Колоссальный камин, в котором можно было бы на целом дереве зажарить целого барана. В глубине – нечто вроде алькова размером с одну из наших крохотных парижских спаленок, полностью занятого единственным диваном, на котором с легкостью могли бы улечься спать шесть человек… Я уж не говорю о галерее, на которую ведет винтовая лестница». Повсюду виднелись японские и китайские безделушки, медные жардиньерки, статуэтки из слоновой кости, средневековые доспехи, разноцветные витражи. Навес над исполинским камином был украшен девизом Бальзака: «Nulla dies sine linea» – «Ни дня без строчки». На балках под потолком белели геральдические лилии. У рабочего стола стояло кресло сеньора с вырезанной на высокой спинке надписью: «Я хочу того, чего хочет Господь».

Такая же наивная и показная вычурность царила и в других помещениях дома. Потолок столовой, к примеру, тоже был весь в лилиях, стены затянуты поддельным сафьяном, его оживляли ряды изразцов, а в окнах красовались пестрые витражи, за изготовлением которых Золя наблюдал лично. Но больше всего писатель гордился убранством бильярдной, которую устроил еще в одной башне, на этот раз шестигранной, выстроенной в 1885 году по другую сторону от изначально существовавшего здания. Эта бильярдная в его глазах была самым ослепительным признаком его успеха. Пол в ней был выложен мозаикой, а

потолок с небольшими балками украшен серией гербов: Золя непременно хотел, чтобы у него над головой были представлены гербы всех тех городов, откуда происходили его предки. Здесь тоже высился монументальный камин с установленной внизу, перед очагом, фигурой саламандры, выдыхающей огонь и помеченной инициалами хозяина дома: Э.З. Громоздкий бильярдный стол окружали пианино, фисгармония, горшок с пальмой, множество деревянных статуэток, рясы и прочие предметы церковного обихода. Все это причудливо освещалось через окна с витражами, изображавшими павлинов, водоплавающих птиц и цветы с изогнутыми лепестками…

Обосновавшись в столь роскошном жилище, Золя не забыл и про друзей: для того чтобы они могли у него погостить, он велел возвести в саду, рядом с квадратной башней, длинную пристройку из розового кирпича, в которой помещались четыре спальни; это сооружение он в честь своего издателя окрестил «флигелем Шарпантье». Кроме того, постепенно прикупая землю и расширяя свои владения, он построил домик для садовника, образцовую теплицу, ферму с конюшней для коня Голубчика[122] и хлевом для коровы Милки[123] и ее теленка, курятник, прачечную… Еще он приобрел остров рядом с Меданом, чтобы выстроить там домик, первый камень которого заложит Александрина собственной персоной.

Поместье гудело словно улей, все суетились с утра до ночи. Каждый, от простого каменщика до хозяина-литератора, не говоря уж о слугах, неустанно трудился. Иногда можно было насчитать одновременно до двадцати пяти рабочих. Золя распоряжался на этой стройке, как некогда его отец-инженер управлял своей. С наступлением вечера он выходил на балкон и, стоя на нем, гордо созерцал свое творение. Поначалу, когда Эмиль только купил дом, сад занимал тысячу двести квадратных метров. После двадцати четырех последовательно совершенных покупок площадь владений Золя выросла до сорока одной тысячи девятисот квадратных метров. Через поместье протекала Сена, проходила линия Западной железной дороги. От грохота проходящих поездов в кабинете у писателя дрожали оконные стекла, но ни шум, ни дым не только не мешали ему работать – напротив, они его вдохновляли. Современная жизнь сама стучала в стены дома, чей хозяин гордился тем, что воспел ее в своих книгах. Ему, человеку завтрашнего дня, не пристало сердиться на проявления механического прогресса.

Неуемно деятельный Эмиль на время успокаивался лишь тогда, когда к нему приезжали погостить друзья. В такие дни он благоразумно делил свое время между сочинительством и

досугом. Ему необходимо было ощущать рядом с собой присутствие этой группы пылких писателей, с большей или меньшей убежденностью примкнувших к натурализму и получивших в прессе презрительную кличку «господа Золя». Среди них были Ги де Мопассан с бычьей шеей, гордый своими мускулами, дружбой с Флобером и успехом у гризеток; славный Поль Алексис, безгранично преданный наставнику, но очень вспыльчивый, бестактный и весьма умеренно одаренный; Анри Сеар, странный, вылощенный и украшенный моноклем человек, одновременно пессимистичный и насмешливый, но всегда готовый оказать услугу боевым товарищам; Леон Энник, который, при всем его восхищении Золя, не собирался, как он сам говорил, «влезать в его сапоги»; Гиюсманс с тонким лицом и нежным взглядом, проповедник натурализма и при этом желчный обыватель, критикующий современный ему мир и показывающий бессмысленность человеческой судьбы на примере бесцветных, обреченных на жалкое отчаяние повседневности персонажей. Вокруг этих первоначальных адептов клубились новички, готовые ради того, чтобы преуспеть, позволить налепить на себя «ярлык Золя». Александрина, как и положено безупречной хозяйке дома, управляла всем этим племенем, изголодавшимся по настоящей литературе и хорошей кухне. Блюда были изысканными, вина пьянящими, разговор то и дело перескакивал с одного предмета на другой. Золя и его жена восседали в хозяйских креслах у противоположных концов стола. Пили они из серебряных кубков.

Но Александрине недостаточно было возглавлять эти гастрономические и одновременно литературные застолья. Именно на ней, пока шло строительство, лежала обязанность по субботам выдавать плату рабочим. Они, один за другим, подходили в кухне к хозяйке, и она, записав сумму в ведомость, отсчитывала деньги. Весь дом держался на ее крепких плечах. Без ее разрешения нельзя было ни переставить мебель, ни зажарить цыпленка, ни засеять грядку. Встав пораньше с утра, она первым делом отправлялась в просторную комнату на втором этаже шестиугольной башни, где, пока другие еще спали, с наслаждением шила или вышивала. Комната эта служила кладовой для белья. Заглянув туда, можно было вообразить себя в сейфовом зале какого-нибудь банка. Вдоль стен тянулись шкафы из норвежской ели, на полках которых были разложены стопки белья, перевязанные шелковыми лентами. Сорочки, кальсоны, простыни, наволочки, скатерти, салфетки, полотенца для рук – ни в чем не было недостатка, и все было чистое, отглаженное, удобное, старательно подсчитанное… Да, ничего не скажешь, Медан – полная противоположность Западне.

Когда хозяин дома работал у себя в кабинете, единственным живым существом, чье присутствие возле себя он терпел, был старый ньюфаундленд Бертран. Другая собака, малыш Крысенок, была слишком вертлявой и брехливой. Золя любил животных, и они платили ему взаимностью. Ему необходимо было встречаться глазами с их доверчивым взглядом. Иногда ему казалось, что они понимают его лучше, чем люди.

Случалось, что и в этом уютном замкнутом мирке Эмиля настигала какая-нибудь дурацкая неприятность, и тогда он злился, словно избалованный ребенок. Так, он вышел из себя, узнав, что министр народного просвещения Аженор Барду, несмотря на обещание наградить его орденом Почетного легиона, в конце концов отдал награду Фердинанду Фабру. «Вы ведь знаете, что ваш друг Барду недавно сыграл со мной недостойную шутку, – писал Золя Флоберу. – Покричав пять месяцев кряду на всех углах, что даст мне орден, он в последнюю минуту заменил меня в своем списке Фердинандом Фабром; таким образом, я остаюсь вечным кандидатом на награждение, это я-то, который никогда ни о чем не просил и которому этот орден нужен, как ослу роза… Хуже всего, что началось обсуждение случившегося в газетах, которые теперь оплакивают мою участь: это непереносимо… Если увидите Барду, скажите ему, что я немало неприятностей вытерпел за свою писательскую жизнь, но этот обещанный орден, прокатившийся по всем газетам, а потом в последнюю минуту отнятый, – самая горькая пилюля из всех, какие мне доводилось глотать».[124]

Барду, которому стало неловко оттого, что вокруг этой истории подняли шум, пообещал загладить несправедливость и наградить Золя в январе 1879 года. Но Золя до тех пор имел дерзость опубликовать очерк «Современные романисты», вызвавший дружное негодование литераторов. В этом критическом обзоре, написанном для русского журнала «Вестник Европы» и впоследствии перепечатанном «Фигаро», он самоуверенно заявляет о своих предпочтениях и безжалостно разделывается с иными знаменитыми писателями. «Газету с вашей статьей передают из рук в руки, – пишет ему Сеар. – И некоторые злятся: одни – потому, что они в ней названы, другие – потому, что не упомянуты… Доде трясется за ваш орден. Особо отмечают портреты Кларети и Ульбаха: многие находят в них выражение презрения, в каком сами не решились бы признаться».[125] В ряде газет появились протесты. Эдмон Абу гневно обрушивался на неосторожного, Альбер Вольф насмехался над ним, уверяя, что тот сделался жертвой чудесной грезы и хотел бы погасить все звезды, сияющие на литературном небосклоне, и

блистать там одному. «Стало быть, дорогой собрат, – отвечал ему Золя, – вы думаете, будто я очень тщеславен? Будто это моя гордыня диктует мне мысли и я истребляю собратьев, чтобы освободить пространство вокруг себя? Красивую же легенду вы распускаете среди читателей! Призадумайтесь немножко. Неужели моя искренность выдает честолюбца? Неужели я кажусь вам настолько наивным, чтобы не предвидеть, что закрываю перед собой все двери, сказав вслух то, о чем другие только шепчутся?.. Когда желаешь царствовать, необходимо обладать большей гибкостью… Я – всего лишь солдат идеи, навязчивой идеи, если угодно. Я судил художников, драматургов, романистов исходя из одной и той же теории, этим и вызваны крики, которые они издают».[126] Крики «жертв» достигли ушей Барду и поколебали его в его первоначальном намерении. Когда он робко назвал имя Золя в качестве кандидата на награждение, глава его кабинета переменился в лице и закричал: «Господин министр, это невозможно! Решается судьба вашего портфеля!» Барду покорился, а Золя, в очередной раз посердившись, смирился с тем, что ему не видать орденской розетки в петлице своего пиджака.

Впрочем, в это время у него были другие причины для радостей и надежд. Он не покладая рук трудился над новым, только что начатым романом – «Нана». Дело оказалось непростым, поскольку героиня была куртизанкой, а писатель совершенно не знал того уродливого мира, в котором ей предстояло жить. С любопытством девственника он расспрашивал друзей об их романах, и ни на мгновение ему не пришло в голову, что он мог бы составить собственное представление о приключении такого рода. Хотя… он все-таки попросил Людовика Галеви, автора текстов оперетт, музыку для которых сочинял Оффенбах, отвести его за кулисы театра «Варьете», где должно было происходить действие будущего романа. На сцене шла «Ниниш». Золя, втиснутый во фрак, с любопытством и жадностью разглядывал хорошеньких танцовщиц, со смехом пробегавших мимо него. Так же старательно он изучал баночки с гримом на туалетном столике в уборной, сосредоточенно вдыхал запах разгоряченной женщины, а потом делал записи, мечтая о своей Нана, бесстыдной, алчной и желанной, такой желанной, что мужчины с ума сходили при одной только мысли о ее теле. Теле, которое она отдаст тому, кто больше предложит. Она станет подчинять мужчин себе, разорять их, низводить до скотского состояния. Это будет еще хуже, еще страшнее, чем в «Западне»: разрушительное действие алкоголя сменится здесь разрушительным действием продажной плоти.

Стремясь расширить поле деятельности своей героини, Золя обедает в Английском кафе – наедине, в отдельном кабинете, – со светским человеком, другом Флобера, известным своими любовными похождениями. Тот, порывшись в памяти, рассказывает собеседнику все, что смог вспомнить о любовницах, с которыми успел поразвлечься за свою долгую карьеру: как проводят время знаменитые кокотки, какие у них вкусы по части моды, как они обращаются с любовниками, как разговаривают со слугами… А Золя лихорадочно записывает все эти подробности. Он ненасытен, все ему кажется мало.

Несколько дней спустя он получает разрешение посетить особняк одной из таких дам, Вальтесс де ла Бинь, на бульваре Мальзерб. В этом дворце элегантной проституции писатель-исследователь смог увидеть оранжерею, полную экзотических цветов, ванную размером с лабораторию, конюшни, а главное – спальню с роскошным ложем любви. Вот каким оно будет, царство Нана! Наконец он, который никогда не появлялся в свете, добивается приглашения на пикантный ужин у дамы полусвета, где этот лакомка, забывая про еду, во все глаза смотрит на сотрапезников. Хорошо знавшая своего мужа Александрина нисколько не беспокоилась, отпуская мужа туда: как ни искусны эти развратницы, Эмиль не поддастся их чарам.

Друзей, приезжавших в Медан погостить, если было известно, что они хоть когда-нибудь, теперь или в прошлом, вели насыщенную личную жизнь, тоже облагали данью. Один из них побаловал Золя вкусными подробностями о знаменитом лесбийском табльдоте на улице Мучеников, где хорошенькие клиентки, входя, целовали хозяйку в губы; другой припомнил, как толпа подвыпивших и разнузданных господ в строгих черных фраках ввалилась посреди ужина к визжавшим от радости девкам; третий рассказал о бутылках шампанского, вылитых в пианино под аплодисменты присутствующих; наконец, еще кто-то сообщил ему адрес и прейскурант сводни. И Золя с благодарностью все это слушал, записывал, складывал про запас. В папке с «набросками» он напрямик излагает суть книги, которую собирается написать: «Философский смысл ее следующий: все общество жаждет случки. Свора гонится за сукой, у которой нет течки и которой наплевать на кобелей, преследующих ее. *Поэма вожделения самца*, великий рычаг, приводящий в движение мир. Ничего не существует, кроме секса и религии».

Собрав документы, составив план, Золя начал писать первую главу. Очень скоро рассказ его увлек. Он влюбился в потаскуху Нана до такой степени, что предпочел ее Жервезе. Эта женщина-

щель, разоряющая мужчин, разрушающая семьи, не могла бы сильнее его приворожить, если бы он встречался с нею в действительности. Вот в этом и заключалось чудо. Именно благодаря тому, что Золя был целомудренным человеком, от его книги так сильно тянуло эротическим душком. Воображение у него обгоняло жизнь, причем до такой степени, что он куда больше вдохновлялся тем, чего не знал, чем пережитым лично, известным по собственному опыту. Да, запершись в кабинете, он предавался фантазиям тем более необузданным, что они не соответствовали никаким его воспоминаниям. Его благоразумие, его неведение не только не сковывали его, но служили для него трамплином. Он приходил в исступление, словно школьник-трезвенник, выпивший впервые в жизни стакан спиртного. Голова его пылала. Все его существо, от мозга до низа живота, пронизывал ток такой же силы, как если бы он сжимал в объятиях существо из плоти и крови. Может быть, присутствие женщины в момент возбуждения даже смущало бы его. Ничто не возбуждало его так сильно, как одиночество, пустота, оставлявшая свободное пространство для самых безумных миражей.

Живя отшельником, Золя упивался сладостным ядом грязного разврата. Сидя за письменным столом, он, с взмокшими ладонями и горящим взглядом, чувствовал себя одновременно и торгующей своим телом девкой, и опустившимся, поверженным самцом. Словно предаваясь одинокому наслаждению, он описывал «розовые кончики грудей» Нана, ее «ляжки полной блондинки», «золотой пушок под мышками», поблескивающий в свете рампы… Он рассказывал о первобытном зове, исходившем от этой распаленной самки и разливавшемся по зрительному залу… Он показывал, как Нана хлещет одного из своих любовников, пинает его ногами, обращается с ним, как с собакой, чтобы он сильнее наслаждался. Вышедшая из народа, она мстит за народ, доводя до чудовищного вырождения богачей, имевших неосторожность ее полюбить. Она – воплощение абсолютного и бессознательного зла, рока с ангельским лицом, всех пороков общества времен Второй империи, готовой вот-вот рухнуть. К тому времени, как она умирает, заразившись оспой, война неизбежна. Восторженная толпа, собравшаяся под ее окнами, при свете газовых фонарей вопит: «На Берлин! На Берлин!» Эти крики проникают в комнату, где лежит обессилевшая и обезображенная болезнью куртизанка. Каре, постигшей Нана, отвечает наказание всей Франции.

Еще до того, как Золя дописал до конца свою книгу, «Вольтер» объявил о публикации романа с продолжением в октябре 1879 года. Любопытство читателей немедленно

пробудилось. Ходили слухи, что «Нана» окажется зашифрованным романом о нравах полусвета. Решив опередить слухи, Золя в статье, посвященной Сент-Беву, разъяснил душевное состояние автора, до головокружения порабощенного собственным сюжетом: «Целомудренного писателя сразу можно узнать по чрезмерно мужественной манере письма. Занимаясь сочинительством, он охвачен желанием… Можно представить себе, какой жаркий очаг пылает в этом уединении, в этом воздержании… Все тело, со всеми его чувствами переходит в творение… От этих страстных объятий целомудренного, оплодотворяющего свои произведения автора рождаются сильные и оригинальные создания». Должно быть, Александрина была слегка шокирована признаниями Эмиля в любви к рожденной его сознанием проститутке. Но она относилась к работе мужа со слишком большим уважением для того, чтобы его в этом упрекнуть. А «Вольтер» тем временем уже начал рекламную кампанию. На стенах парижских домов и на щитах «ходячей рекламы» появились плакаты. В табачных лавках с конца резиновой трубки, при помощи которой зажигали сигареты, свисала листовка, призывавшая: «Читайте Нана! Нана!! Нана!!!» Ни один из прежних романов Золя не рекламировался так шумно. Читатели прямо-таки набросились на первую порцию, напечатанную в газете, и тут же началось!

Скандал, разгоревшийся вокруг «Нана», ни в чем не уступал тому, каким встретили появление «Западни». На голову Золя обрушился поток упреков, оскорблений и насмешек. «Шаривари» обвинила автора в том, что он «перепутал свинство с человечеством». Понмартен во «Французской газете» объявил, что литературная программа Золя – «сточная канава» и «клоака» и потому, прежде чем приступать к чтению, надо обуться в сапоги ассенизатора и держать у носа флакон с английскими солями.

После того как роман вышел отдельным изданием, тон критиков стал еще более несдержанным. «Золя выдает эту мелкую развратницу за единственный подлинный тип столь сложного и столь неоднородного мира», – писал Поль де Сен-Виктор. «Такая дура, как Нана, не сумела бы успешно вести свои дела, и любовники быстро ее бросали бы», – утверждал Жорж Оне. Орельен Шолль постановил в «Событии», что «Нана» – «парижский роман для провинциалов, но для парижан это роман провинциальный». Что касается Луи Ульбаха, с которым Золя так грубо обошелся в своем очерке о современных романистах, он отомстил за себя в «Жиль Блазе»: «Маркиз де Сад верил, будто его мерзкие и непристойные книги… способствуют нравственному оздоровлению. Из-за этой мании его заперли в Шарантоне. Мания, которой подвержен Золя, не так опасна, и в наши дни

целомудрию порой предоставляют самому мстить за себя. Но „Нана“, как и „Жюстина“, говорит о наличии патологии… Это повышенная возбудимость честолюбивого и бессильного мозга, который приходит в волнение от чувственных видений». Ошеломленный потоком оскорблений, Золя жалуется Эмилю Бержера в письме от 21 февраля: «Сегодня я дошел до того, что включаю в число смелых друзей тех критиков, которые согласны считать меня честным человеком».

К счастью, маленькая кучка его сторонников была в восторге. Флобер, которому не слишком понравилась «Западня», на этот раз рассыпался в неумеренных похвалах:

> *«Дорогой Золя!*
>
> *Вчера до половины двенадцатого сидел за вашей „Нана“. Я не спал всю ночь и до сих пор не могу прийти в себя.*
>
> *Если бы нужно было отметить в ней все необычайное и сильное, то пришлось бы комментировать каждую страницу. Характеры отличаются удивительной правдивостью. Естественные слова изобилуют. Смерть Нана в конце достойна Микеланджело.*
>
> *Книга, мой друг, изумительна!..*
>
> *Нана почти сверхъестественна – при всей своей реальности.*
>
> *Dixi…*
>
> *Скажите Шарпантье, чтобы он мне прислал **один экземпляр**, потому что свой не хочу одалживать».*[127]

Гюисманс вторил ему: «Я совершенно ошеломлен „Нана“. Ей-богу, если читать ее вот так, не отрываясь, исходящий от нее запах становится куда сильнее. Прекрасная и новая книга, совершенно не похожая на другие романы вашего цикла и вообще на все кем-либо до сих пор написанное. В самом деле, мне кажется, вам никогда еще не удавалось родить нечто столь же удачное, столь же сильное, большое и естественное… До чего восхитительна сцена в деревне между Зизи и Нана! А нестерпимо благоухающие кулисы, а актеришки!.. И табльдот, и скачки, и та чудесная, та восхитительная сцена, когда Мюффа узнает, что он рогоносец, и божественная Сатен, которая, признаюсь, сильно меня волнует, совсем как славного Шуара, и все, черт возьми, превосходно!»[128]

На самом деле горячее одобрение друзей Золя не могло заглушить воплей возмущения его противников. Но чем более резко высказывались газетные критики, чем больше рисовали злобных карикатур на автора и на его героиню, тем больше

покупателей стекалось в книжные лавки. Пресса, думая, будто уничтожает писателя, возвела его на пьедестал. Читая подобный роман, думал обыватель, можно погрузиться в бездну порока, не вставая со своего кресла, и при этом совесть остается чиста. Мужья, жены, юные девушки – всем хотелось сунуть нос под юбки Нана. Она, которая поначалу была всего лишь выдуманным персонажем, превратилась в символ, символ женского естества, поднесенного в дьявольской дарохранительнице. «Нана превращается в миф, не переставая быть реальной!» – восклицает Флобер. Считая с первого дня, Шарпантье продал уже пятьдесят пять тысяч экземпляров по твердой цене и велел отпечатать еще десять дополнительных изданий.

Этот литературный успех последовал сразу же за театральным успехом «Западни» в «Ambigu». Пьеса в девяти картинах, которая, по словам Золя, в сравнении с романом была «глупейшей мелодрамой», шла с триумфом. «Никто, даже я сам, не верил в успех, – пишет он Флоберу. – И представляете, какая неожиданность… Уж не ждет ли меня теперь и крупный финансовый успех?»[129]

Так оно и случилось, довольный Золя потирал руки, а раздосадованный Гонкур писал в своем «Дневнике»: «Пьеса неестественная от начала до конца, со всеми ее приемами, куплетами и избитыми сентиментальными фразами с бульвара Тампль». И еще: «Золя торжествует, он заполнил собой мир, гребет деньги лопатой, но ни более веселым, ни более любезным он от этого не сделался».[130]

Четырнадцатого апреля, в день сотого представления «Западни», спектакль показывали парижанам бесплатно. Великолепная реклама! Очередь к окошечку кассы начала выстраиваться уже с семи часов утра, а к полудню вылезла с тротуара на проезжую часть. «Даровые зрители отработали бесплатное развлечение, – пишет репортер „Вольтера“. – С самого начала и до конца не смолкали оглушительные аплодисменты. Что касается слез, проливаемых женской частью зрительного зала, я и не пытался бы их измерить». Две недели спустя в честь этого события директор театра «Ambigu» устроил ужин и бал. Всем гостям было велено переодеться рабочими и прачками. На головах официантов в буфете красовались фуражки. Но, ко всеобщему изумлению, Золя и его друзья прибыли на бал в черных фраках, галстуках и белых перчатках. Их освистали и назвали «изменниками», предателями общего дела. Золя показалось, будто его же собственные персонажи его отвергают. Но вскоре фраки и рабочие блузы примирились между собой, и до трех часов ночи все дружно продолжали есть и танцевать.

Репортер из «Фигаро» утверждал, будто насчитал на этом балу тысячу восемьсот приглашенных.

Как бы там ни было, мелодрама по мотивам «Западни» привлекла внимание к роману, и продажи увеличились. Золя несла вперед великолепная упряжка из двух женщин: Жервеза и Нана ради него скакали бок о бок.

XIV. Меданская группа

Медан, место напряженной работы, был, кроме того, и местом встреч. Здесь царила искренняя дружба. Сюда съезжались то художники, то писатели, привлеченные мягкой красотой пейзажа и личностью Золя. Гости жили в приятной обстановке, пользуясь полной свободой и изобилием, при условии, что не нарушали рабочего распорядка хозяина дома. Для того чтобы придать своему приюту больше блеска, Эмиль решил изменить глуховатое название Медана на более звонкое. «Мы поставим accent aigu, который войдет в историю!» – с гордостью заявил он Полю Алексису.

В одно прекрасное утро в Медане появился Поль Сезанн с неизменными мольбертом и красками. Золя давно его не видел. Тот и другой изрядно постарели и теперь, заливаясь смехом, отыскивали под появившимися с годами морщинами и припухлостями прежние отроческие черты. Но теперь все разделяло друзей. Несметно богатый и знаменитый Золя ничего общего не мог иметь с этим изголодавшимся, упрямым и никому не известным художником, который, несмотря на свои повадки грузчика, так и не решился признаться отцу в том, что тайком женился и обзавелся ребенком. Открыв для себя Медан, Сезанн немедленно пленился этим прелестным зеленым уголком, зато подчеркнутая, выставленная напоказ роскошь жилища пришлась ему не по вкусу. Полю, который так любил в прежние времена друга-бедняка, привыкшего к меблированным комнатам и дешевым трактирам, трудно было смириться с этим новым Золя, богатым, благополучным и прославленным. Он считал, что у гения живот и карманы непременно должны оставаться пустыми. Впрочем, художник не упускал случая раскритиковать и творчество друга. С обычной своей прямотой упрекал в том, что психология его персонажей примитивна, описания затянуты, и напрасно он так упорствует в своем желании уложить все в «натуралистическую» систему. Что касается Золя, тот, со своей стороны, не понимал, почему Сезанн стремится непременно навязать своим картинам тяжеловесную конструкцию вместо того, чтобы передавать тонкую игру света на облекающих ее формах. Глухие к доводам собеседника, ставшие чужими друг другу, они следовали разными путями, и лишь воспоминания далекого детства давали им возможность сохранить остаток взаимной привязанности.

Сезанн, которого в Медане, несмотря ни на что, холили и лелеяли, катался по Сене на лодке «Нана», ставил свой мольберт

на островке и увлеченно писал противоположный берег и дом, скрытый деревьями. Золя не слишком нравились грубые, с его точки зрения, изображения милого его сердцу рая. Попытался Сезанн изобразить и Александрину, разливающую чай в тени листвы. Но пока он работал над портретом, Антуан Гийеме внезапно подошел к нему со спины и осмелился высказать свое мнение о незавершенном портрете. Разъярившись на элегантного и благопристойного художника, который позволил себе к нему так обратиться, Сезанн переломал кисти, изрезал холст и бросился бежать в сторону Сены. Его звали, звали, звали, но – тщетно.

Золя был удручен. Решительно Сезанн – невыносимый человек! И вообще, только художник в зените славы может позволять себе подобные выходки! Вот он сам, даже при всей своей известности, куда более осмотрителен и вежлив.

Но на самом деле Золя разочаровался во всех своих друзьях-живописцах. Во время Всемирной выставки 1878 года, с ее преклонением перед научным прогрессом и демократическим пацифизмом Франции, выставки, которую Эмиль счел великолепной, он напечатал безрадостную статью о французской живописи, лучшим представителем которой, по его мнению, был Бонна. Ни слова об импрессионистах! В 1880 году Клод Моне и Огюст Ренуар были допущены в официальный Салон. По их просьбе Золя согласился написать четыре статьи о «Натурализме в Салоне». Но перо его оказалось вялым. Отдав дань героизму этих «мучеников собственных убеждений», он прибавил: «Самое печальное то, что ни один из художников, входящих в эту группу, не воплотил мощно и окончательно ту новую формулу, которую все они разрозненно привносят в свои творения. Формула здесь раздроблена на бесконечно мелкие части, и нигде, ни у кого из них мы не видим ее примененной мастером. Все они – предвестники. Гений еще не родился». Под этим подразумевалось: «В этой живописи не существует главы направления – такого, каким я стал в литературе. Я сумел заставить принять натурализм, а они все еще барахтаются в импрессионизме». Художникам, представлявшим это направление, не слишком понравилось, как их поучали – свысока, со снисходительным сочувствием. Однако Золя был убежден в своей правоте. Идеология натурализма, глашатаем которого он себя считал, по его мнению, охватывала все области. Увлеченный собственным порывом, он печатает очерк «Экспериментальный роман», где встает в позу пророка новой философии: «Натурализм – это сама эволюция современного способа мышления… Именно Натурализм завладел веком, и Романтизм 1830 года был всего

лишь кратким периодом первичного влечения… Настал час поставить Республику и литературу лицом к лицу и посмотреть, чего одна может ожидать от другой, понять, кого мы – аналитики, анатомы, коллекционеры человеческих документов, ученые, признающие лишь силу факта, – встретим в нынешних республиканцах: друзей или противников. Будет ли жить Республика или прекратит свое существование, зависит от того, примет ли она наш метод или отвергнет его: либо Республика будет натуралистической, либо ее не будет вовсе».

Карикатуристы ликовали. Золя был смешон. Он до того раздулся, что еще немного – и лопнет. Надо его отстегать, чтобы свалился со своего пьедестала. Однако все, чего добились карикатуристы своими нападками, а газетчики своими насмешками, – они сделали имя Золя еще более популярным. А друзья из Меданской группы считали, что их наставник еще недостаточно высоко поднял знамя натурализма. Как-то вечером за разговором кто-то упомянул о проекте издания журнала, который мог бы «дать бой». Но где найти деньги на столь непривлекательное предприятие, каким представляется защита эстетических теорий? Негде. В качестве выхода из положения Энник предложил собрать в одном томе новеллы, написанные каждым из членов клана, – все эти сочинения были бы отмечены «поиском истины». Эта мысль Золя понравилась, ко всему прочему у него ведь уже был в запасе рассказ, когда-то опубликованный в России, в «Вестнике Европы», – «Нападение на мельницу». Кроме того, рассказ Сеара «Кровопускание» тоже был напечатан в России, а «С мешком за плечами» Гюисманса – в Бельгии, в Брюсселе. Сам Энник только что закончил «Дело большой семерки», Алексис вносил последние исправления в «После битвы», а Мопассан готов был быстро написать «Пышку». Все эти истории были связаны с войной 1870 года. И все должны были показать бессмысленность этой бойни, героизм народа и некомпетентность генералов. Однако для сборника надо было придумать название. Гюисманс предложил «Комическое нашествие», но даже самые ярые из авторов сочли это название слишком уж вызывающим. Тогда Сеар предложил другое – «Меданские вечера», и подобная – косвенная – дань уважения высшему авторитету натурализма была встречена с восторгом.

В течение января 1880 года маленький литературный кружок несколько раз собирался, каждый читал свое сочинение остальным и выслушивал замечания и похвалы. Лучшим рассказом была признана «Пышка» Мопассана: Золя высоко оценил его яркий стиль и беспощадный юмор. Кроме того, сборник надо было снабдить предисловием. Вероятно, решающим

здесь был вклад Золя, но все прочие тоже внесли свою лепту. Тон предисловия был нескрываемо агрессивным: «Мы приготовились к любым нападкам, к неискренности и невежеству, уже не раз проявленным по отношению к нам критиками. Единственное, к чему мы стремимся, – это публично признаться в наших истинных пристрастиях и в то же время открыто заявить о наших литературных тенденциях».

Журналисты, которых авторы сборника хотели задеть за живое, чтобы заставить их ответить быстро и резко, не попались на эту приманку. «Эта маленькая компания самонадеянных молодых людей, – пишет в „Фигаро“ Альбер Вольф, – в редкой наглости предисловии бросает перчатку критике. Хитрость их шита белыми нитками; на самом деле они думают: постараемся сделать так, чтобы нас обругали, благодаря этому книга будет продаваться. „Меданские вечера“ не заслуживают и одной строчки критики. За исключением открывающей сборник новеллы Золя, все это более чем посредственно». Леон Шапрон в «Событии», в свою очередь, бранит наглецов: «У господ натуралистов самым натуральным образом разгорелось честолюбие. Они только что выпустили сборник „Меданские вечера“. В качестве предисловия ему предпослано два десятка строчек, и это предисловие – самая настоящая и примитивная грубость». Несмотря на подобную ругань, читатели покупали книгу только из-за того, что на ее обложке стояло имя Золя. Не прошло и двух недель, как пришлось допечатывать еще восемь тиражей сборника. Однако главным победителем во всей этой истории оказался не Золя и не натурализм, а молодой Ги де Мопассан, которого вчера еще никто не знал, а сегодня он оказался в сонме великих. Флобер пишет своему протеже: «Мне не терпится вам сказать, что я считаю „Пышку“ *шедевром*. Да, молодой человек! Ни больше ни меньше – работа мастера… Будьте уверены, этот короткий рассказ сохранится… Еще раз браво, черт побери!»[131]

Флобер, враг всяческих литературных школ, с трезвой иронией относился к помпезным декларациям Золя, провозглашавшего необходимость натурализма в искусстве, политике и даже повседневной жизни. Тем не менее он обрадовался тому, что все эти новаторы воспринимают его как невольного предтечу своего направления. В почтенном возрасте признание и поддержка молодежи кажутся самой желанной наградой…

Весной 1880 года, на Пасху, Флобер принимал у себя дома в Круассе Золя, Гонкура, Доде, Гюисманса, Шарпантье, совершивших дружеское паломничество. Приехавший раньше

Мопассан встретил их на вокзале в Руане. Залитый солнцем сад с его аккуратными аллеями и цветущими яблонями над мирно текущей Сеной, по которой медленно скользили суда, привел гостей в восторг. Да и ужин оказался настоящим пиршеством от начала до конца. Гонкур особенно отметил густой сливочный соус, которым была залита рыба тюрбо внушительного размера, высоко оценил качество вин. Прибывшие господа много пили и наперебой рассказывали непристойные истории, от которых Флобер, по словам Гонкура, «закатывался смехом, по-детски *прыская*». Возбужденный застольем и веселой компанией, Флобер трубным голосом рассуждал о глупости своих современников. Ему хотелось, чтобы книга, над которой он в то время работал, «Бувар и Пекюше», стала своеобразным памятником этой глупости. Но он наотрез отказался прочитать хоть какие-нибудь отрывки из своего романа. Он совершенно изнемог, у него не осталось сил. Гости разошлись и улеглись спать «в холодных комнатах, населенных бюстами предков».

Вернувшись в Медан, Золя почувствовал, что его охватило глубокое разочарование. Что это было – предчувствие или первые симптомы болезни? И месяца не прошло, как Гонкур, обедая у него, обратил внимание на печальный и словно бы отсутствующий вид хозяина дома. «Золя грустен, грустен, и эта грусть придает его роли хозяина дома сомнамбулический оттенок», – записал он. Посреди разговора Золя вздохнул: «Ах, если бы только лучше себя чувствовать, я бы этой зимой уехал куда угодно… Мне необходимо было уехать отсюда». И Гонкур задается вопросом: «Что его так огорчает на фоне такого огромного успеха?»[132]

В течение двух недель Золя не переставал беспричинно жаловаться. И внезапно обрушился удар. Девятого мая телеграфист принес в Медан телеграмму. Золя, предчувствуя, что в ней непременно должны быть дурные вести, развернул голубой листок, и лоб у него мгновенно покрылся потом. Мопассан извещал о том, что Флобер накануне скончался в Круассе. Сраженный горем Золя почувствовал, что потерял близкого человека, все равно что члена семьи. «Ваша телеграмма словно громом меня поразила, – написал он Мопассану. – Я всю ночь не спал».[133] Воспоминания о Флобере были такими неотступными, что Эмиль то и дело просыпался и вскакивал с постели, мучимый зловещими галлюцинациями. Ему казалось, будто смерть стоит у его изголовья, она исполинского роста, одета в темное, сильно жестикулирует и громко говорит. Узнав, что друг скончался от апоплексического удара, Золя напишет еще: «Прекрасная смерть, внезапная, такой можно только позавидовать, я желал бы себе и

всем тем, кого люблю, этой гибели насекомого, раздавленного гигантским пальцем».

Одиннадцатого мая 1880 года Золя поехал в Руан на похороны. За гробом шли немногочисленные друзья – Доде, Гонкур, Мопассан, Жозе Мария де Эредиа, представитель префекта, мэр Руана, два или три журналиста в поисках темы для статьи, студенты. Солнце нещадно пекло головы, лица у всех были потные и багровые. Процессия медленно тянулась по пыльной дороге. В маленькой церкви четверо крестьян повисли на веревке, чтобы раскачать язык колокола. Золя очутился на хорах лицом к лицу с певчими, «вопившими на латыни, которой они даже не понимали». Лица у присутствующих были безразличные. Все отдыхали после долгой ходьбы. Казалось, никто не осознавал, что за несколько дней до того угас великий ум.

На руанском кладбище все стало еще хуже. Могильщики не учли размеров гроба (Флобер был высокого роста), и вырытая ими яма оказалась слишком короткой для того, чтобы можно было опустить в нее ящик. Тщетно они старались как-нибудь его туда уместить, дергая за веревки. Могилу надо было увеличивать. Они решили сделать это попозже, после окончания обряда. Золя, задыхаясь от ярости, кричал: «Довольно! Довольно!» Священник окропил святой водой гроб, застрявший в могиле наискось, изголовьем вниз. Могильщикам так и не удалось ни приподнять его, ни опустить на дно ямы. Все стали расходиться, смущенные и растерянные. «Мы ушли, – напишет позже Золя, – оставив нашего „Старика“ косо лежать в земле».

Картины этого «натуралистического» погребения долго будут преследовать Золя. Ему внезапно открылись тщета славы и бесполезность жизни. Его нервное расстройство усилилось. Сеар с Энником дали ему почитать произведения Шопенгауэра, и он решил, что пессимизм этого немецкого философа – единственно возможное отношение к лишенному смысла миру. Через некоторое время, когда Эмиль, несмотря ни на что, слегка оправился, на него навалились новые заботы. Теперь он тревожился из-за матери. Она все больше слабела. Эмили болела артритом, и еще иногда ей казалось, будто в горле у нее образуется комок и она вот-вот умрет от удушья. Раньше ей случалось старательно *перебелять* рукописи сына. Теперь перо с трудом держалось в руке, и это очень огорчало. По любому, самому ничтожному поводу между ней и Александриной то и дело вспыхивали споры, и, поскольку обстановка в доме с каждым днем становилась все более тяжелой, она ненадолго отправилась погостить к брату в департамент Мез. Там она заболела:

сердечный приступ, обширный отек легких и сердечная недостаточность. Ею овладела неотступная мысль как можно скорее вернуться к сыну. Путешествие до Парижа по железной дороге было настоящей пыткой. Ноги распухли, идти она не могла. В Вилленне ее пришлось нести от вагона до кареты. Лицо у нее посинело, ей не хватало воздуха.

Видя мать умирающей, слыша, как она бредит, Золя впал в совершенно детскую растерянность. Он не хотел видеть агонизирующей матери, старался не входить в ее комнату, бродил в смятении по полям или запирался, дрожа с головы до ног, в своем кабинете, не в силах ни читать, ни писать. Зато Александрина и в этой ситуации проявила свою обычную энергию. С утра до вечера она заботливо ухаживала за ненавидевшей ее свекровью, которая всякий раз, как невестка подносила ей лекарство, обвиняла Александрину в том, что та хочет ее отравить.

Эмили Золя скончалась 17 октября 1880 года. Поскольку лестница была слишком узкой, гроб пришлось спускать через окно. Золя разрывался между ужасом и отчаянием. Первая панихида состоялась в маленькой деревенской церкви. «Мадам Золя [Александрину] поддерживали ее горничная и слуга, лицо у нее было мучительно искажено от горя, – рассказывает Сеар. – Золя рухнул на скамеечку для молитвы и оставался в таком положении всю долгую, нескончаемо долгую службу, безучастный к фальшивым звукам плохо разбиравшего ноты альтиста, к нестройным завываниям полудюжины певчих: по такому случаю меданский священник попросил прислать ему подкрепление из Вернуйе».

Золя и его жена проводили гроб с телом до Экса, где покойную должны были похоронить рядом с мужем. Когда они вышли из вагона, на перроне ждала толпа. Город, почтивший отца, строителя канала, тем, что недавно назвал его именем бульвар, теперь воздавал почести сыну, принимая его как героя словесности. Золя был одновременно и польщен, и раздосадован этим. Момент был выбран явно неудачно, Эмиль был весь поглощен своим горем. Едва добравшись до гостиницы, он написал Сеару: «Мне придется еще раз вытерпеть страшную боль религиозного обряда. Меня заверили, что я не могу этого избежать. Утешает только то, что склеп в превосходном состоянии и завтра все закончится. Но жена настолько измучена, что мы, скорее всего, будем возвращаться короткими перегонами».[134]

Когда Золя вернулся в Медан, на него с порога обрушились воспоминания о матери. Он бродил по опустевшим комнатам, его

терзало раскаяние. Разве не бывал он, и нередко, грубоват в обращении с ней? Разве в минуты раздражения не проявлял непочтительности? Не угасла ли она с ощущением, что без нее и сыну, и невестке станет легче? Он перебирал в памяти ссоры между матерью и Александриной, и всякий раз оказывалось, что виновата была последняя. Он втайне упрекал жену в том, что она и сама не сумела полюбить покойную, и свекровь не сумела заставить полюбить себя.

В полном смятении он даже хотел было уехать в Париж, чтобы избавиться от этого наваждения. «Поначалу мы намеревались, – пишет он Эннику, – бежать из нашего бедного дома, однако в него вернулись. И хотя испытали потрясение, вновь увидев его, все же не можем решиться его покинуть. Мы проведем в нем еще некоторое время!»[135] А госпоже Шарпантье он сообщает: «Нашей первой мыслью было бежать из Медана, потом это показалось нам трусостью, потому что означало бы бежать от нашего горя. Так что мы пробудем здесь еще месяц, чтобы привыкнуть и чтобы дом не казался нам проклятым, как кажется сейчас… Моя жена была очень больна. Оба мы сейчас словно оглушены. Надо подождать, потому что, как ни страшно это произнести, время лечит и самую глубокую скорбь. Что касается меня, то я постараюсь забыться за работой».[136]

Но и работа, этот привычный наркотик, утешавший писателя в любых печалях, на этот раз не принесла желанного покоя. Золя обретал спокойствие, лишь когда писал, но для того, чтобы писать, ему необходимо было успокоиться. Заколдованный круг. Две смерти, Флобера и матери, последовавшие одна за другой, потрясли его до глубины души. «Этот год оказался для меня очень тяжелым, действительно черный год, и я долго еще буду чувствовать его тяжесть, – сказал он навестившему его итальянскому критику Де Амичису. – И работаю не так, как прежде, и сам уже не тот… Для того чтобы писать, необходимы воздух и пространство перед собой, надо верить в жизнь».

Несколько дней спустя, приехав в Париж, Эмиль зашел к Гонкуру и показался тому «мрачным и растерянным». «На этого сорокалетнего человека и впрямь жалко смотреть, – пишет он. – На вид он старше меня». Бессильно рухнув в кресло, Золя поверял другу свои горести, свои тревоги, жаловался на недомогания: боль в пояснице, сердцебиение… «Потом, – записывает Гонкур, – он заговорил о смерти матери, о том, как стало пусто без нее, и говорил об этом со сдержанным умилением и в то же время с оттенком страха за себя самого. И когда он заговорил о литературе, о том, что намерен сделать, то не сумел скрыть опасений, что не успеет этого. Жизнь и впрямь очень ловко

устроена таким образом, чтобы никто не был счастлив. Вот перед нами человек, чье имя известно всему миру, чьи книги продаются сотнями тысяч экземпляров, который, может быть, из всех авторов при жизни наделал больше всего шума; и что же, из-за этого болезненного состояния, из-за ипохондрической склонности его ума он стал более унылым и темным, чем самый обездоленный из сухофруктов».[137]

Теперь у работы появилась новая функция: Золя пытается глушить себя писанием. Он снова подумывает о том, чтобы выпускать вместе с друзьями из Меданской группы «боевой листок»,[138] делает заметки для будущего романа «Накипь», продолжает посылать материалы в журналы и газеты, работает над инсценировкой «Нана» вместе с Бюзнахом. Он надеется, что лихорадочная оживленность репетиций поможет ему вырваться из его сумрачной апатии.

Премьера состоялась 29 января 1881 года. Первые семь картин встретили в зале достаточно вялый отклик. В антракте Гонкур осторожно заглянул в ложу автора и увидел там Александрину в слезах. Смутившись, Эдмон пробормотал, что, на его взгляд, зрители не так уж плохо принимают пьесу. Вскинув голову, Александрина прошипела: «Вам кажется, что публика сегодня хороша? Что ж, значит, вы неприхотливы!» Он на цыпочках удалился, и пьеса ни шатко ни валко продолжала идти. Тем не менее к концу спектакля зрители все же разогрелись и довольно громко аплодировали. Последняя картина, в которой Нана умирает, вызвала даже восторженные восклицания. Партия была выиграна. Александрина улыбалась в ответ на комплименты, и все друзья-«натуралисты» отправились ужинать к Бребану. Когда Шабрийя, директор театра «Амбигю», вошел в зал ресторана, Золя спросил у него: «Ну что, сбор есть?» Затем, после того, как Шабрийя его успокоил на этот счет, продолжал с аппетитом есть. Но обманчивый блеск сцены, обещание неплохой прибыли были для него всего лишь слабым утешением. Он тоскливо и тревожно спрашивал себя, когда же наконец вновь обретет достаточную свободу духа и достаточную веру в себя, чтобы с головой погрузиться в свой труд романиста, единственный, который в его глазах что-то значил.

XV. Радости провокации

Медан гордился тем, что среди его жителей Золя – такой знаменитый человек! Такой известный писатель и общественный деятель!

16 января 1881 года Эмиля выбрали муниципальным советником. Новые обязанности отнимали у него не так уж много времени и развлекали его. Золя считал, что для романиста любой опыт полезен. Но не перестал ли он быть романистом? Пока что журналистика поглощала его целиком. Понедельничные репортажи в «Вольтере» становились все более и более едкими. Конечно, чаще всего предлогом для их написания была литература, но автор охотно примешивал к ней политику. С тех пор как в 1877 году власть захватили вожди с демократическими притязаниями, он испытывал одно разочарование за другим. Республика, пришествия которой Золя так жаждал, теперь его возмущала, потому что ни один из представителей этой самой республики не осознавал значимости натурализма, того литературного направления, которое он представлял. Так называемые народные избранники вовсе не желали признавать, что первый борец за народ – именно он, Эмиль Золя, с его идеей научной истины. Можно подумать, будто он внушает республиканскому правительству такой же страх, какой внушал прежде правителям Империи. Что тут поделаешь? А вот что! Окончательно перестав сдерживаться, Золя обрушился со страниц «Вольтера» на мнимых служителей делу пролетариата. Жюль Лаффит, главный редактор «Вольтера», счел, что на этот раз публицист не только вышел за рамки благоразумия и здравого смысла, но и нарушил правила самой элементарной вежливости, и – решил отказаться от сотрудничества со столь странным республиканским журналистом, который находит удовольствие в том, чтобы нападать на республиканские же газеты. Золя немедленно переметнулся в «Фигаро», чей главный редактор Франсис Маньяр к тому же предложил ему платить втрое больше, чем Лаффит: восемнадцать тысяч франков в год. Конечно, «Фигаро» – консервативная газета, поддерживает Мак-Магона, но ведь Золя клятвенно заверили в том, что на своих страницах он будет полностью свободен и никто не помешает ему писать как и что заблагорассудится.

В первой же опубликованной «Фигаро» статье он открыл настоящий артиллерийский огонь, обличая заурядность и лицемерие тех якобы великих людей, которые правят Францией. Даже Гамбетта не избежал его нападок. Не оставлял он в покое и

тех, кто, по его мнению, неправедно приобрел литературную известность, кто пытался выпустить воздух из воздушного шара Гюго. Зато своих друзей из Меданской группы по-братски расхваливал. Маньяр недовольно морщился, читая обозрение, в котором Золя превозносил Сеара и Гюисманса: уж очень этот текст напоминал рекламу. А получив вторую статью – на этот раз автор восхищался талантом Алексиса и Мопассана, – главный редактор «Фигаро» вспылил и отреагировал довольно резко. «Позвольте вам сказать, – написал он Золя, – что торжественная передовая статья в „Фигаро“ о господах Мопассане и Алексисе после той, которую вы посвятили господам Сеару и Гюисмансу, действительно выходит за все пределы, дальше некуда… Наши читатели вправе счесть эту шутку слишком едкой».[139]

Золя пришел в бешенство. Забрав статью, он переслал ее в Россию Стасюлевичу для «Вестника Европы» и одновременно с этим написал Сеару: «Мне стало в высшей степени противно писать статьи для „Фигаро“. Мечтаю, когда брошу все это, погрузиться в долгую работу, от которой смогу месяцами не отрываться».[140] И все же, чтобы работы, посвященные театру и литературе, не пропадали даром, Эмиль собрал их в пять томов, которые издаст Шарпантье: «Натурализм в театре», «Наши драматурги», «Романисты-натуралисты», «Кампания» и «Литературные документы».

Произведение, озаглавленное «Романисты-натуралисты», было встречено градом вражеских стрел. Шарль Монселе в «Событии» упрекал Золя в том, что он «извалял литературу по всем грязным панелям» и «собирает деньги и славу там, где еще никто не догадался их искать». Возмущенный столь уничижительной кампанией, Поль Алексис решил ответить ударом на удар и поквитаться с обидчиками в республиканской газете «Генрих IV». Зная неистовый темперамент друга, Золя хотя и одобрил его проект, однако в записке на визитной карточке посоветовал быть «*вежливо злым*: это великая сила».[141] Однако Поль Алексис был слишком вспыльчив для того, чтобы последовать мудрому совету, и в статье он так злобно обругал Орельена Шолла и Альбера Вольфа, что первый вызвал его на дуэль. Неужели эта ссора, начавшись с вопроса чести, закончится кровопролитием? Литературный мирок сладостно волновался. Обошлось. Поразмыслив, Поль Алексис отказался от поединка, сказав, что «дуэль не натуралистична». Но, по обыкновению своему неловкий, показал карточку, на которой Золя известил его о своем согласии. Вольф немедленно обрушился на Золя в «Фигаро», где он также был редактором, обвинив писателя в том, что тот «работает локтями, чтобы расчистить пространство вокруг

себя». Оскорбленный Золя попытался ответить, но Франсис Маньяр ему помешал, стремясь предотвратить распри между двумя сотрудниками своей газеты. Правда, некоторое время спустя сдался, и статья была помещена. Но Золя тем временем успел сделать выбор.

Двадцать второго сентября 1881 года он обратился к читателям «Фигаро» с текстом, который озаглавил «Прощание» и в котором объявил, что окончательно отказывается от журналистики: «Я часто проклинал ее [прессу], наносящую такие мучительные раны… Ремесло журналиста – последнее из всех; лучше убирать грязь с дорог, дробить камень, заниматься самой грубой и унизительной работой…» А кроме того, написал публицисту Жюлю Труба: «Я расстался с прессой и надеюсь больше никогда к ней не возвращаться. Все последнее время я чувствовал, что опускаюсь. Одним словом, я достаточно долго сражался, теперь пусть меня сменят другие. А я попытаюсь – творить».[142]

Между тем Алексис успел сцепиться с другим журналистом, Альбером Дельпи, который поместил в «Le Paris» еще более оскорбительную для него и для Золя статью. «Истинный виновник – не этот несчастный пигмей [Алексис], – писал Дельпи. – Этот более достоин жалости, чем гнева. На самом деле виновен его начальник, его вожак. Господин Эмиль Золя, конкурент торговцев непристойными открытками, защитник девок и великий опошлитель душ… Вот только он – трус, которому нравится оскорблять, но не слишком нравится показываться открыто».

На этот раз Алексис, повинуясь «кодексу Бульвара», вызвал-таки наглеца на дуэль. Поединок состоялся «где-то у французской границы». Алексис был ранен в руку, и все решили, что честь спасена. «Наш безрассудный Алексис устроил чудовищную неразбериху, – рассказывал по следам событий Золя Эдуару Роду. – К счастью, с этим делом покончено. Но мне до того противно, что я поклялся навсегда расстаться с прессой».[143]

Решить-то решил, поклясться поклялся, однако именно профессия журналиста внезапно принесла Золя спасение: среди прочих статей по общим вопросам он не так давно сочинил для «Фигаро» очерк под названием «Адюльтер в буржуазной среде». В этом очерке публицист анализировал поведение трех женщин. Одна – просто помешанная «с раздраженными нервами»; другая, которой родители внушили навязчивую мысль о выгодном браке, выходит замуж за человека скромного положения и принимается искать любовника высокого полета, чтобы удовлетворить свое стремление к роскоши; наконец, третья до такой степени скудоумна, что ей даже в голову не приходит остаться честной.

Так вот, пока Эмиль писал этот текст, его внезапно осенило. Он набрел на замысел «Накипи». И тут же принялся собирать материалы, кратко изложив замысел будущего романа такими словами: «Говорить о буржуазии – значит произносить самый яростный обвинительный приговор, какой только можно вынести обществу. Три супружеские измены, лишенные сексуальной страсти, случившиеся из-за воспитания, из-за физиологического расстройства и из-за глупости. Новый буржуазный дом, противопоставленный дому с улицы Гутт-д'Ор. Показать буржуазию без прикрас, после того, как был показан народ, и показать ее, считающую себя порядочной и честной, еще более отвратительной, чем всегда».

Для того чтобы все это получилось как можно более убедительным, Золя поселил всех своих персонажей в одном и том же богатом доме с «красивыми дверями из лоснящегося красного дерева». Но что за мерзости творились за этими красивыми дверями! Сплошные отвратительные ссоры, сожительство втроем, супружеские измены, охота за мужьями, постыдные связи, низкие интриги вокруг наследства. Ненависть к обывателю – но разве сам он не был одним из них? – пробуждала в Золя творческую лихорадку, подгонявшую его перо. Каждый день он исписывал по четыре больших листа бумаги. Он так давно отошел от романов, ему так не терпится нагнать упущенное! Как приятно повиноваться кнуту созданий, рожденных в его голове! Мир обеспеченных людей никогда уже не сможет оправиться от такого наказания!

Самое забавное, что мстительная ярость прекрасно сочеталась у автора с самым что ни на есть мирным семейным существованием. «Жизнь моя становится все проще, – признается Золя Анри Сеару, – мне кажется, что в настоящее время я вижу очень ясно: для того чтобы написать очень трезвую и определенную книгу, мне только и надо, что вот это умственное здоровье. В общем, я доволен».[144] Изливая на бумагу желчь и злобу, Золя расцветает. Он много ест. У него растет живот. Приходится расставлять брюки. Этот откормленный атлет со слабыми нервами готовится к битве, которую неминуемо вызовет появление «Накипи».

Подготавливая площадку, Мопассан публикует большую статью о Золя, а следом за ней – очерк о проблеме адюльтера. Первая порция романа с продолжением, из которой предварительно вымарали все непристойные места, появилась в «Le Gaulois» 23 января 1882 года. И на следующий же день начались неприятности. Фамилия одного из персонажей романа Золя, советника апелляционного суда, – Дюверди. И вдруг

выясняется, что в Париже существует реальный Дюверди, адвокат апелляционного суда и главный редактор «Судебной газеты» («La Gazette des tribunaux»). Сочтя, что использование его имени в столь предосудительном произведении может его обесчестить, настоящий Дюверди требует, чтобы автор изменил фамилию выдуманного Дюверди. Золя отказывается, утверждая, что с его стороны не было никакого злого умысла и что он берет все имена для своих героев «из старого департаментского справочника». Доводы показались оскорбленному не слишком убедительными, и, не добившись своего, Дюверди начал процесс против Золя в гражданском суде департамента Сены. Адвокат истца, мэтр Русс, бывший председатель коллегии адвокатов, нынешний академик, осуждая метод, применяемый ответчиком, заодно выступил и против натурализма вообще: «Призываю тех, кто меня слушает… серьезно, искренне, положа руку на сердце, спросить себя, что бы каждый из них подумал, увидев, как его собственное имя… имя, которое носят его жена, дочь, сестра, треплют, валяют в подобной грязи, соединяют с подобными картинами, связывают с подобными сценами…» Все больше возбуждаясь и не замечая, каким посмешищем выглядит, защитник принялся утверждать, что иные частные лица могли бы согласиться одолжить свое имя «господину Жюлю Сандо, или, например, господину Октаву Фейе… и даже господину Александру Дюма!.. Но никто, в этом нет сомнений, не согласился бы предоставить свое имя господину Золя… и оказаться брошенным в бесчестный, низкий, порочный и опасный мир, где всякое подобие идеала исчезает, уступая место нарочитому реализму, еще более отталкивающему и более удручающему, чем сама реальность». Одним словом, мэтр Русс дал понять: он полагает, что Золя способен испачкать все, к чему прикоснется, и – главное – только тем и занимается. Играя голосом и делая картинные жесты, адвокат истца спасал общество от язвы новоявленного искусства. Защитник же «Gaulois» и Золя, мэтр Даврилле Дэзэссар, в ответ тщетно пытался напомнить, что такое случается не только у писателей-натуралистов, но и в литературе вообще, что *любой* романист, придумывающий имя персонажу, всегда живет под угрозой появления какого-нибудь недовольного однофамильца, который начнет возмущаться совпадением, приводя в качестве аргумента свою порядочность… Но, несмотря на серию столь здравых рассуждений, Золя чувствовал, что проигрывает процесс, и 11 февраля, не дожидаясь решения суда, поместил в «Le Gaulois» исполненную негодования статью, где писал: «Все страсти, которые я сумел возбудить за пятнадцать лет литературной битвы, здесь используются самым злостным образом. Здесь собирают гадости, которые

распространяет на мой счет низкопробная пресса, повторяют обычные глупости. Но заходят и еще дальше: стараются возбудить буржуазию, внушают стоящим у власти обывателям: „Вы позволили сказать правду о народе и о девках; неужели вы позволите сказать правду и на ваш счет?“ И, что совершенно омерзительно, пользуются тем, что мы предстали перед судом, чтобы разжечь злобу и в судьях».

На этот раз, поскольку на карту была поставлена свобода писателя, каждого писателя, даже обычные противники Золя встали на его сторону в споре с нелепым Дюверди. Как он и предполагал, приговор обязывал автора вычеркнуть из текста спорное имя. Ладно… Зато какая реклама для «Накипи»! Золя одновременно и ярился, и ликовал. «Разумеется, я проиграл свой процесс против Дюверди, – писал он Нюма Косту. – Я знал заранее, что проиграю, имея дело с парнем, который снюхался с судейскими. Но я проиграл победителем и сделал отличный почин».[145] А еще до того, обращаясь к Эли де Сиону, главному редактору «Le Gaulois», заявил с горькой иронией о своем согласии с приговором такими словами: «Почтенный господин Дюверди исчезнет со страниц моего романа, мы заменим его господином Три-Звездочки. Я выбрал это имя, надеясь, что оно не слишком распространено. Тем не менее, если существует какой-нибудь древний род, который им гордится, я умоляю этот древний род как можно скорее высказать мне свои претензии… Друзья уговаривают меня подать апелляцию. Однако я ничего такого делать не намерен… Я слишком одинок. Мне достаточно того, что почтенный мэтр Русс изобразил меня в суде как писателя, от которого обществу следовало бы избавиться… Полагаю, что я был бы величайшим глупцом, если бы продолжал и дальше играть роль литературного Дон Кихота. Я хотел уладить правовой вопрос, а в ответ меня попытались задушить».[146]

Как ему хотелось забыть об этих мерзких дрязгах! Но шум, поднятый во всех газетах вокруг дела Дюверди, побудил некоего Луи Вабра, офицера ордена Почетного легиона, потребовать от Золя, чтобы тот убрал из «Накипи» и его фамилию тоже. Затем с подобными же требованиями выступили три Жоссерана и один Муре. Заваленный жалобами, писатель пришел в ярость и поместил в «Le Gaulois» открытое письмо: «Я восстановлю имя Вабр, которое заменил на „Безымянный“, чтобы показать, к каким нелепостям можно прийти, если в точности выполнять решение гражданского суда. Одним словом, я предуведомляю однофамильцев моих действующих лиц, что если я уберу из своего романа еще хоть одно из этих имен, то только по настоянию судебных властей. Пусть все подают на меня в суд.

Сколько будет протестов, столько будет и судебных процессов. Поступая так, я хочу, чтобы юриспруденция стала наконец основываться на четких, ясных принципах».[147]

Написав все это, Золя приготовился к новым перебранкам. Однако жалобщики отступили. «Накипь» можно было издавать отдельной книгой, с одной поправкой, которой потребовал суд: фамилию Дюверди пришлось заменить на Дювейрье.

Заглавие, отсылающее к домашнему чугунку, само по себе было для писателя программным. Взяв читателя за руку, Золя повел его через роскошные комнаты, попахивающие весьма сомнительно. Благопристойный дом на улице Шуазель населяли одни чудовища. «Накипь» стала парным романом к «Западне», его буржуазной вариацией. И в том и в другом квартале людьми владеют одни и те же чувства. И здесь и там царят алчность, порок, слабоволие, непристойности, только здесь все принаряжено и надушено. Однако в этой выставленной напоказ извращенности угадывалась некая система, уменьшавшая силу обвинительного акта. Казалось странным, что автор, описывая общество, в котором вращается сам, чувствует себя менее свободно, чем тогда, когда изображал население предместий, на самое дно которых едва заглянул.

Как бы там ни было, публикация романа с продолжением немедленно вызвала нападки возмущенных газетчиков. Огонь открыл «Жиль Блаз»: «Ну что, на этот раз вы остались довольны, о обыватели и обывательницы, обеспечившие Золя успех, когда он изображал народ или живописал мир продажных девок? Верите ли вы по-прежнему в его так называемую точность? Правда ли, что вы – скопище тупиц, порой чудовищных, неизменно подлых и нелепых даже в своей низости? Действительно ли это ваш дом – дом из „Накипи“, напоминающий отделение в Бисетр,[148] где полным-полно истеричек и свихнувшихся женщин, где есть свой идиот, где проживают свои слабоумные, свои кретины, свои маразматики?» Альбер Вольф назвал роман сочинением «насквозь фальшивым, чей автор явно стремится к непристойности и грубым словам». Даже друзья Золя – за исключением верного Алексиса – находили, что книга слишком резкая и ее тон не соответствует намеченной цели.

Золя же тем временем начал работать над другим романом из цикла «Ругон-Маккары» – «Дамское счастье». Речь в нем шла о беспощадной войне, которую ведут между собой мелкая розничная торговля и большой современный магазин, великолепный магазин-спрут, который распространяется, переманивает покупателей, поглощает соседние дома и уничтожает одну за другой старые, привычные лавочки квартала.

Готовясь описывать устройство и население одного из этих храмов парижской торговли, автор наводил справки у администрации «Bon Marché» и «Louvre», расспрашивал служащих, листал каталоги, интересовался у адвоката, каким образом происходит процесс экспроприации. Любезно посвятив Золя в тайны преуспеяния «Bon Marché», секретарь владелицы магазина, госпожи Бусико, сообщил ей о «восторженном» посещении писателя и прибавил: «Надеюсь, если он станет описывать магазин, он воспользуется не тем пером, каким писал „Нана“ или „Западню“». А Золя, со своей стороны, положил в папку с «набросками» новую запись: «В „Дамском счастье“ я хочу воспеть современную деятельность. Следовательно, требуется полностью изменить философию: прежде всего, больше никакого пессимизма, не делать выводов о том, что жизнь бессмысленна и печальна, напротив, говорить о непрестанном труде, о веселом и мощном воспроизводстве. Одним словом, идти в ногу с веком, выражать эпоху, которая является эпохой действия и завоевания, эпохой усилия во всех направлениях». По его мнению, «Дамское счастье» должно стать гимном во славу предприимчивого мужчины и ослепительной женщины, которая предстает королевой большого магазина, смыслом его существования, его чувственным мотором. «Запах женщины витает над всем магазином», – уточняет он. Хозяин «Дамского счастья», Октав Муре, поначалу стремится лишь к успеху своей торговли и видит в покупательницах лишь создания из плоти, которых побуждают приобретать все больше и больше «вещей». Но затем он влюбляется в одну из продавщиц, кроткую и добродетельную Денизу, на которой к концу романа женится и которая уговаривает его произвести перемены, направленные на то, чтобы улучшить положение его служащих.

Совершенно очевидно, что, сочиняя эту книгу, Золя намеревался создать оптимистическое произведение. И, несмотря на свой отказ от политических ярлыков, вдохновлялся социализмом Геда, Фурье, Прудона и Маркса, подавая его под романтическим соусом. Безудержная коммерция представлялась ему будущим народных масс, а мелкая торговля – закоснелостью старого мира. Однако «Дамское счастье» и по сей день чарует читателя отнюдь не морализаторскими намерениями автора, а удивительно написанной картиной большого магазина, портретами покупательниц с их горящими глазами, беспокойно снующими руками, благоуханием, усиливающимся от жары и алчности. Этот большой магазин, этот вертеп, полный наслаждений и опасностей, превращается у нашего «натуралиста» в пагубный рай. Всякая женщина, входящая в него, отчасти теряет

рассудок.

На этот раз пресса оказалась благосклонна к писателю. Критики хвалили точность его описаний, беспристрастность и ясность его философии, «простую, правдивую и трогательную» развязку. Но самого автора эти похвалы не убеждали. Поразмыслив, он понял, что роман представляется ему традиционным и условным, недостаточно отличным от того, что издавали собратья по перу. Казалось, неминуемо разочарование, но, к счастью, в голове Золя уже поселился другой, новый замысел: «Радость жизни». Ему не терпелось вернуться к мрачным тонам, к отчаянию, к нервному расстройству. Его вдохновение питалось чтением научных сочинений, в первую очередь – трудов Шарко. Погружаясь в медицинские трактаты, Золя намеревался написать книгу, пронизанную психиатрическими разъяснениями, видя в этом возможность избавиться от собственных навязчивых мыслей.

Его герой, Лазарь, пренебрегает молодой и богатой сиротой Полиной Кеню, которую ее окружение старается лишить богатства и которая не препятствует этому, становясь своего рода святой мирянкой. «Радость жизни» для Полины заключается в служении другим, в забвении себя и приятии страданий. Что касается мужского персонажа, в него Золя вложил как никогда много от себя самого. Он отдал Лазарю собственные патологические навязчивые идеи, собственную суеверную привычку приписывать некоторым повседневным жестам определенное значение, свою робость, свои проявления отвращения, свои детские слабости. После смерти матери Эмиль неотступно думал о той черной дыре, которая ждет его за последним содроганием. Когда он ложился в постель, ему иногда казалось, будто он лежит в заколоченном гробу. «Мне очень хотелось бы сохранить, чтобы получить общий тип, мой тип человека, принадлежащего к современному миру и одержимого мыслью о смерти», – записывает он в «набросках» к «Радости жизни». Свое собственное психологическое расстройство, которое Эмиль исследует с пером в руке, радует его так, словно он выслушивает признания от кого-то постороннего. «Я по-прежнему погружен в свою книгу, и она продвигается довольно быстро»,[149] – пишет в этот период Золя Сеару.

Он еще не успел закончить книгу, а в «Жиль Блазе» уже появилось сообщение о том, что газета вскоре начнет печатать новый роман Золя с продолжением, появилось и краткое изложение содержания. Гонкур тут же встревожился, поскольку сам в это время писал роман под названием «Милочка» («Chérie»), героиней которого сделал юную девушку, смелую и чистую

душой. «Этот чертов Золя все подхватывает на лету, и при этом хитрый и скрытный, как старый крестьянин, – записывает писатель-соперник в своем „Дневнике“. – Он никогда определенно не говорил мне о романе, который собирался написать, и никогда, ни разу, речь не шла об исследовании характера молодой девушки. А меня два раза просил читать ему отрывки из моей „Милочки“. Недавно мне попалось на глаза рекламное объявление в „Жиль Блазе“, где я прочел о его романе следующее: „Мы встретимся здесь с возвышенной девушкой, храбро вступающей в битву жизни“. Черт! черт!.. К счастью, я читал ему в присутствии свидетелей – Доде, Гюисманса, Жоффруа и Сеара».[150]

Когда начало «Радости жизни» появилось в «Жиль Блазе», Гонкур едва не задохнулся от ярости, читая страницы, посвященные созреванию Полины Кеню. Разве он сам не описывал, в какое смятение привело его юную героиню появление первых месячных? Гонкур был уверен в том, что читал Эмилю этот отрывок. Сомнений быть не может: продувной итальянец все у него списал!

Золя, узнав обо всем от Доде, написал Гонкуру: «Я изо всех сил протестую. Вы никогда не читали мне эту главу, и я до сих пор с ней незнаком; если бы я ее знал, то постарался бы избежать всяких возможных совпадений… Надеюсь, что вы призовете на помощь свою память. Вспомните также, друг мой, что вот уже восемнадцать лет как я защищаю вас и люблю».[151] Смущенный, но не убежденный этими словами, Гонкур ответил: «Да, дорогой друг, я действительно немного раздосадован тем, что вы выбрали как раз то время, когда я писал о молодой девушке и маленькой девочке, чтобы заняться тем же, а главное вот что: поскольку вы работаете намного быстрее, чем я, то я, начавший годом раньше вас, рискую в глазах читателя, который к вам более благосклонен, чем ко мне, оказаться вашим подражателем. Мне немного досадно, только и всего. Что же касается главы о появлении месячных, Доде ошибается, я превосходно помню этот случай и только случай обвиняю в совпадении».

Отчасти успокоенный в отношении чувств, которые испытывал к нему собрат по перу, Золя в следующем письме клятвенно заверил Гонкура в том, что составил план «Радости жизни» еще до того, как задумал «Дамское счастье», и лишь потому на время отложил в сторону первый роман, что, потрясенный смертью матери, не нашел в себе мужества приступить к работе над столь мрачной книгой. Однако и этих объяснений оказалось недостаточно для того, чтобы успокоить обозленного и обиженного собрата по перу, который 27 декабря

1883 года записал в своем «Дневнике»: «Удивительно, до чего Золя недостает душевного целомудрия. В „Радости жизни“ он списал с натуры агонию собственной матери». А 11 февраля 1884 года принялся еще сильнее ругать и критиковать друга: «По сути дела, в его романе „Радость жизни“ эта Полина с ее сверхчеловеческим совершенством – героиня Фейе в грязи, героиня Фейе, у которой месячные, вместо того чтобы отсутствовать, не прекращаются никогда и которая вместо того, чтобы заниматься благотворительностью среди хорошо вымытых бедняков, обращает ее на людей-отбросы. В книге для нас нет ничего по-настоящему интересного, кроме самоанализа Золя, исследующего собственный страх смерти, его удивительной нравственной *подделки* под именем Лазаря. Дело в том, что в этой книге, впрочем, как и в других книгах этого особенного главы направления, как всегда, действует плод чистого воображения, существо, созданное при помощи приемов, принадлежавших всем предшествовавшим ему авторам! Да, я еще раз это повторю: Золя с натуры всегда списывает только *среду*, а персонаж всегда им искусственно *выдуман*, всегда сделан *по памяти*».

Друзья Золя откликнулись более тепло, но и достаточно сдержанно. Они видели в Лазаре неприятное воплощение их собственного пессимизма, карикатуру на разочарованную молодежь того времени. Из всех один только Мопассан безудержно восхищался книгой. Что же касается профессиональных критиков, эти, признавая силу романа, сожалели о том, что в нем слишком много «физиологических подробностей» (Франциск Сарсей) и сочувственно изображено целое поколение, склонное восхвалять «все тусклое и угрюмое» (Эдуар Дрюмон).

Золя до всех этих споров не было никакого дела: он поверил, что книга помогла ему избавиться от мрачных фантазий. К тому же она и продавалась неплохо. На горизонте не было ни единой тучки. Он стоически перенес смерть Эдуара Мане и Ивана Тургенева. Он изо всех сил хотел жить, выдумывать, творить и, если удастся, завершить цикл «Ругон-Маккары».

Поль Алексис посвятил ему большое исследование под названием «Эмиль Золя, записки друга». Для того чтобы написать эту работу, он попросил Золя рассказать во всех подробностях о своем писательском пути. Благоговейное сочинение Алексиса показалось Золя обещанием, что и следующие поколения его не забудут. Был и еще один обнадеживающий знак: Эмиля навестил Альбер Гревен и попросил о чести выставить восковую фигуру писателя в музее, который он только что открыл в доме 10 по бульвару Монмартр. Такое дополнительное доказательство его

популярности обрадовало Золя, и он согласился позировать скульптору Ренжелю, которому поручили создать «двойника» писателя. Когда восковая копия была готова, оригинал залюбовался ею: это его повторение останется в вечности именно таким – с розовыми щеками, стеклянными глазами и темной с проседью бородой! По просьбе Альфреда Гревена Золя приготовил сверток с вещами, отобранными из собственного гардероба, чтобы одеть манекен. До сих пор публике принадлежали его творения, отныне ей будет принадлежать и его особа. Должен ли он радоваться этому или тревожиться из-за этого?

По мере того, как росла аудитория, Золя все больше старался уединиться в своем меданском захолустье. Испытав горечь новых провалов в театре – инсценировка «Добычи» под названием «Рене» была отвергнута «Комеди Франсез», а «Накипь» выдержала всего пятьдесят представлений, – он больше и слышать не хотел ни о Париже, ни о журналистике, ни о сцене. «Теперь я только романист», – объявил Эмиль Нюма Косту в конце 1881 года.[152]

Начиная с этого времени он заметил, что друзья по Меданской группе понемногу исчезают, один за другим отдаляются от него, расходятся в разные стороны, стараются обрести самостоятельность. Раньше он мечтал о том, чтобы вместе с ними сражаться, стремясь к победе натурализма, теперь оказался единственным борцом за дело, которое более чем когда-либо представлялось ему святым делом справедливости, науки и прогресса. Но теперь подобное одиночество не только не пугало его, а, напротив, успокаивало. Он осознал, что был рожден для того, чтобы писать, работать над своими сочинениями вдали от всех, равнодушно воспринимая злословие и похвалы, подобно тому как его отец, упрямый итальянец, одержимый своей мечтой, был рожден для того, чтобы проложить канал Золя.

XVI. Исследование на местности

И свежий воздух, и комфорт, и мирное супружеское существование, и упорный труд – все одновременно. Медан. Сельский дом, убежище, где можно скрыться от навязчивых посетителей, и настоящий завод по производству книг, представлялся Золя оправданием всей его писательской жизни и наградой за нее. Эмиль проводил здесь три четверти года, напоминая медведя, ворочающегося в берлоге. А по приезде в Париж возобновлял прежние привычки и собирал у себя вечером по четвергам группу молодых натуралистов.

Впрочем, не таких уж нынче молодых. На самом деле все эти прежние «дебютанты» успели повзрослеть и набраться опыта. Эннику, Мопассану и Сеару исполнилось по тридцать четыре года, Гюисмансу было тридцать шесть, Алексису – тридцать семь. Каждый из них шел своим путем, стараясь заявить о себе за пределами кружка. Теперь у них мало осталось общего с автором «Западни», но они продолжали собираться вокруг него в память о первых своих шагах. Правда, во время этих еженедельных встреч характерные для прошлого проявления восторга по отношению к наставнику сменились почтительной нежностью. Да и случалось, что, осознав иногда, как далеко отошел от него тот или иной ученик, Золя призывал его к порядку. Так, прочитав «Наоборот» («A rebours») Гюисманса, он увидел в истории утонченного и эксцентричного невропата разрыв с натурализмом и – глядя мрачнее тучи, отрывисто бросая слова – принялся осыпать автора упреками в том, что тот отошел от священных заповедей научной истины, увлекшись безумной выдумкой. А когда Гюисманс стал возражать, уверяя, что ему необходимо было «открыть окно», «бежать из этой среды [где он задыхается]», Золя, исчерпав все аргументы, воскликнул: «Я не позволю менять стиль и мнение; я не позволю сжигать то, чему поклонялись!» Потом глава направления немного смягчился, и оба спорщика признали: в литературе законы, конечно, необходимы, но главное – это талант!

Дружеские отношения между Золя и Гонкуром после обвинения в плагиате постепенно превратились всего лишь в сдержанную симпатию. Доде, в свою очередь, пожаловался на некоторое сходство между его собственными произведениями и сочинениями Золя, но и с этой стороны полемика также утихла. Золя пылко восторгался вышедшими в 1884 году романом Доде «Сафо» и «Милочкой» Гонкура. Когда Доде объявил в «Фигаро», что ходившие в то время слухи неверны и он больше никогда не

будет претендовать на то, чтобы войти в Французскую академию, Золя похвалил его такими словами: «Ах, до чего же прекрасно ваше сегодняшнее письмо в „Фигаро“! Вы бросили вызов прямо в самый центр сегодняшней грязной академической кухни! Ваше письмо греет мне душу».[153] Враждебность Эмиля по отношению к официальным знакам отличия дошла до того, что он не пожелал даже быть награжденным орденом Почетного легиона. Сенатору Шарлю д`Осмуа, который, не посоветовавшись с ним, предпринял какие-то действия в этом направлении, Золя резко написал: «Будьте добры отменить то, что вы сделали».[154] Верный своим представлениям об истинном величии, он считал, что, приняв орденскую ленту, которой кичится так много посредственностей, унизился бы в собственных глазах. Единственным, чем писатель гордился, памятником, который хотел бы себе воздвигнуть, был цикл «Ругон-Маккары», над которым он работал без передышки.

Теперь Золя собирал материалы уже для тринадцатого тома цикла – для романа «Жерминаль», фоном для которого должна была стать «угольная шахта, а главной темой – забастовка».[155] Но он ничего не знал ни об этом подземном мире, ни о требованиях шахтеров. Необходимо было отправиться на место.

В феврале 1884 года по совету депутата Альфреда Жиара, с которым они познакомились летом в Бретани, где ловили рыбу, Золя решил отправиться с блокнотом в руке в Северный угольный бассейн. И как раз тогда, когда он там появился, шахтеры забастовали. Это была стихийная забастовка, которая продолжалась пятьдесят шесть дней и закончилась поражением. Желая как можно лучше узнать все о «черной стране», Эмиль отправился в Анзен. Здесь он присутствовал на митингах социалистов, знакомился с рабочим вопросом, спускался вместе с инженером Дюбю в шахту Ренар на глубину шестьсот семьдесят пять метров. Толстый, страдающий одышкой, со слабым сердцем, литератор бродил по темным штольням и штрекам с ощущением, что больше ему никогда не увидеть дневного света. Но этот мучительный страх не мешал ему торопливо записывать на ходу свои впечатления от преисподней: «Начинается спуск… Ощущение, словно все оседает, стекает вниз, потому что предметы быстро пропадают из виду. Потом, как только вы оказываетесь в темноте, больше ничего. Поднимаемся ли мы, опускаемся ли?.. На определенной глубине начинается дождь, поначалу слабый, затем он усиливается… Сворачиваем в штрек… Поначалу каменная кладка, штрек довольно узкий… Между деревянными опорами пластины сланца отслаиваются… Пересекающиеся рельсы, о которые спотыкаешься… Внезапно

слышится отдаленный стук колес, это прибывает состав вагонеток. Если штольня прямая, вдали виднеется огонек лампы, красная звездочка в дымной мгле. Шум приближается, можно смутно различить очертания белой лошади, которая тянет вагонетки. На первой из них сидит ребенок, он правит… И вот мы наконец в глубине откаточного штрека… По мере того, как рабочие вгрызаются в уголь, они возводят деревянную крепь, оставляя ее за собой… Штрек углубляют забойщики, которые вырубают уголь из жилы… рабочий ложится на бок и бьет жилу наискось. Я видел одного совершенно голого, кожа у него была покрыта черной пылью. Глаза и зубы белые. Когда они смеются – это негры».

Впечатлений от шахты у Золя было так много, они были такие яркие, что писатель боялся утонуть в этом изобилии. Трудность заключалась в том, чтобы не превратить «Жерминаль» в красочный репортаж, а для этого следовало ввести туда четко очерченных персонажей, простые и сильные мысли, крепкую интригу. В поисках атмосферы места действия, желая ощутить атмосферу нового для него края всеми собственными пятью чувствами и как можно лучше узнать обычаи жителей, Золя навещал чистенькие домики в шахтерских поселках, разговаривал с врачами о профессиональных заболеваниях, расспрашивал о том, как добывают уголь, сколько платят за работу, чем опасен рудничный газ, как работяги проводят свободное время на поверхности… Пил вместе с шахтерами в кабачках пиво и можжевеловую водку. И, познакомившись с ними поближе, решил, что героем его книги станет не один человек, героем станет толпа людей, занятых этой *кротовой* работой, которая их убивает. А рядом с ними он выведет людей, обитающих на более высокой ступеньке общества: инженеров, акционеров, владельцев угольной шахты. Нет, Золя не собирался обвинять во всех бедах этих немногочисленных счастливцев в белых воротничках. С его точки зрения, они всего лишь применяли общее правило жизни и осуждать следовало не их, а современную капиталистическую систему. Романист чувствовал, что чем более беспристрастным он проявит себя, создавая эту картину, тем больше у него шансов будет разжалобить читателя участью сотен людей, осужденных на муки, тяжко и за гроши работающих в темных шахтах.

Проведя неделю в Анзене, Золя вернулся в Медан с ощущением, будто у него самого долгие годы шахтерского труда за спиной. Он обладал редкостной зрительной памятью. Ему достаточно было, сидя за письменным столом, прикрыть глаза, чтобы увидеть мысленным взором почерневшие лица, тряско движущиеся по рельсам вагонетки, штормовые лампы, огоньки

которых мерцали среди темного и душного тумана… Папка с надписью «Жерминаль» понемногу распухала, пополняясь все новыми подробностями: тут были теперь и выписки из книг, и записи полезных разговоров, и заметки о митинге Рабочей партии Парижского региона, куда он отправился вместе с Полем Алексисом. На митинге выступали пылкие Жюль Гед и Поль Лафарг, а также делегат анзенских забастовщиков. Золя вслушивался в их речи с вниманием истинного борца за народное дело и всей душой был с ними, вместе с тем желая сохранить нейтралитет. Голова у него была уже так переполнена, что казалось, вот-вот лопнет. Наконец 2 апреля 1884 года он пишет первые слова «Жерминаля», этого «чертова романа», по его собственному выражению. «Боюсь, мне придется с ним изрядно помучиться, – признается он Антуану Гийеме. – Но куда денешься? Надо возделывать свое поле».[156]

Сюжет с каждым днем все больше вдохновлял автора. Он писал радостно и легко. В мае первая часть книги была закончена, в июле – дописана вторая часть. Только бы здоровье не подвело! Золя весит почти центнер, дышит с трудом и опасается, что у него диабет. Александрина тоже нездорова, страдает приступами астмы. В августе они вдвоем уезжают в Мон-Дор. Добравшись поездом в Клермон-Ферран, они пересаживаются в экипаж, чтобы проехать по крутым дорогам еще сорок семь километров до курорта. В пути их застает гроза со вспышками молний и градом. Лошади останавливаются.

В Мон-Доре панорама, открывающаяся с возвышенности Санси, разочаровала путешественников. Золя увидел в ней всего лишь ряд «круглых бугров». Гостиничная жизнь выбила его из колеи, необходимость выполнять требования врача раздражала. Тем не менее он аккуратно принимал паровые ванны и очень рассчитывал на то, что благодаря пешим прогулкам его живот растает. По вечерам Эмиль болтал с постояльцами курортного заведения, в том числе – Севериной и Валлесом, которые тоже проходили курс лечения. Валлес, с его растерянным, блуждающим взглядом, выглядел едва живым. Да и вообще все эти усердно лечившиеся больные производили на Эмиля тягостное впечатление, казались ему провозвестниками его собственной кончины. Зато он признавал, что Александрине ингаляции и ванны идут явно на пользу. Убедившись в том, что ей стало лучше, он уговорил жену совершить прогулку верхом в Санси. Ни она, ни он сам прежде никогда не садились в седло. Вместе с нашими наездниками поехал парижский врач Мажито. Впереди ехал проводник. Лошади были никудышные, жалкие клячи в чиненой упряжи. Проводник оказался глухим. Всадники

перебрались через Дордонь с ее быстрыми водами, а у Змеиного водопада кляча под Александриной вдруг припустила рысью по крутому склону. Перепуганная всадница закричала и, выпустив из рук вожжи, свалилась на землю головой вниз, не сумев выпростать ногу из стремени. Золя торопливо спешился и быстро, как только мог при его тучности, бросился на помощь жене. Вместе с проводником и доктором Мажито он освободил ее, всю в синяках, но после этого путешественники наотрез отказались продолжать путь на лошадях и прошли пешком пять километров, отделявших их от Мон-Дора.

Золя нелестно отозвался об окружавшем его пейзаже. «Надо вам сказать, – писал он Анри Сеару, – что у меня по-прежнему из головы не выходят мои драгоценные южные горы, и всей пышной зелени и всего цветения этого овернского края недостаточно для того, чтобы меня растрогать. Эти бугры мне кажутся нелепыми, а весь ужас их Чертовой Долины и их ущелья Шодфур представляется мне безобразной пасторалью, стоит только припомнить кое-какие тамошние уголки».[157]

Истина заключалась в том, что писателю надоело лечение, опротивел отдых, не терпелось вернуться в свой кабинет. Ему так хотелось засесть за работу, что сосало под ложечкой.

Вернувшись в Медан, Золя снова с наслаждением погрузился в труд каторжника, влюбленного в свои цепи. Книга набрала новый разбег и устремилась дальше. «Жерминаль» – прежде всего история восстания Труда против Капитала. Герой романа, Этьен Лантье, нанимается в бригаду забойщиков и очень скоро, возмущенный нечеловеческими условиями, в которых трудятся шахтеры, организует митинги протеста, создает кассу взаимопомощи, подготавливает забастовку, которая закончится неудачей после двух с половиной месяцев борьбы, но будет способствовать пробуждению в рабочих чувства сплоченности в беде и осознанию справедливости их требований. Сквозь эту эпопею вьется любовная интрига. Все вместе оставляет у читателя тревожащее чувство, у него создается впечатление, будто он ощупью пробирается по беспросветно темному лабиринту, где человеческой плоти противопоставлен камень, а невзгодам шахтеров – эгоизм имущих.

Гюго, изобразив в «Отверженных» бунт безрассудной молодежи, вышедшей в июне 1832 года на баррикады, окрасил эту картину в романтические тона. Шахтеры из «Жерминаля», в отличие от них, интеллектуалов, сражающихся за идеи, повинуются животному инстинкту, заставляющему их требовать большего уважения к себе и большей справедливости. Жены и дети подталкивают их в спины, и они беспорядочной толпой

неотвратимо движутся к тому, что представляется им светом. Золя великолепно передает своим топорным стилем это упрямое продвижение вперед. Тяжелый, неуклюжий слог, перегружающие текст повторы придают ему странную силу заклинания. В резких, хлестких описаниях жизнь вспыхивает намного ярче, чем в отделанной, «зализанной» прозе. Кажется, чем хуже автор пишет, тем сильнее воздействует на читателя. Закончив «Жерминаль», Золя скажет Сеару: «У меня гипертрофия верной детали, я лечу к звездам, оттолкнувшись от трамплина точного наблюдения. Правда мгновенно возвышается до символа».[158]

Двадцать третьего января 1885 года Эмиль дописывает заключительные фразы романа: «Высоко в небе во всей славе своих лучей сияло апрельское солнце, изливая тепло на землю-роженицу. Из ее материнского лона ключом била жизнь; почки развертывались в зеленые листья, поля трепетали от роста трав. Повсюду набухали семена, тянулись ростки, пробиваясь на поверхность равнины, охваченной жаждой тепла и света. Изобильный сок струился, будто шепот голосов, шорох стеблей сливался в одном долгом поцелуе. И снова, снова все ясней и отчетливей, словно приближаясь кверху, раздавались удары рабочего кайла. В пламенных солнечных лучах, юным утром, земля вынашивала в себе этот шум. На ниве медленно росли всходы, грозная черная рать созревала для будущей жатвы, и посев этот скоро должен был пробить толщу земли».[159] Перечитывая написанное, автор испытывает удовлетворение от благополучно завершенного труда. «Я в восторге! – пишет он Шарпантье, посылая ему две последних главы. – Ах, до чего же мне необходимо сейчас чуть-чуть полениться!»[160] Однако по размышлении он перестает верить в то, что история чумазых шахтеров, поглощаемых угольным Минотавром, может увлечь широкого читателя.

Тем не менее «социальная тема» оказалась созвучной времени. 16 февраля 1885 года хоронили Жюля Валлеса. За гробом шли Рошфор, Жюль Гед, Клемансо, а позади них – многотысячная толпа рабочих, горланившая «Интернационал», к величайшему ужасу теснившихся на тротуарах обывателей. А три месяца спустя вся Франция оплакивала кончину Гюго, певца Отверженных. Вид его «убогих дрог»[161] до слез трогал добрые души. Сначала гроб был установлен на огромном катафалке под Триумфальной аркой, затем, в сопровождении длинной процессии, в которой бок о бок шли парижские пожарные, члены масонских лож, представители Лиги патриотов, гимнастического общества «Реванш» и Общества литераторов, двинулся к Пантеону. Сотни тысяч мужчин и женщин, выстроившихся на

всем пути траурного кортежа, с трудом сдерживали рыдания. Золя присутствовал на этих национальных похоронах. Несмотря на то что Эмиль с некоторых пор публично отрицал значительность творений старого поэта, он считал себя обязанным в память о прежнем поклонении воздать последние почести божеству своей юности. «Виктор Гюго был моей молодостью, – писал Золя Жоржу Гюго, внуку покойного. – Я помню о том, чем ему обязан. В такой день нет больше места для споров, все руки должны соединиться, все французские писатели должны встать, чтобы почтить Учителя и утвердить абсолютное торжество литературного гения».[162] Правду сказать, «среди своих» он проявлял куда меньше восторженности. В кругу друзей, собравшихся у Гонкура, например, удовольствовался тем, что пробормотал: «Я думал, он нас всех переживет, да, я в это верил». После чего, как записал в своем «Дневнике» Гонкур, «принялся расхаживать по мастерской с таким видом, как будто эта смерть принесла ему облегчение и как будто ему предстоит унаследовать литературный папский престол».[163]

Как только «Жерминаль» был напечатан с продолжением в «Жиль Блазе», страсти разгорелись. Критики разделились: одни снова принялись обличать «пристрастие к отбросам», другие воспевали смелость этого честного описания мира тружеников, третьи упрекали автора в том, что он сделал своими персонажами лишь злобных и полных ненависти рабочих, тогда как следовало заставить читателя им сочувствовать. Жюль Леметр обвинил Золя в том, что тот написал «пессимистическую эпопею животного начала в человеке». Октав Мирбо, объявив собрата по перу гением, заклинал его все-таки «отказаться от грубых слов» и оставить «эти старомодные приемы» второстепенным натуралистам, «которые всю свою жизнь будут копаться в навозе». На читателей же книга подействовала подобно удару бича, открыв им глаза на страдания народа. Некоторые из них удивлялись тому, что подобное убожество может существовать во Франции в XIX веке. Когда люди читали полные горечи страницы, им казалось, будто они оказались в незнакомой стране.

«Четверо забойщиков разместились один над другим во всю вышину забоя. Их отделяли друг от друга доски с крюками, на которых задерживался отбитый уголь. Каждый забойщик работал на участке около четырех метров длиною, а пласт в том месте был очень тонкий – не более полуметра толщиной, так что углекопы, сплющенные между сводом и стеной, вынуждены были ползти на коленях, упираясь локтями; им нельзя было повернуться, они ушибли бы плечи. Уголь приходилось откалывать, лежа на боку, вытянув шею и, подняв руки, взмахивать наискось киркой с

короткой рукоятью.

Внизу находился Захария, над ним Лэвак, выше Шаваль, а на самом верху – Маэ. Они пробивали борозды в шиферном слое, затем делали две вертикальные подсечки в самом пласту и ломом откалывали верхнюю часть глыбы. Уголь был мягкий, глыба разбивалась и кусками скатывалась по животу и бедрам рудокопа. Когда куски угля, падая на доску, скапливались там, забойщики оказывались словно замурованными в узкой щели.

Хуже всех доставалось Маэ. Температура наверху доходила до тридцати пяти градусов, не было никакой тяги, удушливый воздух становился невыносимым. Чтобы виднее было в темноте, Маэ повесил свою лампочку на гвоздь над самой головой, и от огня, припекавшего затылок, казалось, вскипала в жилах кровь. Но больше всего мучила старого забойщика рудничная сырость. В нескольких сантиметрах от его лица просачивалась грунтовая вода, все время быстро и монотонно падая крупными каплями на одно и то же место. Как он ни вертел шеей, как ни откидывал назад голову, вода капала беспрерывно и, плюхая, заливала ему лицо. Через четверть часа Маэ весь вымок и вспотел, от него шел горячий пар, как от белья во время стирки. В то утро капля упорно попадала ему в глаз, он даже выругался. Маэ все же не хотел прерывать работу и так сильно взмахивал кайлом, что все тело его сотрясалось; он лежал между двумя пластами породы, словно тля между страницами книги, и казалось, что его вот-вот задавит».[164]

«Жерминаль», хотя и не дотянул до успеха «Западни», все же хорошо продавался. Золя пробуждал в других совесть. Отвечая на вопрос журналиста из «Утра» («Matin»), писатель поделился с ним заветной мыслью: «Пусть меня обвинят в том, что я социалист, но, когда я узнал о бедственном положении шахтеров, меня охватила огромная жалость. Моя книга – это творение жалости, ничего кроме этого, и, если кто-нибудь, кто станет ее читать, испытает то же чувство, я буду счастлив, цель моя будет достигнута… Сейчас готовится великое социальное движение, появилось стремление к справедливости, с которым следует считаться, не то все старое общество будет сметено. Однако я не думаю, что это движение начнется во Франции, у нас слишком вялая порода. И именно потому в моем романе я для воплощения воинствующего социализма выбрал русского.[165] Удалось ли мне показать в моем романе стремление отверженных к справедливости? Не знаю. Но я хотел объяснить и то, что обыватель сам по себе не виноват. Вся ответственность лежит на сообществе людей».[166]

Тот, кто плохо знал исключительную работоспособность Золя, мог бы подумать, будто его совершенно истощили усилия,

которые он прилагал, чтобы довести до конца работу над «Жерминалем». А на самом деле он, едва закончив отвечать на письма друзей, полные восторгов по адресу его последнего романа, уже намеревался приступить к следующей книге. «Я действительно очень устал и измучился с „Жерминалем“, – заявил он корреспонденту одного португальского издания. – Вот почему я хочу теперь написать роман в полутонах, роман, не требующий больших усилий… Я выбрал для него название „Творчество“, но это название не окончательное, потому что оно не слишком удачное».

Писатель начинает собирать материал для новой истории, которая должна разворачиваться в среде художников. Гонкур, посвященный в его планы, злобно над ним насмехается: «Золя в уголке вытаскивает из Франца Журдена[167] сведения для своей будущей книги о художниках. Я посмеиваюсь в бороду над его потугами написать новую „Манетт Саломон“.[168] Для человека, совершенно чуждого искусству, попытка сочинить целую книгу об искусстве опасна. Гюисманс также заранее настроен иронически по отношению к этой книге. Недавно он говорил Роберу Казу,[169] потирая руки: „Поглядим, что у него получится!“».[170]

Одержимый очередной своей навязчивой идеей, Золя воображал, будто весь мир с нетерпением дожидается очередного творения меданского сочинителя. Разве мог он догадаться о том, что среди множества людей, называющих себя его друзьями, так мало искренних и чистосердечных? Слишком уж он преуспевал для того, чтобы менее удачливые собратья по перу его любили. Даже за границей из всех французских писателей его больше всего читали, им больше всего восхищались. В России, в Италии, в Германии, в Австрии, в Голландии, в Англии, в Испании, в Португалии Золя воспринимали как главу целого направления. Его натурализм не ведает границ. Окружавшая Эмиля глухая зависть стала возмездием за его растущую славу и расплатой за то, что деньги текли к нему рекой.

XVII. Зашифрованный роман

На этот раз Золя, когда он задумал свой роман, не надо было искать сведения в библиотеках и расспрашивать знатоков. Все, в чем он нуждался для того, чтобы написать «Творчество», можно было найти, обратившись к собственным воспоминаниям. Он ведь знал стольких художников, он побывал в стольких мастерских, он неистовствовал на стольких выставках, выслушал столько соображений по поводу современной живописи и скульптуры, что чувствовал себя достаточно подкованным в этой области. Даже картины детства и юности станут чувственными ингредиентами при создании этой книги. Вот так, в возрасте сорока пяти лет, он станет питать собственным прошлым на первый взгляд вымышленную историю.

Эмиль предпочел бы начать писать эту книгу в Медане, но ему пришлось задержаться в Париже, где Александрина лечилась от ревматических болей. Что ж, ничего не поделаешь, он больше не может ждать!

Двенадцатого мая 1885 года писатель отпустил свое воображение на волю и в течение полутора месяцев усердно исписывал страницу за страницей. Тридцатого июня он вернулся в свой загородный дом, и там на его долю выпала радость: приехал погостить Поль Сезанн. Само небо послало старого друга, который поможет ему освежить память! Лысый и разочарованный, но снова влюбленный Сезанн жалуется на свои неудачи. Он изменяет жене, он сбился с пути в живописи. Непризнанный, всеми презираемый, он тоже завидует невероятному успеху Золя и в глубине души не понимает, почему Золя так обласкан читателями. Но ведь и Эмиль точно так же не может оценить таланта этого неистового художника, вдохновенно пачкающего холсты! Вдвоем они вспоминают ясные дни в Эксе, изголодавшуюся парижскую богему, все то, что еще объединяет их, несмотря на различие в нынешнем положении. Сезанна нисколько не смущает замысел друга написать роман из жизни художников, и его угрюмое равнодушие побуждает Золя вложить в своего героя, Клода Лантье, многое от Сезанна. К этому он прибавляет некоторые черты Мане и кое-что от себя самого…

«Одним словом, я расскажу в романе о своей внутренней творческой жизни, – записывает Золя в своих бумагах, – об этом непрерывном и мучительном воплощении, но я расширю сюжет драмой вечно недовольного собой Клода, который приходит в отчаяние от того, что его талант не может воплотиться, и в конце концов убивает себя перед своим неосуществленным творением».

Желая как можно подробнее определить, что именно из собственной жизни он позаимствует для того, чтобы вдохнуть жизнь в своих персонажей, Эмиль записывает еще: «Моя юность в коллеже и в полях – Байль, Сезанн. Все воспоминания о коллеже: друзья, преподаватели, бойкот, дружба втроем. Вне стен коллежа: охота, купание, прогулки, чтение, семьи друзей. Новые друзья в Париже. Коллеж. Приезд Байля и Сезанна. Наши встречи по четвергам. Завоевание Парижа, прогулки. Музеи. Различные квартиры… Мастерские Сезанна». Еще одна запись: «Борьба женщины против творчества, рождение произведения против рождения настоящей плоти. Целая группа художников». «Творчество», напитанное его собственной кровью, думал он, станет наиболее личным из его романов. Единственным, который будет привязан к нему всеми нитями его прошлого. Разумеется, он предстанет в нем загримированным, но те, кто знает Эмиля, легко его разоблачат.

Когда работа над книгой была еще в полном разгаре, но ни одна строчка «Творчества» еще не была напечатана даже в газете, журналист из «Фигаро», скрывшийся под псевдонимом «Паризис», [171] заявил, что публикация этой книги рискует нарушить доброе согласие, установившееся между тремя группами писателей, которые объединились вокруг трех признанных мастеров того времени: Золя, Гонкура и Доде. «Никогда прежде, – пишет Паризис, – эти три вожака не вспахивали одно и то же поле, не подбирали колоски в одних и тех же бороздах. Это было словно бы негласным приказом, молчаливым соглашением. Однако приказ оказался нарушенным, соглашением пренебрегли: Золя решительно забрался на соседские грядки; действие „Творчества“ разворачивается в том самом мире художников, который был так мастерски исследован в „Манетт Саломон“ – лучшей, может быть, книге Гонкуров». И, подкрепляя это свое утверждение, Паризис приводит полное разочарования высказывание автора, ставшего жертвой плагиата.

Разозлившись, Золя написал сотруднику «Фигаро» Жозефу Гайда, что у его нового романа нет ничего общего с романом братьев де Гонкур: «„Творчество“ будет совсем не таким, как его объявили. Речь идет вовсе не о ряде картин, изображающих мир художников, не о коллекции гравюр и акварелей, развешанных рядами одна за другой. Речь идет просто-напросто об очень тщательном и полном страсти психологическом исследовании». Письмо было напечатано в «Фигаро» 25 июля. Прочитав подобное несколько презрительное суждение Золя о «Манетт Саломон», Гонкур вскипел: «Такие вещи позволяют издателям писать на задней обложке, – записывает он в своем „Дневнике“, – но самому

такое писать непозволительно, если ты не утратил всякий стыд. Давай-давай, мой исполин Золя, исследуй попросту психологию пары вроде Кориолиса и Манетт!»[172] Гонкур растревожил и Доде, и тот, со своей стороны, в письме указал Золя на несправедливость его мнения о «Манетт Саломон», посоветовав обратиться с дружескими словами к раздражительному собрату по перу. Но Золя уперся. «Должен признаться, что Гонкур с его болезненной манией ловить вора начинает раздражать меня, – ответил он. – Он давно уже кричит на каждом углу, что я краду у него идеи. „Западня“ – это „Жермини Ласерте“. „Проступок аббата Муре“ я украл из „Мадам Жервезе“. И разве совсем недавно – да вы ведь и сами оказались замешаны в эту историю! – не заявил он, что я написал целый кусок „Радости жизни“ после того, как прослушал главу из „Милочки“? На этот раз мне пришлось поспорить, и он в конце концов признался, что никогда не читал мне главы, о которой шла речь. И вот теперь, еще до того, как „Творчество“ напечатано, опять начинаются все те же шутки. Нет-нет, мой добрый друг, я человек покладистый, но с меня хватит!.. Вы просите меня написать письмо, чтобы наладить отношения. Прежде всего, я очень надеюсь на то, что ничего не разладилось. И потом, я и в самом деле не понимаю, о чем ему писать. Извиняться? Но в чем? Я бы предпочел, чтобы вы показали Гонкуру вот это самое письмо, если оно вам понравится, потому что таким образом он, по крайней мере, узнает правду. Скажите откровенно, раз уж вы упомянули о письме, разве не кажется вам, что это Гонкуру следовало написать мне на следующий же день после того, как появилась злополучная статья?»[173]

Письмо это не было отправлено: пока Золя собирался послать эти язвительные строки, он успел получить от Гонкура примирительную записку. Опомнившись, отложил в сторону написанное в порыве гнева послание и отправил Доде другое, благоразумно сбавив тон: «Мой добрый друг, я получил письмо от Гонкура, я ему ответил, так что вся эта глупая история забыта. Но, по правде сказать, статья в „Фигаро“ ранила меня в самое сердце. Можете ли вы представить себе, что я, собравшись с утра сесть за работу, это читал? Я оказался предателем, со мной разрывают отношения, и Гонкур хватает меня за руку, потому что я посмел заглянуть в мир художников… Случившееся должно послужить нам уроком… Как вы говорили, сомкнем ряды, не дадим нас тронуть».[174]

Несмотря на то что перемирие было заключено очень скоро, эта история оставила у Золя глубокую душевную рану. Ему трудно было вернуться к работе над «Творчеством». И тут

подвернулся случай отвлечься. Золя решил принять активное участие в затеянном Бюзнахом перенесении на сцену «Жерминаля». Он сам напишет диалоги. Дело пошло быстро, и 6 августа Бюзнах уже слушал первые семь картин драмы. Остальные пять Золя написал в Мон-Доре, где они с Александриной снова проходили курс лечения с 9 августа по 3 сентября. Единственное, что несколько тревожило Бюзнаха, – вопрос о том, пропустит ли цензура ту сцену, где забастовщики выступают против жандармов. Его опасения оказались не напрасными. Прислушавшись к мнению комиссии из четырех чиновников, министр народного просвещения Рене Гобле, при поддержке Совета министров, решил запретить представления «Жерминаля». Золя был вне себя от ярости. В письме к Франсису Маньяру, главному редактору «Фигаро», он обвинил Рене Гобле в том, что последний хотел тем самым «дать неплохую гарантию реакции». Вся левая пресса выступила на стороне автора, ставшего жертвой пристрастной цензуры. Отказавшись склониться перед властью, Золя решил представить дело на рассмотрение парламента. Жорж Клемансо, лидер радикальной группы, давал ему советы, помогая выбрать наилучшую стратегию. Депутат Жорж Лагерр предложил бюджетной комиссии внести поправку, заключавшуюся в том, чтобы снять с содержания служащих, занятых театральной цензурой. Поправка была принята, но палата проголосовала за сохранение цензуры. Золя поприсутствовал на заседании, затем, вернувшись домой, написал резкую статью для «Фигаро». В ней он обличал умеренность политиков и трусость некоторых драматических авторов, в том числе Мейлака, Галеви, Сарду, Ожье и Дюма-сына, не захотевших поддержать его в битве: «Теперь эта история закончилась. Вы захотели цензуры, собратья, – берегите ее… А я буду совершенно спокойно ждать, потому что упрямо верю, что вы будете от нее избавлены помимо вашей воли. Когда? Не знаю. Если этого не сделает следующее министерство, значит, сделает какое-нибудь другое. Каким образом? Я и тут не могу сказать, будет ли это проект закона или простой росчерк пера в бюджете. Существуют вопросы, которым надо вызревать, прокладывать себе путь под землей. В один прекрасный день цензуру упразднят, и тогда всем станет стыдно, и они начнут удивляться тому, что негодяйку не придушили раньше».

Несмотря на то что безуспешная борьба с цензурой крайне его раздражала, Золя вернулся к работе над своим романом. Даже не дождавшись, пока «Творчество» будет дописано, «Жиль Блаз» начал его печатать с продолжением: первый выпуск появился 23 декабря 1885 года. Газетная публикация подстегивала Золя,

заставляла его торопиться, и писателю пришлось ускорить темп ежедневной работы. Шесть первых глав были написаны за шесть месяцев, остальные шесть он сочинил за срок вдвое меньший. И ему еще приходилось править гранки, предназначенные для переводчиков, которые наступали со всех сторон. Последняя точка была поставлена 23 февраля 1886 года, и Золя, измученный и торжествующий, написал Сеару: «Только сегодня утром я закончил „Творчество“. Этот роман, куда выплеснулись мои воспоминания и мое сердце, оказался неожиданно длинным. Он займет от семидесяти пяти до восьмидесяти выпусков „Жиль Блаза“. Но я от него избавился и совершенно счастлив, к тому же очень доволен финалом».

Другом детства художника Клода Лантье, главного героя «Творчества», в романе стал романист Сандоз, которому Золя подарил свои мысли, свои пристрастия и даже свою внешность. Вокруг них группируются товарищи, все они художники и все в большей или меньше степени списаны с близких знакомых автора: Байля, Алексиса, Солари, Гийеме, Писсарро, Моне… Что касается Клода Лантье (соединившего в себе черты Сезанна и Мане), то он послужил воплощением страданий сомневающегося в себе творца. Его подтачивает наследственный порок, доставшийся от матери Жервезы, и он теряет надежду на то, что когда-нибудь сможет разродиться гениальным творением, которое в себе носит. Поиски возвышенного стиля приведут его к безумию. Из-за метаний между кружащим голову честолюбием и страхом бессилия он отдаляется от жены Кристины и замыкается в искусстве. Он хочет сохранить свою мужскую силу в неприкосновенности для того, чтобы питать ею картины. И в конце концов он повесится рядом с огромным незавершенным полотном…

Лакомые до скандалов читатели убедили себя в том, что перед ними зашифрованный роман, в котором говорится о распутных нравах мазилок и о непотребствах импрессионизма. Каждый старался угадать, кто послужил прототипом для главного героя романа. Поскольку Сезанн оставался совершенно неизвестным для своих современников, из уст в уста передавалось лишь одно имя – Эдуара Мане, наиболее прославленного из импрессионистов и только что умершего. Никаких сомнений: Золя вдохновлялся именно им, создавая образ своего художника-неудачника! Но как же он посмел написать такую святотатственную книгу, как посмел измышлять, попирая труп друга? Даже Ван Гог, хорошо знавший импрессионистов, поверил в наличие этого странного родства. Что касается Ренуара – тот высказал сожаление в адрес Золя: «Какую прекрасную книгу

он мог бы написать, книгу, которая стала бы не только историческим воссозданием весьма оригинального направления в искусстве, но была бы также и „человеческим документом“, – если бы в своем „Творчестве“ он дал себе труд попросту рассказать обо всем, что видел и слышал в наших мастерских!»[175] А Клод Моне написал Эмилю: «Вы намеренно позаботились о том, чтобы ни один из ваших персонажей не был похож на кого-то из нас, но, несмотря на это, боюсь, как бы наши враги из числа как газетчиков, так и читателей не произнесли имени Мане или, по крайней мере, наших имен, желая объявить нас неудачниками, чего у вас и в мыслях не было, я не мог бы в такое поверить».[176] И так все – вплоть до Гийеме, ярого почитателя Золя, который, не удержавшись, пожаловался: «В общем, книга весьма увлекательная, но и весьма удручающая. Все ее персонажи пали духом, плохо действуют, плохо думают. Люди, наделенные талантом, равно как и неудачники, неизменно кончают тем, что проваливают свою работу… О Господи, хоть бы стайка, как выражается госпожа Золя, не захотела узнать себя в ваших героях, совершенно неинтересных, поскольку они, ко всему прочему, еще и злы».[177]

Опасения Гийеме насчет членов «стайки» ошеломили Золя. Ему и в голову не могло прийти, что, рассказывая о своих друзьях под вымышленными именами, откровенно говоря об их достоинствах и недостатках, он бросит на них тень, возбудит в ком-то подозрения. Получается, что художники не менее щепетильны в вопросах «чести», чем обыватели! Какое горькое разочарование он испытал!

С особенным страхом Эмиль ожидал теперь реакции главного заинтересованного лица – Сезанна. Что верно, то верно: Золя очень невысоко ценил живопись друга, считал его неспособным провести хотя бы одну прямую линию, жалел его и даже слегка презирал. И, посылая другу юности изданное книгой «Творчество», невольно испытывал смутное раскаяние. Сезанн откликнулся на подарок 4 апреля 1886 года лаконичной запиской: «Дорогой Эмиль, я только что получил „Творчество“, которое ты любезно мне прислал. Благодарю автора „Ругон-Маккаров“ за это свидетельство памяти и прошу у него позволения пожать ему руку, думая о давних годах. Всецело твой под впечатлением о минувших временах».

Золя несколько раз перечитал записку, и его словно окатили ледяной водой. Какой холодный, официальный тон избрал Сезанн для того, чтобы поблагодарить «автора „Ругон-Маккаров“»! Сомнений не оставалось: гордость Сезанна жестоко уязвлена. Великая дружба умерла. Однако Золя не чувствовал себя

виноватым. В его глазах искусство оправдывало все. Он готов был пожертвовать чем угодно ради того, чтобы вскормить собственной кровью и плотью книгу, написать которую ему представлялось необходимым. Убедившись в том, что Сезанн почувствовал себя оскорбленным из-за такой малости, да просто – без всяких оснований, Эмиль пришел в такую ярость, что даже не попытался восстановить отношения с другом.

Гонкур, еще более подозрительный и обидчивый, чем большинство художников-импрессионистов, буквально набросился на «Творчество», стремясь обнаружить в нем явный плагиат, после чего записал в своем «Дневнике»: «Дочитав этот пересыпанный ругательствами отрывок, откладываешь роман с тем же ощущением унылого отвращения, какое остается, если нечаянно случится присутствовать при сцене, разыгравшейся между подлыми и грязными людьми. Эта особенность вообще присуща Золя, его диалоги всегда произносят чернорабочие, а не художники. Речь художника может быть уснащена ругательствами, может быть вульгарной, но под руганью и под вульгарностью выражений в ней всегда остается нечто такое, что ее отличает, что ее отделяет, что ее возвышает над языком плотников, а в „Творчестве“ все время говорят плотники».[178]

Несколько недель спустя тот же Гонкур, раздраженный хвалебной статьей Жиля о романе Золя в «Фигаро», снова нападает на ненавистную ему книгу: «Хорошо построенный *старомодный* роман, роман, состряпанный заурядным изготовителем… Мне нравится встречаться в книгах Золя с ним самим, по крайней мере, эту человеческую особь он изучил, – а он, похоже, знал в своей жизни очень мало людей, как мужчин, так и женщин! Но увидеть, что в одном и том же романе он слепил из собственной личности двух человек, Сандоза и Клода, это и правда чересчур. Вскоре, по примеру Гюго, все персонажи книг Золя превратятся в одних Золя, и я не поручусь, что после этого он не проберется и в своих героинь… Разве в своей книге он вывел художников? Это плотники, оцинковщики, канализационные рабочие… Что же касается революционных идей Золя в искусстве, это везде явное пережевывание речей и *блестящих пассажей* Шассаньоля[179] и прочих. И повсюду, больше чем где-либо еще, едва переделанная *копия*… Но черт возьми! До чего же он продувная бестия, мой Золя, и он кое-что знает о том, как извлечь выгоду из того, что он у меня стянул… В сущности, Золя в литературе только и умеет, что подбивать новые подметки, и теперь, когда он закончил переписывать „Манетт Саломон“, он готовится написать заново „Крестьян“ Бальзака».[180]

Пять дней спустя, ужиная вместе с четой Золя у Доде, Гонкур о «Творчестве» отзывался в целом одобрительно, но все же с некоторыми оговорками, от которых писатель мучительно замирал на своем стуле. Когда гости поднялись из-за стола, спор между двумя собратьями по перу о преобладании духа над силой сделался таким ожесточенным, что Александрина пронзительным голосом зачастила: «Если вы не прекратите, я сейчас начну плакать… Если вы не прекратите, я сейчас уйду!» Гонкур возмутился: «У этого человека, живущего в уединении и поддерживающего отношения лишь со слугами его славы, и впрямь начинается мания величия; автор не может вытерпеть ни единого упрека, ни единого замечания, ни малейшего неодобрения».[181] Вывод крайне несправедливый, потому что за свою долгую карьеру Золя пришлось получить немало упреков и замечаний, и он всегда мужественно их терпел. Впрочем, газеты на этот раз были скорее благосклонны к нему, хотя и упрекали автора за его унылое и наводящее тоску изображение мира художников.

От нападок прессы и зависти так называемых друзей Золя защищала новая работа, к которой он уже успел приступить. Как злобно отметил Гонкур, он, едва выскочив из «Творчества», действительно начал писать роман, действие которого разворачивалось в крестьянской середе. Название романа – «Земля».

Конечно, в Медане писателю приходилось сталкиваться с проблемами сельской жизни, но этого ему, как всегда, оказалось недостаточно, и он в сопровождении Александрины отправился на шесть дней в Бос (кантон Клуа). Разъезжая по окрестностям в экипаже, он пытался отождествить себя с этими землепашцами, подобно тому как прежде, когда писал «Жерминаль», старался отождествить себя с теми, кто трудился под землей. Началась обычная охота за подлинными деталями. Эмиль жадно записывает: «Утром, в хорошую погоду, фермы и деревни голубоватые… Из-за пригорков выныривают колокольни. Очень белые дороги без деревьев среди зеленых полей – гладкие, прямые, бесконечные, и телеграфные столбы… Вспаханная земля желтая, жирная, глинистая, уходящая вглубь. На фоне неба вырисовываются огромные медленные волны, напоминающие морские в слегка неспокойную погоду… Шатоден, город, рынок… Мужчины в серых или, скорее, черных суконных штанах, в черных суконных фуражках или черных фетровых шляпах, в очень простых темно-синих блузах… Различие оттенков синего от стирки… На всех женщинах маленькие белые чепчики, черные кофточки, нередко с бархатной отделкой, серые или темно-синие

юбки, большие синие передники». Собирая материал, Золя изучает фермы, подсчитывает работников (два молотильщика цепами, трое возчиков, один пастух, один свинопас, два скотника, служанка), расспрашивает фермершу, просит объяснить ему, как работает паровая молотилка. Записывает, что скотники спят в хлеву, остальные в конюшне. Вскоре он уже знает все и о деревенской жизни, и о полевых работах. Теперь ему советуют навестить Жюля Геда, который способен приобщить его к социальным вопросам, и он обедает со старым доктринером, который объяснил ему, что революция 89-го года одурачила крестьян.

Помогает и общение с друзьями. Во время разговора с Габриэлем Тьебо Золя нацарапал у себя в блокноте: «Земля всегда остается землей. Всегда придется возвращаться к тому, что мы едим. Неважно, кому она будет принадлежать. Крестьянин легко мирится, принимает все, любой режим, пока он сыт, и начинает сердиться, как только невзгоды делаются слишком тяжелыми. Равнодушная земля кормит этих насекомых».

Общая идея романа, как писатель изложил ее в «набросках», – это ненасытная страсть земледельца к земле, порождающая в нем алчность, жестокость, цинизм. «Я хочу создать живую поэму земли, – пишет он, – но по-человечески, без символов. Под этим я понимаю, что хочу для начала, в самом низу, изобразить любовь крестьянина к земле, любовь непосредственную, жажду обладания как можно большим куском земли, страстное желание иметь земли много, потому что в глазах крестьянина она выглядит богатством; затем, возвышаясь, идет любовь к земле-кормилице, к земле, от которой мы получаем все, наше существование, нашу пищу, нашу жизнь, и в которую мы в конце концов вернемся».

Героиня новой книги Эмиля, разумеется, земля. Мелочным человеческим спорам, которые проходят по ее поверхности, лишь задевая и царапая ее, она противопоставляет свое вечное равнодушие и плодородие. Именно ради обладания землей дети четы Фуан ссорятся, воруют, убивают, не испытывая раскаяния, а вокруг них тем временем продолжают пахать, сеять, жать, молотить. Как и в других романах Золя, ярость здесь выплескивается с каждой страницы. Любовь к возделываемой земле соединяется с плотской любовью. Кровосмешение, супружеская измена, присвоение наследства, отцеубийство, неотступное желание копить деньги и расширять владения – из всего этого варится пряная и обжигающая похлебка, от которой перехватывает дух.

На вопрос лондонского издателя Генри Визетелли, еще до

выхода книги купившего у него права на «Землю», Золя так изложил ее содержание: «„Земля“ станет исследованием французского крестьянина: его любовь к почве, его извечная борьба за обладание ею, его изнурительный труд, его недолговечные радости и великие бедствия… Будет предсказано даже его будущее, то есть та роль, которую он сможет играть в социалистической революции… Одним словом, я хочу сделать здесь для крестьянина то, что сделал в „Западне“ для парижского рабочего».[182]

Как всегда, романист готовится вытерпеть град оскорблений, которые неминуемо на него посыплются, как только книга будет напечатана с продолжением в «Жиль Блазе». «Меня обвинят в том, что я выдумал крестьянина, – пишет он журналисту Арсену Александру. – Это в порядке вещей, и я к этому готов. Поскольку мой крестьянин оказался не тем крестьянином, шовинистом и консерватором, каким его принято было считать, совершенно ясно, что я его выдумал».[183]

Несмотря на все опасения, Золя дал согласие на то, чтобы первые главы романа были помещены в газете, хотя ему оставалось написать еще восемь. И снова началась утомительная гонка, состязание в скорости с «Жиль Блазом», который «заглатывал по три сотни строк в день!»[184]

Ему приходилось «до двух часов ночи биться над фразами, чтобы заставить их говорить то, чего они, по его замыслу, не говорили».[185] И чего он добился?

Газеты уже набросились на книгу. Автора обвиняли в том, что он оскорбил французского крестьянина, низведя его до уровня скота. Октав Мирбо, неизменный поклонник Золя, находил, что «„Земля“ – плод сомнительного воображения». Анатоль Франс заявил, что видит в романе «георгики распутства» и что «господин Золя достоин глубокой жалости». Для Брюнетьера только что прочитанная книга стала «отвратительной рапсодией», и никогда еще автор, по его мнению, «так дерзко не подменял реальность непристойными или нелепыми видениями своего распаленного воображения».

Золя не обращал ни малейшего внимания на это тявканье. Он знал, что публика хотя и морщит нос, но читает роман с наслаждением. Кроме того, он чувствовал, что за ним выстроилась армия новых писателей, которых привлекает научный натурализм. Ни одной секунды Эмиль не думал, будто его книги, с их невероятными преувеличениями, противостоят строгой, скрупулезной истине, которую он возвел в догму, будто он велик не потому, что повинуется законам своей школы, но потому, что нарушает их, предпочитая точному отображению

реальности дантовский кошмар. Такое восприятие шло у писателя от величайшей наивности и маниакального упорства. Не имело никакого значения, что его творчество противоречит его теории, он не желает отказываться от своих менторских наставлений.

Но вот 18 августа, после обеда, меданский почтальон принес ему вместе с письмами парижские газеты. Золя открыл «Фигаро», и на глаза ему попалась статья, полная яростных нападок на «Землю» и на него самого. Первым делом он взглянул на подписи: Поль Боннетен, Жозеф-Анри Рони, Люсьен Декав, Поль Маргерит, Гюстав Гиш. Все – из тех молодых писателей, которым он помогал, когда они начинали. По мере того как Золя читал многословный пасквиль, его удивление перерастало сначала в гнев, потом в отвращение и наконец сменилось печалью. Глядя через запотевшее пенсне, он выхватывал из текста то одну, то другую ужасную фразу: «Еще недавно Эмиль Золя мог писать, не вызывая серьезных упреков, что вся литературная молодежь с ним… Однако на следующий же день после выхода в свет „Западни“… молодым стало казаться, что учитель, дав делу ход, тут же и отступил… В самом деле, Золя с каждым днем все больше отступал от своей программы. Невероятно ленивый, когда речь заходит о приобретении *личного* опыта, вооруженный никудышными документами, добытыми через третьих лиц, преисполненный выспренности в духе Гюго, тем более раздражающей, что он упорно проповедует простоту, бесконечно пережевывающий одно и то же, он приводит в замешательство и самых восторженных своих последователей… У каждого, на определенной странице „Ругонов“, появлялось четкое, непреодолимое ощущение не силы документа, а намеренной непристойности. И тогда, в то время как одни приписывали это болезни низменных органов писателя, навязчивым идеям одинокого монаха, другие видели здесь *бессознательное* развитие ненасытной жажды продаваться, инстинктивные ухищрения романиста, уловившего, что его издательский успех зависит главным образом от того обстоятельства, что дураков, покупающих „Ругон-Маккаров“, привлекают не столько литературные достоинства книг, сколько репутация порнографических сочинений, которую создал им *глас народа*».

Никогда еще Золя не сталкивался ни с таким шельмованием своего творчества, ни с такими обвинениями в сексуальной озабоченности. Его душило возмущение, он расстегнул ворот и продолжал читать: «В молодости он был очень беден, очень робок, образ женщины, которую он так и не познал в том возрасте, когда следовало ее познать, неотступно преследует его,

и видение это явно неверное. Кроме того, расстройство, вызванное заболеванием почек, также, должно быть, способствует тому, что определенные функции тревожат его сверх меры, заставляют преувеличивать их значение… И не следует ли к этим болезненным мотивам прибавить беспокойство, которое мы так часто замечаем у женоненавистников, равно как и у очень молодых людей, которые боятся, что их сочтут не осведомленными в делах любви?»

Дочитав статью до этого места, Золя остановился и задумался. Как посмели эти варвары влезть в его личную жизнь, раздеть его и выставить нагишом, во всем его физическом убожестве, перед тысячами читателей газеты? Все, о чем они говорили, было правдой, несмотря на полемические преувеличения. Он действительно был литературным отшельником, который тешился своими мечтаниями, потому что робел перед женским телом. Но он никогда и никому в этом не признавался, разве что проболтался нечаянно Доде или Гонкуру. И тут у него в голове сверкнула догадка: вот эти-то два фальшивых друга и снабдили сведениями тех пятерых, кто подписался под текстом. Все эти дерзкие мальчишки, самому младшему из которых был двадцать один год, а самому старшему – двадцать шесть, были приняты кто в Шанрозе у Доде, кто в Отейле у Гонкура. Заговор налицо. Золя с трудом заставил себя дочитать до конца обвинительную речь, силы его оставили. «Только что „Земля“ вышла в свет. Разочарование оказалось глубоким и мучительным… Мы решительно отрекаемся от этой самозваной правдивой литературы, от этой погони ума, жаждущего успеха, за неразборчивой вольностью. Мы отвергаем эти фигуры риторики Золя, эти нечеловечески огромные и несуразные образы, лишенные какой-либо сложности, грубо, шлепком, выброшенные куда придется из дверцы мчащегося вагона… Мы убеждены в том, что „Земля“ – не минутная слабость великого человека, но последняя стадия постепенного падения, неисцелимое болезненное извращение целомудренного».

Сразу после появления на газетной полосе читатели окрестили этот памфлет «Манифестом пятерых». Истинные друзья Золя были потрясены и удручены. Все они сходились на том, что тут не обошлось без происков Гонкура и Доде. Гюисманс писал Золя: «Этот пасквиль сочинил невоспитанный человек по фамилии Рони, а Боннетен затеял всю историю и дал делу ход. Роль остальных, по-видимому, ограничивалась тем, чтобы быть тупыми. Остается узнать, не подстрекала ли Боннетена, у которого, несомненно, душа нечистая, некая личность, у которой бывают все эти люди? Я очень склонен так думать, потому что,

как мне кажется, это дело затеяли за пределами Парижа». В то время как Гюисманс обличает Доде, Анри Бауэр приписывает ответственность за этот «Манифест» Гонкуру, «хнычущему собрату».

Вместо того чтобы протестовать, Золя предпочел замкнуться в презрительном молчании. «Как вы могли подумать, что я стану отвечать на эту глупую и подлую статью? – гордо пишет он журналисту Гюставу Жеффруа. – Неужели вы забыли о том, что у меня за спиной двадцать пять лет работы и тридцать томов и что никто не вправе усомниться в моей писательской чести?»[186] И Гюисмансу: «Спасибо за ваше славное письмо… Я безошибочно узнал Рони по педантским ученым фразам, а Боннетен не мог не быть зачинщиком. Все это смешно и грязно. Вы знаете мое философское отношение к брани. Чем дальше я иду, тем больше жажду непопулярности и одиночества».[187]

И чтобы окончательно выбросить из головы всю эту мерзость, он уезжает с Александриной в Руан. Вернувшись, узнает от общих друзей, что Гонкур обижен на него за то, что Золя подозревает, будто он был в сговоре с авторами «Манифеста пятерых». И тут же начинает оправдываться. «Значит, вы считаете меня глупым? – пишет он Гонкуру. – Сделайте милость, поверьте, что я знаю, как была написана эта статья. Я убежден и везде твержу, что если бы вы знали о ней, то помешали бы ее напечатать, как ради вас самого, так и ради меня. А я-то вообразил, будто вы должны проявить ко мне сочувствие после этой глупой и грязной выходки пятерых ваших близких приятелей. Я ждал такого проявления, а на меня обрушился ваш гнев. Поистине это превосходит всякую меру. Если я решаюсь вам писать, то только потому, что наши отношения стали неясными, и как ваше, так и мое достоинство требует, чтобы мы разобрались, к чему пришли наши дружеские и профессиональные связи».[188]

Гонкур ответил кисло-сладким письмом, в котором заверения в полной непричастности к этой истории чередовались с обидами непонятого автора. Золя снова взялся за перо, надеясь загладить недоразумение: «Рану нашей дружбе нанесли не эти пересуды. Рану ей нанесло мнимое соперничество, которое нравится разжигать нашим врагам. Я долго надеялся, я и сейчас еще надеюсь на то, что им не удастся нас поссорить, поскольку знаю, что вы очень порядочный человек и у вас на самом деле нежная душа».[189] Получив такое предложение помириться, Гонкур записал в своем «Дневнике»: «Мне передали письмо от Золя, письмо уступающее, письмо, нежное, но не впрямую. Доде назвал его письмом *труса*… После этого послания мне только и остается написать ему: „Обнимемся, Фольвиль!“»[190]

Через несколько дней Доде, со своей стороны, заверил Золя: «Сегодня мне непременно хочется вам сказать, что, знай я заранее о подобных планах публичного возмущения, я умолил бы авторов, по крайней мере, тех двоих, к которым хорошо отношусь и с которыми достаточно часто вижусь, не печатать этого, ради них же самих и в первую очередь ради меня».[191] Ужин «по случаю возвращения» был устроен у Шарпантье, на нем собрались Золя и Доде с женами и Эдмон де Гонкур. Обстановка оказалась напряженной, хотя все притворно улыбались, стараясь выглядеть приветливыми. Золя кожей чувствовал ненависть, долетавшую до него подобно зловонному дыханию. Для них он так и остался, по выражению Гонкура, «мерзким *итальяшкой*». Продолжая любезно беседовать, он мечтал только об одном: поскорее вернуться в свое логово.

Хотя «Манифест пятерых» и был много раз перепечатан газетами со множеством комментариев, читатели вскоре о нем забыли. И только в душе Золя статья оставила незаживающую рану. Он спрашивал себя, не следовало бы ему теперь, чтобы смутить гонителей, включить в цикл о Ругон-Маккарах историю чистую и счастливую, откуда были бы изгнаны все требования плоти, показать, что он способен действовать и в самом возвышенном мираже с не меньшей легкостью, чем в самой низменной реальности. Роман можно было бы назвать «Мечта»…

Желание литературного обновления совпало у него со стремлением к обновлению физическому. Он очень сильно растолстел, шея у него раздулась, живот выпирал. Эмиль весил уже девяносто шесть килограммов, окружность талии достигла ста четырнадцати сантиметров. Одиннадцатого ноября 1887 года в недавно созданном Свободном театре, глядя на то, как Золя с трудом протискивается между рядами, художник Жан-Франсуа Раффаэлли посоветовал ему, если он хочет похудеть, не пить во время еды. На следующий же день Золя сел на диету, отказавшись от вина и мучного и питаясь главным образом жареным мясом. Ограничивать себя таким образом было нелегко, но результаты оказались настолько заметными, что он нашел в себе силы продолжать. Между ним и его весами установились радостные и сообщнические отношения. Вскоре Эмиль уже не мог обходиться без этого благословенного прибора, то и дело к нему возвращаясь.

Несколько недель спустя Гонкур, встретив Золя, записал потом в своем «Дневнике»: «Отказавшись от питья во время еды и от хлеба, Золя за три месяца похудел на двадцать восемь фунтов. Это хорошо на нем сказалось, живот растаял, весь он словно подрос, вытянулся, и, что самое любопытное, вернулась тонкая

лепка его прежнего, утраченного лица, спрятанного в толстой круглой физиономии последних лет; он снова стал походить на свой портрет кисти Мане, с той разницей, что в выражении лица появился оттенок злобы».[192]

Похудевшему Золя стало легче дышать, легче шевелиться, ноги задвигались проворнее, пищеварение улучшилось. Глядя на свое отражение, он с трудом узнавал себя в этом смотревшем на него бородатом человеке, из которого словно бы вынули лишнее. Какое чудесное выздоровление! Как же хорошо он станет теперь работать! И, может быть, возродившись благодаря разумному поведению за обеденным столом, ему стоит даже позволить себе почаще отрываться от письменного, чаще покидать свой кабинет? А что, если после стольких лет затворничества, затрудненного пищеварения и напряженной работы ему преподнесена в подарок вторая молодость?..

XVIII. Жанна

Если не считать участия в нескольких весьма посредственных инсценировках «Добычи» («Рене»), «Чрева Парижа» и даже наконец-то разрешенного «Жерминаля» (семнадцать представлений в театре Шатле), Золя был полностью поглощен подготовкой к работе над новым романом «Мечта». Уже 14 ноября 1887 года он пишет Ван Сантену Кольфу, голландскому журналисту, который жил в Берлине: «Мой будущий роман станет полнейшей неожиданностью, фантазией, давно задуманным полетом». И записывает в «набросках»: «Мне хотелось бы написать книгу, какой от меня не ждут. Первое условие, какое надо выполнить, – чтобы ее можно было дать в руки кому угодно, даже юным девушкам. Следовательно, никаких бешеных страстей, сплошная идиллия… Стало быть, перепишем заново „Поля и Виржини“. С другой стороны, раз меня обвиняют в том, что я не занимаюсь психологией, я хотел бы заставить людей признать, что я и психолог тоже… Наконец, я хотел бы вложить в эту книгу потустороннее, мечту, ввести линию мечты, *неведомого*, непознаваемого».

Действие нового, на этот раз мистического, романа должно было происходить в старом сонном городе, под сенью древнего собора. Стремясь вернее воссоздать атмосферу этого воображаемого городка, насквозь пропитанного благочестием и живущего вдали от суеты современного мира, Золя листал книги по архитектуре, рылся в словаре Пьера Ларусса, поручал друзьям заниматься исследованиями в музее Карнавале, с головой уходил в двухтомную «Золотую легенду» Жака де Воражина, просил Анри Сеара раздобыть для него все материалы об искусстве вышивальщиков…

«Поскольку действие моего романа происходит теперь полностью в воображаемом мире, – пишет он еще засыпавшему его вопросами Ван Сантену Кольфу, – я и создал среду, создал ее всю – от начала до конца. Бомон-л'Эглиз – чистейшая выдумка, сложенная из кусочков Куси-ле-Шато, но возведенного в ранг епархиального города… Все это очень продуманно, очень сознательно… Одним словом, среда одновременно и полностью сочиненная, и вполне подлинная… Никогда никто не узнает… сколько мне всего пришлось изучить для этой такой простой книги».[193]

В представлении автора «Мечта» должна была стать исправленным, очищенным повторением «Проступка аббата Муре». Завязка была очень краткой. Монсиньор де Откер, епископ

Бомон-л'Эглиза, постригся в монахи после смерти жены, которую любил без памяти. Его сын Фелисьен, художник, увлеченно работает над витражом святого Георгия. Скромная вышивальщица Анжелика в него влюбляется, но, больная и утратившая всякую надежду, поскольку отец юноши препятствует браку, умирает как раз тогда, когда епископа наконец удается уговорить на женитьбу сына и он дает согласие. Сочиняя эту глупую сказку, Золя был уверен, что удивит читателей своей способностью сменить помойное ведро на кадило.

Когда роман вышел, мнения разделились. Если одни журналисты восхищались тем, что Золя отказался от необузданности ради того, чтобы воспеть кротость, девственность и веру, то другие упрекали его за эту мишурную бесплотность, за упадочническую слабость его истории, за слащавую бесцветность персонажей. Резче всех раскритиковал «Мечту» Анатоль Франс, который написал в «Le Temps» («Время»): «Признаю, что чистота господина Золя представляется мне заслуживающей уважения: он заплатил за нее всем своим талантом: его и следов не отыщешь на трех сотнях страниц „Мечты“… Если бы непременно надо было выбирать, крылатому господину Золя я все же предпочел бы господина Золя на четвереньках… Нельзя нравиться другим, когда перестаешь быть самим собой… Золя – хороший художник, когда срисовывает то, что видит. Его ошибка в том, что он пожелал изобразить всё. Он утомляется и истощает силы в столь непомерном труде. Его уже предупреждали о том, что он уходит в несбыточное и ложное. Напрасно старались! Он считает себя непогрешимым».

За спиной Золя перешептывались: якобы он написал эту пресную сказку для того, чтобы добиться уважения приличных людей и сменить славу скандалиста на репутацию почтенного писателя. И словно бы для того, чтобы оправдать насмешливые предположения, Эмиль согласился принять награду, орден Почетного легиона – известие о награждении появилось в официальной хронике 14 июля 1888 года, – и дал понять, что вполне мог бы выставить свою кандидатуру во Французскую академию.

«Да, дорогой мой друг, – пишет он Мопассану, – я согласился после долгих размышлений… и это согласие простирается куда дальше крестика, оно распространяется на все награды, вплоть до Академии: если когда-нибудь Академия предложит мне себя, как предложил себя орден, то есть если группа академиков пожелает проголосовать за меня и попросит выставить свою кандидатуру, я сделаю это просто, вне всякой кандидатской деятельности. Я считаю это правильным, впрочем, это было бы всего лишь

логическим следствием только что сделанного мной первого шага».[194]

Золя явно затрудняется объяснить такую резкую перемену во взглядах – видимо, она произошла в нем почти бессознательно, незаметно для него самого. Или он внезапно осознал, что, хотя и был широко известен, слава его оставалась несовершенной. Теперь, когда романист добился признания читателей, ему для полного счастья требовалось торжественное признание властей. Он не понимал, с какой стати он, лучший прозаик своего времени, должен обходиться без тех почестей, которых уже удостоились другие, куда менее известные. Он ведь сражается не за себя, а за литературу завтрашнего дня! И потому стремление добиться официального признания вдруг начинает казаться ему таким же законным и таким же естественным, каким прежде было его желание, чтобы в память об отце именем Золя назвали канал и бульвар. Когда журналист Блаве, писавший под псевдонимом Паризис, пришел брать у него интервью для газеты «Фигаро» в связи с его академическими притязаниями, Золя сказал, что решил больше не восставать против иерархии, сложившейся в то время в его стране: «Почему бы мне самому не подчиниться этой иерархии, тем более что это будет выгодно и для меня самого, и для моего творчества?» И прибавил, что он сможет дождаться удобного случая, вовсе не карауля у дверей Академии подобно шакалу, высматривающему трупы, и что если он выдвигает свою кандидатуру, то делает это по тем же причинам, какие побудили его принять орден: «Пропаганда моего творчества, распространение моих идей, желание покончить с детскими обидами».

Эмилю много писали, поздравляя с получением красной ленточки, и он педантично отвечал всем. Газеты наперебой хвалили министра Лакруа, который нашел в себе смелость наградить главу натуралистической школы. Что касается Гонкура, он, тоже поздравив Золя, записал потом в своем «Дневнике»: «Значит, он не понял, что, став кавалером ордена, тем самым умалил себя! В один прекрасный день литературный революционер станет командором ордена Почетного легиона и постоянным секретарем Академии и в конце концов станет писать такие скучные и добродетельные книги, что их придется раздавать как поощрение в пансионах для девиц».[195]

Приняв решение, Золя отправился к Галеви и объявил, что отныне он обращает свои взгляды к Академии. Если натурализм вместе с ним войдет в Французскую академию, это великолепно подействует на общество! Такая победа стоит того, чтобы ради нее предпринять кое-какие шаги, поклониться вышестоящим.

Вечером того же дня, когда он был у Галеви, Золя с гордостью объяснял госпоже Шарпантье, жене своего издателя: «У меня был выбор между двумя возможными путями: я мог пойти либо официальным, либо другим путем. О первом я совершенно не думал. Вы заставили меня на него ступить. Я обязан пройти его до конца. Такой человек, как я, не останавливается на середине подъема. Либо он, не задерживаясь, проходит мимо горы, либо взбирается на вершину. Жребий брошен. Я получу большой крест Почетного легиона, я стану сенатором, поскольку существует Сенат. И поскольку существует Академия, я стану академиком».

Академические притязания Золя все больше раздражали Гонкура, и тот, разговаривая с молодым репортером из «Gaulois», не мог удержаться и заявил, когда речь зашла «об этих господах» с набережной Конде: «Я думаю, что собрание, вычеркнувшее Бальзака и Мишле, совершенно устарело и выглядит нелепо. Мне больно видеть, что господин Золя внезапно меня покинул и оставил свои прежние убеждения – не скажу, что он от них отрекся… Неужели он считает теперь, что это двойное признание, орден и Академия, необходимы его таланту и его славе? Он так говорит, я же нахожу, что это умаляет его как литератора».

Уязвленный этим помещенным в газете интервью, Золя обратился к Гонкуру: «Я пишу вам сразу после того, как прочел в „Gaulois“ статью под названием „Гонкур судит Золя“, потому что хочу, чтобы вы знали: пусть она меня огорчила, но она нисколько не затронула дружеских чувств, которые я питаю к вам вот уже двадцать лет. Вот только неправильно говорить о том, что я „внезапно вас покинул“. Вспомните, восстановите в памяти события. Если связи с каждым днем слабели, если сегодня кончилось тем, что я иду один, то разве я этого хотел? С другой стороны, зачем порицать меня за то, что я принял орден, если я сделал это при тех же условиях, что и вы сами? Меня ласково вынуждал к этому Лакруа, так же как вас – принцесса Матильда… И можете быть уверены в том, что, если я когда-нибудь представлю свою кандидатуру в Академию, я сделаю это таким образом, что мне не придется поступиться ни своей гордостью, ни своей независимостью. И это не сделает меня заурядным, напротив, и это не опорочит меня в глазах тех людей, которые больше всего меня любили, потому что они поймут, чего я хотел, почему и как я этого хотел».[196]

На самом деле Гонкура больше всего возмущало то, что Золя объявил о своих академических притязаниях в тот самый момент, когда их общий друг Доде опубликовал «Бессмертного» – злобную карикатуру на «древнее заведение» на набережной Конде. К тому же Гонкур, некогда включивший Золя в список членов Академии,

которую он намеревался основать в противовес Французской академии, не мог простить своему корреспонденту того, что тот предпочел собрание сорока собранию десяти. «До сих пор, – пишет он Золя, – пустячные размолвки, обиды, может быть, и взаимные, немного отдалили нас друг от друга, но время и обстоятельства могли воссоздать наш литературный триумвират, однако теперь я с подлинным огорчением вижу, что мы оказались на разных полюсах». «Почему вы говорите, что это разводит нас на два разных полюса? – пишет в ответ Золя. – Я не хочу ставить крест на будущем и продолжаю надеяться на то, что, когда препятствия и недоразумения, разлучившие нас, перестанут существовать, мы снова сможем сойтись, как прежде, рука в руке».[197]

Еще более жестоким нападкам он подвергся со стороны Октава Мирбо, который 9 августа напечатал в «Фигаро» статью под названием «Конец человека», обвиняя Золя в том, что своими академическими притязаниями он предал не только старых друзей, но и собственные принципы. «Сегодня, – пишет Мирбо, – ради клочка ленты, которую может получить, заплатив за нее, последний мошенник, ради зеленой вышивки, которой может благодаря интригам украсить свою одежду самый безнадежный дурак, господин Золя отрекся от всего – от борьбы, от прежней дружбы, от независимости, от своих творений». По мнению Октава Мирбо, Золя домогался кресла в Академии, рассчитывая на то, что «дружба академиков заполнит пустоту, оставшуюся от художников, товарищей… времен первых надежд».

Золя привык к тому, что на его голову выливали помои. «Ах, дорогой Мирбо, – только и ответил он гонителю, – сколько лет меня хоронят, а я все еще жив».[198]

Как обычно, бичевание, которому подвергли Эмиля нападавшие со всех сторон критики, заставляло его кровь быстрее бежать по жилам. Под ударами он распрямлялся. Никогда еще Золя не чувствовал себя ни таким бодрым, ни таким молодым.

Каждую неделю он с удовлетворением отмечал потерю в весе. Тем летом 1888 года он, с подтянутым животом и легкий на ногу, выглядел почти щеголем. Он полюбил наряжаться и носил теперь хорошо сшитые белые костюмы, волосы отпустил и зачесывал назад, чтобы скрыть лысину, а бороду, наоборот, подстриг, считая, что она его старит, и оставил лишь небольшую элегантную бородку. Александрина, глядя на то, как преобразился муж, не могла опомниться от изумления. Она соблюдала ту же диету, что и он, но у нее талия ничуть не менялась, оставаясь весьма обширной. Золя подозревал, что супруга тайком перекусывает между обедом и ужином.

В мае Александрина наняла девушку, чтобы та занималась бельем, и была очень ею довольна. Новой служанке только-только исполнился двадцать один год – она родилась 14 апреля 1867 года. Девушку звали Жанна Розеро, мать ее умерла, отец, мельник, снова женился. В Париже она была работницей и теперь очень радовалась, что ее взяли в приличный дом. Вскоре Александрина уже ни дня не могла обойтись без Жанны. Обе женщины были помешаны на безупречно чистом белье, на ювелирных штопках и аккуратно разложенных по полочкам вещах. Что касается Золя, то он с умилением поглядывал на эту прелестную девушку, высокую и стройную, любовался ее кротким лицом со свежими щеками и нежными губами. Голову, красиво сидевшую на хрупкой шее, венчала корона роскошных черных волос. Жанна неизменно была веселой, покладистой и скромной. То есть полной противоположностью Александрине, которая с возрастом стала еще более жесткой, непреклонной, властной, ограниченной и стремящейся к респектабельности. Вместе с Жанной в дом, словно свежий ветерок, вошла молодость. Золя любил слушать, как служанка распевает в прачечной. Он говорил с ней, как с ребенком. А она удивлялась тому, что хозяин удостаивает ее своим вниманием. Иногда Жанне даже казалось, будто этот сорокавосьмилетний человек ласкает взглядом ее тело, причем не без восхищения – одновременно тайного и покровительственного. В таких случаях девушка склоняла голову и улыбалась хозяину. И эта улыбка ослепляла Золя. Неужели такому юному и привлекательному существу нисколько не противны знаки внимания со стороны потрепанного жизнью и трудами писателя? Эмиль грезил о том, как он мог быть счастлив, если бы когда-то встретил ее, а не Александрину. С какой радостью он бы на ней женился! Может быть, она подарила бы ему детей, а вот Александрина так и не смогла этого сделать. Глядя, как Жанна порхает по комнатам, Золя печально думал о том, что у него, создавшего столько выдуманных персонажей, нет ни одного сына и ни одной дочери, которые были бы плотью от его плоти. Он разглядывал бедра Жанны, и им овладевало низменное волнение. Проходя мимо, он нарочно старался приблизиться, вдыхал здоровый аромат ее кожи и чувствовал себя виноватым, хотя ему не в чем было пока себя упрекнуть.

Когда Александрина решила взять Жанну на лето в Руаян, чтобы та постоянно оставалась в ее распоряжении, Золя обрадовался как мальчишка, ему захотелось расцеловать жену. Отдых в Руаяне, на вилле, соседней с виллой четы Шарпантье, превратился в череду прогулок вдоль берега, ужинов и праздников. Праздновали помолвку Жоржетты, дочери

Шарпантье, с молодым писателем Абелем Эрманом; устроили антильский ужин, на который все явились с вымазанными черной краской лицами и в римских тогах. Золя поддразнивали за внезапно вспыхнувшую в нем страсть к фотографии: он везде расхаживал с фотоаппаратом «Кодак» через плечо и то и дело снимал Жанну. Припав глазом к видоискателю, Эмиль ловил ее позы, и каждый раз у него на миг рождалась иллюзия, будто он обладает ею. Девушка прекрасно понимала, какие чувства испытывает к ней Золя, и больше не пыталась бороться с волнением, которое охватывало и ее, когда он к ней приближался. Александрина нередко, ссылаясь на усталость, отказывалась сопровождать мужа на прогулках, и тогда Эмиль с Жанной бродили по песчаному берегу, словно влюбленная парочка. Разумеется, жена не видела в этом ничего предосудительного. Разве могла она заподозрить в дурных мыслях человека такого возраста, подобной комплекции и давным-давно живущего лишь ради сочинительства?

За столом Золя становился с каждым днем все более веселым. Он почти забросил работу, не ложился спать после обеда, опасаясь, как бы из-за дневного отдыха не растолстеть снова. Его отношения с Жанной стали настолько близкими, что, как только чета вернулась в Медан, девушка из соображений приличия отказалась работать в доме Золя. Писатель, скрыв это от жены, снял для той, что еще не стала его любовницей, квартиру в Париже, и Жанна поселилась в доме 66 по улице Сен-Лазар. Еще несколько недель тайных свиданий с возлюбленной, страстных поцелуев, незавершенных ласк, и 11 декабря Жанна, стыдясь и радуясь, уступила настояниям Эмиля.[199]

Совершив подвиг любви, Эмиль вернулся домой, преисполненный гордости, но – едва смея поднять глаза на Александрину. Начиная с этого дня он постоянно чувствовал, что разрывается между нежной жалостью к жене и плотским восторгом, который испытывал в постели Жанны. Никогда еще ему не доводилось узнать такой чувственной радости, такого блаженства. Жена, которую он выбрал в молодости, состарилась, зато у него ближе к старости появилась молодая жена. И он переходил от одной к другой с ощущением, будто берет реванш за прежнее целомудрие, отыгрывается за десятки лет, прожитых без радости и любви. Но как же ему, вечному поборнику правды, трудно было увязать во лжи! И как все это закончится? Оставалось лишь положиться на милость Божию! Не решаясь ни с кем заговорить о своем счастье, Золя все же признался Гонкуру, встретившись с ним на светском приеме, что всю свою жизнь был «мучеником литературы», «несчастным тупицей».

«Золя признался мне, – пишет Гонкур, – что в этом году, хотя ему уже под пятьдесят, ощутил внезапный подъем, прилив жизненных сил, желание плотских наслаждений, и, внезапно перебив себя, сказал: „Моей жены рядом нет… Так вот, я не могу видеть, как мимо проходит девушка вроде этой [гостьи], чтобы не подумать: разве это не лучше, чем книга?“»[200]

Золя становился все более неосторожным, он начал появляться на людях с подругой. Леон Энник упоминал, что встретил его как-то около Эйфелевой башни «с прелестным созданием в розовой шляпке». Золя, казалось, с гордостью показывал Жанну окружающим. Но некоторые, должно быть, принимали юную любовницу за его дочь.

И вот Жанна забеременела! Золя был до того счастлив, что ему трудно было сохранить тайну. Неужели он в свои сорок девять лет станет отцом? Какая радость! Он не бесполое существо. Он мужчина. Он тоже может производить потомство. И не только на бумаге, но и в жизни. Конечно, вне брака. Но значение имеет только само событие, а не обстоятельства. Только вот что теперь делать? Признаться во всем Александрине, развестись с ней?.. Нет, так нельзя, это все равно что убить несчастную, которая, несмотря на свой трудный характер, не заслуживает подобного бесчестья. Порвать с Жанной? Тем более невозможно – ведь она носит под сердцем его ребенка. Ничего другого не оставалось, как решиться жить на два дома, с двумя женщинами, там и здесь мучаясь раскаянием. Милосердие вынуждало Эмиля разыгрывать комедию перед Александриной, влечение требовало продолжения встреч с Жанной. К счастью, Александрина не заглядывала в счета мужа, иначе она давно бы заметила, что он тратит очень много денег вне дома. Но сколько времени еще это хрупкое равновесие сможет выдерживать удары реальности? Золя все преумножал осторожность.

Двадцатого сентября 1889 года Жанна разрешилась от бремени девочкой, которую назвали Денизой. Золя был вне себя от радости. Глядя на орущего младенца, новоявленный папаша испытывал одновременно блаженство и обреченность. Это был уже не «Проступок аббата Муре», но проступок писателя Золя. Теперь Эмиль едва сдерживался, чтобы не поделиться своей радостью с Александриной.

Двадцать второго сентября он написал Анри Сеару: «Милый Сеар, обращаюсь к вам как к самому надежному и самому сдержанному из моих друзей, чтобы попросить об услуге. Не могли бы вы завтра, в понедельник, в 11 часов, быть во дворе мэрии Девятого округа, на улице Друо? Речь идет всего-навсего о том, чтобы поставить подпись». Заинтригованный Сеар не

преминул явиться на свидание, и Золя сообщил ему, что позвал его, чтобы зарегистрировать ребенка Жанны, однако имени отца не открыл. «Милый Сеар» вместе с доктором Анри Делино, принимавшим роды у молодой женщины, подписали акт о рождении ребенка, а 27 декабря Жанна, в свою очередь, в присутствии тех же свидетелей подписала документ, которым признавала свою дочь, не называя имени отца.

Три месяца спустя Золя, не способный долее сдерживаться, позвал Сеара в кафе, расположенное напротив церкви Святой Троицы, и там шепотом рассказал ему о своей связи, заверив, что по-прежнему любит Александрину, но, «желая произвести на свет потомство, выбрал для этого здоровую и *здравомыслящую* особу». Разумеется, он предвидел, что, если Александрина узнает правду, он попадет в «затруднительное положение». И все же надеялся, что «все уладится» так или иначе. А пока надо было скрываться и как-то устраиваться. Поль Алексис тоже, в свою очередь, был посвящен в тайну. Эти откровения очень стесняли друзей, которые были своими людьми в доме Золя. Теперь и им приходилось притворяться перед Александриной. Но Алексис не умел держать язык за зубами. Он не устоял перед притворной любезностью Гонкура, клюнул на приманку. «Сегодня, – пишет Гонкур, – Поль Алексис… безоговорочно подтвердил, что у Золя есть *семья на стороне*. Последний ему признался, что, хотя его жена замечательная хозяйка, она обладает и многими *леденящими* качествами, которые заставляют искать тепла в другом месте. Он говорит о *возвращении* молодости, о неистовой жажде всевозможных наслаждений, об удовлетворении светского тщеславия, недавно этот старик-писатель спросил у Сеара, сможет ли за двенадцать уроков научиться так держаться в седле, чтобы совершить прогулку в Булонском лесу. Не могу представить себе *конного* Золя!»[201]

Вот уже несколько месяцев ненависть, которую Гонкур испытывал к Золя, прорывалась едва ли не в каждой строчке его «Дневника»: «На сегодняшний день Золя – самый пронырливый человек в литературе, он превзошел всех евреев…» «Если никто из журналистов не желает признавать, что я породил Золя и обобран им, если никто вроде бы и не замечает, что своим успехом он обязан преувеличению, передразниванию, опошлению моих приемов, меня утешает только одно – мысль о том, что, если Америку назвали в честь Америго Веспуччи, то весь интерес и все исследования обращены теперь к Христофору Колумбу».[202]

Любовные подвиги Золя возбуждали у Гонкура не только зависть, но и надежду на скандал. Все, что могло повредить его сопернику в литературе, радовало интригана словно личный

успех. А Золя тем временем пребывал на седьмом небе. Все чаще и чаще он покидал семейное гнездышко и отправлялся нянчить младенца. Конечно, при таком двойном существовании ему трудно было работать, но, склоняясь над колыбелью, он не чувствовал, будто предает свое призвание творца.

XIX. Поездка на паровозе

Тайком урывая время для того, чтобы жить и любить, Золя все же не отказывался от намерения продолжать работу. Замысел следующего романа из цикла «Ругон-Маккары» уже забрезжил в его голове. «Наверное, я помещу какую-нибудь страшную драму в обстановку железных дорог, – писал Эмиль давнему приятелю-журналисту Ван Сантену Кольфу, – исследование преступления с нападками на чиновников. Но, повторяю, пока все это остается очень туманным».[203]

Между тем неотступная мысль о железнодорожном мире преследовала его уже многие годы. В Медане, за оградой принадлежавшего Золя и расположенного на склоне сада, пролегала Нормандская магистраль. «В день сотня поездов проходит туда и обратно, – отмечает Поль Алексис, – отчего слегка дребезжат стекла большого окна в его рабочем кабинете: с головокружительной скоростью мчатся экспрессы, ныряя под мост, над которым тянется аллея чудесных деревьев, ведущая к Сене; пассажирские поезда, чье приближение слышно издалека, а затем шум продолжается в долине; торговые поезда, в сравнении с теми такие неспешные, что можно сосчитать едва ли не все обороты колес». С наступлением темноты Золя любил смотреть, как приближается, надвигается на него темная громада локомотива, увенчанная клочковатым дымом. Он провожал взглядом красный фонарь на последнем вагоне. И думал о жизни этих незнакомых ему пассажиров, которых поезд уносит во тьму, этих машинистов, этих кочегаров, которым от стремительного бега поезда ветер хлещет лицо, этих сторожей у переездов, которые выскакивают из своих домиков, размахивая зеленым флажком, когда мимо идет состав… Когда Поль Алексис навестил Эмиля в Медане, тот, стоя на балконе своего кабинета, поделился с другом планами: «Я мечтаю написать очень простую, но глубоко человеческую драму, заканчивающуюся чудовищной катастрофой, возможно, столкновением двух поездов, намеренно вызванным для того, чтобы свести личные счеты, отомстить… Это или что-нибудь другое! Вы же знаете, что развитие сюжета в произведении меня не стесняет и вообще мало заботит. То, что для меня важно, то, что я хочу сделать живым и ощутимым, – это постоянное движение на железнодорожной магистрали, между двумя исполинскими вокзалами, с промежуточными станциями, с поездами, идущими туда и обратно. И я хочу заставить жить в моей новой книге все особенное население железных дорог!»[204]

Загоревшись этим проектом, Золя принялся лихорадочно

набивать первую папку вырезками из газет. Тут в основном были заметки, где говорилось о железнодорожных катастрофах или о преступлениях на почве страсти. Только что прочитанный им роман русского писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание» произвел на Золя сильное впечатление, но он тут же, причем резко, отмежевался от теории Раскольникова, который совершил убийство только для того, чтобы доказать, что принадлежит к породе сильных людей. У Золя все будет не так! Его персонаж, Жак Лантье, совершит убийство, не повинуясь никакой идеологии, но уступая наследственному патологическому влечению, побуждению «прирожденного убийцы». Если герой Достоевского – невротик-интеллектуал, неотступно размышляющий над проблемой греха и искупления, то героем Золя станет больной человек, жертва патологической наследственности. У первого – метафизический вопрос в голове, у второго – преступление в крови.

Придя к такому заключению, Золя приступил к следующему этапу работы, теперь он принялся собирать сведения о жизни железнодорожников. Писателю хотелось, чтобы в его романе то и дело раздавались звоночки телеграфа, свист паровозов, стук колес, вокзальный шум, шипение пара, гул колоколов. Для того чтобы описать эту среду, он, как всегда, должен был полностью в нее погрузиться в сопровождении знающего проводника. И вот Эмиль уже списывается с Полом Лефевром, управляющим Западной линией, с директором железнодорожной компании. В ответ на свою просьбу получает разрешение побывать в депо и проехать на паровозе от Парижа до Манта.

Помогло ему подготовиться к этой поездке чтение книги Поля Лефевра «Железные дороги» – он смог почерпнуть здесь технические сведения об организации работы в новом и загадочном для него мире, о действии машин, о службе пути и об условиях жизни железнодорожников…

Усвоив терминологию, писатель отправился в Гавр, где старый служащий рассказал ему о повседневных заботах железнодорожников, о том, как они добиваются повышения по службе, о соперничестве в стремлении заполучить лучшее помещение на вокзале, о тяжких трудах и маленьких радостях этих людей. Затем Эмиль поехал в Руан, где побывал во дворце правосудия на заседании суда присяжных. Как и в Анзене и в Босе, он записывал свои наблюдения в особой тетради.

Оставалось совершить рабочую поездку на паровозе. Пятнадцатого апреля 1889 года Золя едет в Париж, облачается в форменную одежду кочегара и вместе с инженером Клеро, который должен был объяснить ему различные маневры,

взбирается на площадку паровоза. В пути он все запоминал, укладывая сведения в голове, с тем чтобы позже перенести их в записные книжки: тряска, от которой отнимаются ноги; бешеный ветер, слепящий глаза; обжигающая лицо смесь жара и холода; грохот поездов, ураганом проносящихся навстречу; внезапное погружение в непроглядную темноту тоннеля; толчки на стрелках; яростный огонь в открытой топке… Золя предвидел заранее, что несущий его сегодня паровоз превратится в романе в стальное чудовище со своими привычками и вспышками гнева, может быть, даже куда более живое, чем жалкие человечки, которых он влечет за собой. Подобно перегонному кубу из «Западни», подобно большому магазину из «Дамского счастья», подобно шахте из «Жерминаля», именно паровоз станет движущей силой его книги. Золя даст этой махине женское имя Лизон, чтобы подчеркнуть: это не просто механизм, это символ рока. Название для романа было уже найдено: «Человек-зверь».

Едва закончилось адское путешествие от Парижа до Манта и обратно, Золя устремился в Свободный театр, где репетировали одну из написанных им в молодости пьес – «Мадлена». Совершенно измученный и разбитый, рухнул в кресло и простонал, что ноги у него разламываются от тряски. О «героической поездке писателя на паровозе» было рассказано во многих газетах. Гонкур, естественно, посмеивался в своем углу. Но Золя знал, что это путешествие поможет ему достичь той стадии галлюцинации, которая всегда была ему необходима для того, чтобы питать творчество.

В «Человеке-звере» романист возвращается к теме «Терезы Ракен», но расширив и углубив ее. Жака Лантье, машиниста на паровозе «Лизон», влечет к Северине, жене помощника начальника вокзала Рубо, именно из-за того, что она вместе с мужем совершила убийство. Жака Лантье самого тянет совершить убийство, и это наследственное стремление. Он не может обладать женщиной без того, чтобы в миг наслаждения не испытать желания умертвить ее. И убивает Северину в одну из таких минут, когда судорога помрачает его разум. Подчинившись пришедшей из глубины веков темной силе, Жак не чувствует ни малейшего раскаяния, одно лишь физическое и душевное облегчение, непонятное тому, кто не одержим жаждой убийства. Однако желание возрождается вместе с жаждой крови, и все завершается апокалиптическим видением обезумевшего поезда, сошедшего с рельсов.

Сюжет «Человека-зверя» – старое как мир преступление на почве страсти, совершенное в мире индустриального прогресса. Плоть и сталь, чернота угля и бледность женской кожи,

механическая скорость и неуправляемые движения человеческой души перекликаются в этом произведении со вспышками кошмара.

Все это породил мозг Золя, все это пришло из его души. И вот… тот же человек, который только что с точностью жестокого и равнодушного наблюдателя описывал эти ужасные бедствия, внезапно впадает в беспросветное отчаяние после смерти своей собачки Фанфана! Казалось, вся нежность, которую он испытывал к животным, разом хлынула в его сердце. Нет, он не может быть счастлив, если рядом с ним нет этой зверюшки, чей доверчивый взгляд очаровывал и успокаивал его. «Мой бедный маленький Фанфан умер в воскресенье после страшного припадка, – напишет он Сеару. – Полгода я кормил и поил его, ухаживал за ним, как за ребенком. Он был всего лишь собакой, но его смерть потрясла меня. Я все еще дрожу».[205]

Несмотря на этот скромный траур, Эмиль вскоре возвращается к работе и продолжает писать. «Человек-зверь» сначала был напечатан с продолжением в «Народной жизни» («La Vie Populaire»), затем вышел отдельной книгой у Шарпантье, и успех сразу же оказался громаден. Жюль Леметр написал в «Фигаро», что Золя – «поэт темных глубин человека», что его персонажи представляют собой «не характеры», но являются воплощением «инстинктов, которые разговаривают, ходят, двигаются», что «воздействие этих упрощений прекрасно и потрясает» и что речь идет о «доисторической эпопее под видом сегодняшней истории». Анатоль Франс, прежде показавший себя таким суровым по отношению к сочинениям Золя, теперь заявил: «Этот человек – поэт. Его великий и простой талант создает символы. Он рождает новые мифы. Греки создали Дриаду, он создал Лизон: эти два творения стоят друг друга, то и другое бессмертны. Он – великий лирик нашего времени».

Лишь несколько ворчливых критиков упрекнули автора в том, что он состряпал неправдоподобную историю, где на каждом шагу спотыкаешься о трупы. Да еще Гонкур в своем «Дневнике» исходил желчью: «Роман, подобный „Человеку-зверю“, роман из тех, какие сочиняет теперь Золя, где все от начала выдумка, воображение, неправда, где живые существа представляют собой чистейшие и грязные продукты выделения его мозга, роман, в котором нет ни на грош ни знания, ни подлинной человечности, сегодня не представляет для меня никакого интереса. Меня интересует лишь такой роман, где за напечатанными строками проступают, если можно так выразиться, существа из плоти и крови, где в большей или меньшей степени чувствуется память о прожитой жизни».[206] Интересно, что столь яростная

обвинительная речь нисколько не помешала тому же Гонкуру на следующий день написать Золя елейное письмо: «Я могу лишь повторить те комплименты, которыми все осыпают вас за мощь ваших созданий, за описание удивительных миров, в которых они действуют, за поэзию, которую вы умеете извлекать из вещей, за все те великие и прекрасные достоинства воображения, благодаря которым вы стали самым любимым автором у читателей».[207]

И в самом деле, читатели, словно изголодавшись, буквально набросились на это кровавое сочинение. Продажи росли на глазах. Александрина и Жанна, каждая со своей стороны, ликовали. Золя, которого наперебой поздравляли жена и любовница, немного стыдился своей двойной удачи. Превосходный муж и примерный любовник, он ел из двух кормушек мужского счастья. Но сколько же времени может продолжаться такое мирное блаженство чувств?

Рассчитывая на большие доходы от продажи книги, Александрина решила, что семье Золя пора бы перебраться из своей парижской квартиры в трехэтажный особняк под номером 21-бис на Брюссельской улице. Муж не возражал: это новое жилье ему хотелось превратить в святилище, достойное его славы. И ничто не казалось ему слишком дорогим для того, чтобы обставить и украсить свой дом. Он заплатил три тысячи франков за роспись стен и входных дверей: композицию из двадцати шести панно в готическом стиле с изображением сцен из Нового Завета на золотом фоне. Из дорогих вещей он приобрел: решетку клироса из кованого железа, которую установил в своей спальне (тысяча шестьсот пятнадцать франков); резной деревянный алтарь, украшенный религиозными сюжетами, с двумя статуями святых по бокам, у каждого в руке Евангелие (тысяча триста тридцать франков); резную скамью церковного старосты – трехместную, орехового дерева, в готическом стиле с цветочным узором (шестьсот шестьдесят шесть франков); старинные витражи (четыреста пять франков); красную бархатную завесу для камина с вышитыми фигурами святых (двести сорок пять франков); портшез… Кроме того, он накупил средневековых вышивок, индийских и бирманских статуэток, чаш, дароносиц, приобрел распятие слоновой кости и огромные четки…

Несмотря на то что Золя был агностиком, ему нравилось окружать себя предметами культа. Укрывшись среди всего этого безобразного и дорогостоящего хлама, он, человек науки, чувствовал, что подпадает под непреодолимое очарование порицаемого им благочестия. Называя себя материалистом, не переставал прислушиваться к шепоту запредельного. Мысль о смерти неотступно преследовала его в грезах наяву. Подумать

только, академики именуют себя «бессмертными»! Какая дерзость, какая самоуверенность!

Случившаяся в это самое время кончина Эмиля Ожье еще больше расшевелила академические притязания Золя. На освободившееся кресло претендовали тринадцать писателей, как же было не использовать случай! Первого мая 1890 года, после семи туров голосования, в ходе которого Эмиль ни разу не набирал больше четырех голосов, выборы были отложены. Не одержал победы не только Золя – вообще ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов. В следующий раз, 11 декабря, Золя снова не добился успеха, и вожделенное кресло занял Шарль Фрейсине.

Повторяющиеся неудачи не способны были поколебать его решимость. Как бы там ни было, он станет выставлять свою кандидатуру столько раз, сколько потребуется, чтобы во имя торжествующего натурализма заставить распахнуться перед ним двери величественной ассамблеи.

На счастье Золя, вскоре освободилось еще одно кресло. «Смерть Фейе даст мне возможность снова выставить свою кандидатуру в Академию, но и на этот раз у меня нет никакой надежды»,[208] – пишет Золя Полю Алексису. Обоснованное подозрение: на этот раз в беспощадном состязании его победил Пьер Лоти. Зато – словно бы в вознаграждение и утешение за понесенную от академиков обиду – Золя избирают председателем Общества литераторов. И он видит в этом знак, побуждающий к продолжению: надо все-таки добиться официального признания! Стоять на своем, пока не сделают «бессмертным»! Однако, несмотря на такое упорство во всем, что касалось Академии, и несмотря на уговоры группы молодежи, Золя отказывается выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата. «Депутатский мандат – одна из самых тяжелых вещей, какие мне известны, если не хочешь быть депутатом-бездельником, – пишет он Ноэлю Клеман-Жанену. – И поскольку я человек совестливый и трудолюбивый, я предпочитаю, прежде всего прочего, работать над завершением моего труда».[209]

В самом деле, постоянно возрастающие цифры продаж книг свидетельствуют о безусловном признании читателем и стимулируют писателя, потому Золя тут не был оригинален: книги, в последнее время особенно, раскупались, как горячие пирожки, а это, в свою очередь, вызывало желание замкнуться в литературе. У Эмиля с избытком хватало средств на то, чтобы содержать две семьи. Будучи полностью защищен от финансовых проблем, он думал, что избрание во Французскую академию, узаконив успех его сочинений, могло бы привлечь к нему еще

больше читателей. «Мы принадлежим к той породе, для которой Париж всегда будет стоить мессы»,[210] – заявил он однажды, оправдывая свое упорное желание облачиться в зеленый фрак. Впрочем… впрочем, торопиться ему некуда. Он уверен в том, что его черед настанет, если только он будет все так же упорно трудиться, сочиняя свои романы.

«Человек-зверь» стал семнадцатым томом цикла «Ругон-Маккары». В соответствии с первоначальным планом Золя оставалось написать еще три книги. Он не хотел переходить за двадцать томов, чувствовал порой, что устал, выдохся. Его перо бежало слишком быстро. Иногда ему казалось, будто стиль у него слишком небрежный, неточный, но исправлять написанное не хватало терпения. Как можно не повторять одни и те же фразы, одни и те же мысли, когда написано так много? Шестого марта 1889 года он жалуется на усталость Гюисмансу: «Вся лень, которую я подавлял, распустилась пышным цветом. Мне достаточно было бы сделать крошечное усилие, чтобы больше никогда не прикасаться к перу. На меня нашло безразличие, ощущение, что не стоит стараться!» А чуть позже пишет Жюлю Леметру: «Да, несомненно, я начинаю уставать от своего цикла, но пусть это останется между нами. Мне необходимо его закончить, не слишком изменяя методы работы. А после этого я посмотрю, не слишком ли стал стар и не боюсь ли упреков в том, что изменил взгляды».[211]

Никогда и никому в подобном не признаваясь, Золя считал себя единственным, кто может сравниться с Бальзаком. Для того чтобы достроить здание «Ругон-Маккаров», он должен по примеру своего великого предшественника дополнить цикл беспощадным исследованием финансовой среды. И вот, едва оторвавшись от «Человека-зверя», он с головой уходит в «Деньги». Для начала, в полном соответствии с раз и навсегда выработанными им для себя правилами, усердно занимается «полезным» чтением, консультируется у экспертов по вопросам анонимных обществ, промышленного развития, приращения капитала, рискованных спекуляций, банковских операций. Эмиль встречается с биржевыми маклерами, бывает на Бирже, наспех делает пометки, потом записывает в «набросках»: «Хотелось бы, чтобы этот роман не вызывал отвращения к жизни (пессимизма). Жизнь тут должна быть такая, как она есть, но, несмотря ни на что, приемлемая ради любви к ней самой, к ее силе. Одним словом, я бы хотел, чтобы новая книга вышла из всего цикла „Ругон-Маккары“».

В этом согласии с жизнью «как она есть» проявляется желание Золя быть счастливым вопреки всему, что бы ни случилось. Если же говорить о чувствах, то это отношение к

жизни было вызвано его связью с Жанной и распространялось на эту связь, благотворную, по его мнению, несмотря на раскаяние и страх, что все выплывет наружу. Благодаря юной возлюбленной у Эмиля вновь пробудился молодой аппетит, он готов был накинуться на все, что предлагала ему жизнь, пусть даже плоды ее окажутся горькими. Может быть, он даже забросит сочинительство, чтобы посвятить Жанне все свое время? Нет, до этого пока еще не дошло!

С первых же строк «Деньги» его захватили. В этом романе писатель противопоставляет доманиальное, неподвижное, прочное богатство, закрепившееся на своих землях, своих камнях, современному, переменчивому, быстрому, непрочному богатству, нажитому благодаря спекуляции. Кругооборот денег, переходящих из рук в руки, конечно, способствует развитию торговли и промышленности, но также и доводит неосторожных до разорения. Может быть, когда-нибудь потом будет так, как хочется утописту Сигизмонду Бушу, может быть, народ достигнет такого состояния справедливости и социального благополучия, когда не будет ни заработной платы, ни прибыли, ни богатых, ни бедных, а только райские братство и невинность.

Герой «Денег», финансист Саккар, основавший Универсальный банк, вступает в конфликт с еврейским банкиром Гундерманом, который в конце концов доводит его до банкротства, а многие скромные вкладчики оказываются разоренными. Тем не менее этот хитрый и самонадеянный авантюрист успевает завлечь в свои сети обольстительную Каролину Гамелен, которая становится его любовницей. Она любит Саккара за его молодой темперамент, за его неукротимость в борьбе, за его веру в жизнь, любит, несмотря на все катастрофы, которые он вызывает. Именно в образе этой женщины, сломленной множеством неудач и разочарований, передается философский смысл романа. «Конечно, – пишет Золя, – у нее не оставалось никаких иллюзий, жизнь решительно оказалась несправедливой и подлой, как и природа. Откуда же это безрассудство – любить и желать ее?.. Ах, эта радость бытия, собственно, ничего другого и не существует».

Банк Саккара – католический, консервативный, реакционный банк; банк Гундермана – еврейский и протестантский, с республиканским оттенком. Описывая борьбу двух этих храмов денег, Золя взял за образец тайную войну, которую вели между собой банкир Бонту, основатель Всеобщего союза, и семья Ротшильд, войну, которая закончилась крахом 1882 года и разорением сотен мелких акционеров. Словом, зашифрованный роман. Именно то, что так любят читатели! Однако Золя

беспокоился: «Ничто, по-моему, так не противится искусству, как денежные вопросы, как эти материальные интересы, в которые я полностью погрузился, – пишет он Ван Сантену Кольфу. – Вы спрашиваете, доволен ли я: я никогда не бываю доволен на середине книги, а на этот раз сложное дело, с которым я бьюсь, и в самом деле оказалось настолько неподатливым, что иногда я чувствую себя совершенно разбитым. Ну, позже поглядим!»[212]

Через некоторое время Эмиль встретился с Гонкуром у Шарпантье. «Он [Золя] немного поправился, не такой желтый, не такой сморщенный и не такой мрачный, у него елейный и фальшиво дружеский голос, – записывает Гонкур. – Он не вполне доволен своей книгой, но нельзя говорить об этом вслух: может повредить… В конце концов, Деньги – это хорошо как мотив деятельности, но в Деньгах, взятых как тема исследования… слишком много денег».[213]

Роман начинает печататься с продолжением в «Жиль Блазе» 30 ноября 1890 года. Друзья поздравляли Золя, сумевшего внести человеческую нотку в столь отвлеченный сюжет, хвалили сцену краха, интересовались характером того или другого персонажа, но в целом тон близких ему людей оказался довольно сдержанным. Журналисты же, со своей стороны, слишком часто раньше писали о книгах этого автора и теперь тщетно искали новые, неиспользованные формулировки для того, чтобы расхвалить его или разгромить. Тем не менее Жюдит Готье в «Призыве» («Rappel») подчеркивает, что Золя, похоже, увлекся теориями Маркса, которым следует его персонаж, Сигизмонд Буш; а Анатоль Франс во «Времени» («Le Temps») заключает: «Стиль, все более и более простой, сгущен и небрежен. Но эту тяжелую махину оживляет удивительная сила».

Читатели, давно привыкшие скупать все романы Золя, бросились в книжные лавки, и Золя тут же успокоился. Он все еще в моде, даже если некоторые собратья по перу и воротят нос от его сочинений.

Его пригласили в Руан на открытие памятника Флоберу, и он отправился туда поездом вместе с преувеличенно жизнерадостным Гонкуром и похудевшим, измученным, растерянным Мопассаном. Под дождем и ветром, хлеставшими сад Музея, где проходила церемония, Гонкур произнес речь, в которой восхищался талантом, простотой и добротой автора «Госпожи Бовари». Голос у него срывался. Временами от налетавших порывов ветра с дождем у оратора перехватывало дыхание. Среди этой бури монумент, высеченный резцом Шапю, напоминал кусок сала. «До чего печально выглядит это сборище провинциальных деятелей, убогих журналистов и равнодушных

обывателей рядом с таким напоминанием о великом человеке! – думал Золя. – Можно подумать, мы на местной сельскохозяйственной выставке!» Эмиль дрожал, кутаясь в пальто с поднятым воротником. Мысли его были далеко, он видел перед собой отшельника из Круассе во всем блеске его гнева, его хлестких суждений, слышал раскатистый смех Гюстава и невольно сравнивал его участь со своей: то же упорство в труде, то же принесение жизни в жертву литературе. Но не лучше ли, если хочешь, чтобы потомки тебя не забыли, написать мало книг, как сделал Флобер?

XX. Отец семейства

Золя приближался к окончанию работы над «Ругон-Маккарами» со смешанным чувством надежды и тревоги. Какая внезапная пустота образуется в его жизни после того, как он допишет до конца последнюю страницу последнего тома цикла! Куда приложит он свои силы после того, как избавится от «Естественной и социальной истории одной семьи во времена Второй империи»?

«А чем вы займетесь потом?» – спросил у него как-то Поль Алексис. Золя немного подумал и ответил уклончиво: «Потом, друг мой, потом? Может быть, займусь чем-нибудь совсем другим… К примеру, историей, да-да, чем-нибудь вроде истории французской литературы… Или стану писать сказки для детей… А может быть, и ничего не стану делать… Я буду таким старым!.. Я отдохну…»[214]

Но пока он ни о чем не хотел думать, кроме своего следующего романа. В «Разгроме» ему хотелось рассказать о безумной войне 1870 года и об унизительном поражении Франции, склонившейся перед немецкой спесью. Сам Золя не был тогда мобилизован и теперь расспрашивал тех, кто пережил эту чудовищную бойню. Он жадно листал тетрадки, куда некоторые из воевавших изо дня в день записывали свои впечатления, читал газеты того времени, зарывался в книги, посвященные разгрому французской армии, изучал карты генерального штаба и даже нанял в Реймсе ландо, чтобы проследовать по маршруту Седьмого корпуса до Седана. В этой исследовательской поездке его сопровождала жена. Кучером был старый солдат, прошедший тот же путь в 1870-м. Удобно устроившись вместе с Александриной на подушках, Золя взирал на скучный пейзаж и воображал его заполненным снующими людьми в мундирах, обреченными на разорение и гибель, растерзанными снарядами. Люди падали, другие люди бежали в атаку, раненые стонали между рядами, толпа растерянных пехотинцев брела по дороге под градом картечи… Золя видел все это среди мирной пустоты пейзажа. И пока Александрина, убаюканная рысцой лошадки, клевала носом, он грезил наяву, замечал, записывал в голове эту эпопею национального бедствия.

В воскресенье 19 апреля Золя с женой прибыли в Стонн, а оттуда в Рейи, где трактирщик обрушил на них поток сведений и баек. В Седане бывший мэр города, Шарль Филипотто, сам провел писателя по окружавшим город полям сражений. Повсюду, где они появлялись, у людей просыпались воспоминания,

развязывались языки. Золя с блокнотом в руке побывал на полуострове Иж, куда пруссаки сгоняли пленных, в замке Бельвю – месте подписания капитуляции французской армии, в доме, где больной и измученный Наполеон III после поражения встречался с Бисмарком, в Бульоне, в Бельгии, где император ночевал после того, как сложил оружие… Он был везде одновременно, и с войсками, и с генералами. Одной недели ему хватило на то, чтобы прожить всю войну так, как будто он сам ее прошел. «Видите ли, – объяснял Золя сотруднику „Маленького арденнца“ („Petit Ardennais“), – существуют два способа собирать сведения. Первый заключается в том, чтобы собирать их долго, медленно перемещаться, изучая местность, смешиваться с населением, жить какое-то время его жизнью. Второй – это и есть мой способ – состоит в том, чтобы быстро пронестись через край и унести благодаря этому с собой мгновенное, стройное, яркое впечатление».

В воскресенье 26 апреля чета поездом вернулась в Париж. Золя вез с собой сто десять страниц заметок для «Разгрома».

Вернувшись в столицу, он привел в порядок свои бумаги, закончил несколько срочных дел, обсудил в Обществе литераторов возможность заказать Родену статую Бальзака, принял участие в банкете в честь авторов и исполнителей оперетты по роману «Мечта», но все никак не мог решиться приступить к работе над «Разгромом».

Два обстоятельства мешали ему выбросить из головы все лишнее и начать писать: Александрина хотела совершить вместе с мужем поездку в Пиренеи, а Жанна снова была беременна. На закате жизни стать отцом двоих детей! Он едва решался поверить в такое счастье, такая невероятная удача кружила ему голову и одновременно пугала. Он опасался за здоровье Жанны. Имеет ли он право отлучиться во время ее беременности, на которую он и не надеялся? Александрина, которая по-прежнему ни о чем не догадывалась, настаивала на поездке. И Золя уступил. Он чувствовал себя настолько виноватым перед женой, что ни в чем не смел ей отказать. Однако, прежде чем тронуться в путь, он принял меры предосторожности и поручил Жанну дружескому участию Анри Сеара. «Зайдите как-нибудь днем к моей бедняжке Ж. [Жанне], – пишет он ему 8 сентября 1891 года. – Скорее всего, ей ничего не потребуется. Но мне будет спокойнее, если я буду знать, что рядом с ней, в ее распоряжении есть такой надежный и скромный друг, как вы. Я послал доктору ваш адрес с тем, чтобы он известил вас, как только состоятся роды. Окажите мне любезность вместе с ним зарегистрировать ребенка: Жак, Эмиль, Жан, если родится мальчик, и Жермена, Эмили, Жанна, если

родится девочка. В качестве второго свидетеля возьмите с собой Алексиса или того, кого назовет вам Ж. Если случится несчастье, замените меня и постарайтесь известить меня как можно скорее. Я придумаю способ дать вам свой адрес. Завтра мы уезжаем в Бордо и к Пиренеям. И благодарю вас от всего сердца, старый мой друг, все, что бы вы ни сделали, будет добрым делом, потому что я несчастлив».

В тот же день он отправил еще одно письмо, на этот раз доктору Анри Делино, который наблюдал за Жанной: «Мой друг Анри Сеар живет в доме 10 по улице Казны. Мы договорились о том, что если вы будете опасаться осложнений во время родов, то немедленно вызовете его телеграммой. Я говорю это просто из боязни несчастья. В другом случае известите его только тогда, когда все закончится, чтобы он вместе с вами сделал заявление… Полагаюсь на ваше сердце и на вашу скромность… Не пишите мне, что бы ни случилось. Сеар получил все необходимые распоряжения».

Девятого сентября Золя, исполненный страха и раскаяния, оставил в Париже свою любовницу на сносях и отправился в Пиренеи с женой, которой захотелось поездить по стране. После Бордо чета отправилась в Дакс, По, Котре и Лурд. Этот последний город покорил Золя исходившим от него ощущением бедности и непомерного благочестия. Он вообще не собирался останавливаться в Лурде, но провел здесь четыре дня, бродя по улицам и делая записи в расчете на книгу, которая пока неопределенно ему грезилась. Его заворожил, скажет он позже Гонкуру, «вид этих больных, этих несчастных, этих умирающих детей, которых приносят к статуе, этих людей, распростертых на земле и смиренно молящихся», его заворожил, уточнит он, «облик этого города веры, рожденного видением четырнадцатилетней девочки, облик этого мистического города в век скептицизма». [215]

Продолжая путешествие под проливным дождем, Золя с женой добрались до Испании. Александрину очаровала живописность этого края страсти, но Эмиль страдал от отсутствия известий. Беременность Жанны должна была завершиться. А он, вместо того чтобы сидеть у изголовья подруги, фланирует по улицам Сан-Себастьяна. Как же ему узнавать о развитии событий, не возбуждая подозрений у Александрины? Наконец он придумал уловку и 20 сентября 1891 года так сообщил об этом своему неизменному наперснику Анри Сеару: «Если вам понадобится сказать мне что-то особенное, пишите мне в Биарриц до востребования, для г-на А.Б. 70. Я пробуду там до 25-го числа. Кроме того, прошу вас, если Жанна разрешится от бремени и

доктор сообщит вам новость, поместить в „Фигаро“, в разделе частных объявлений, заметку, которую вы подпишете фамилией Дюваль и в которой известите меня обо всем намеками. Напишите о фазане, если родится мальчик, и о фазаньей курочке, если родится девочка, словом, так, как будто речь идет о птичнике».

Выдумав лихую, с его точки зрения, систему тайной переписки, Эмиль радовался, словно мальчишка, играющий в шпионов. Никогда еще у «Фигаро» не было такого усердного читателя. Ждать ему пришлось недолго. Раскрыв газету 27 сентября, он наткнулся на следующее объявление: «А.Б. 70. Великолепный фазан благополучно прибыл 25. Дюваль».[216] Золя, обезумевший от радости, ответил Анри Сеару: «Спасибо, старый друг. Я узнал о событии из вашей заметки, и, несмотря на крупные неприятности, в которые непременно ввергнет меня эта история, все мое существо глубоко взволновано. В моем возрасте такие вещи действуют очень сильно. Еще раз спасибо за все, что вы сделали».[217] Теперь, когда в его «птичнике» завелся этот желторотый «фазан», Золя почувствовал себя еще более виноватым перед Александриной. Он хотел бы во весь голос прокричать ей о своем счастье, а ему приходилось из осторожности, из благоразумия, из милосердия сдерживать свои порывы. И, словно для того, чтобы добиться прощения, он сделался с ней особенно предупредительным.

Вернувшись 12 октября в Париж, Золя бросился к Жанне, едва оправившейся от родов, чтобы расцеловать ее, крошку Денизу, которой к этому времени исполнилось два года, и малыша Жака, который, вдоволь напившись молока, дремал в колыбели. Его настоящая семья была здесь. И когда он сюда приходил, то чувствовал себя так, словно ему не больше тридцати пяти лет. Увы! Возвращаясь под супружеский кров, где ждала его женщина заката его дней, он вновь обретал свой истинный возраст. Александрина была его зеркалом. Он больше не испытывал к ней влечения, но сохранил неизменную привязанность, питавшуюся воспоминаниями и привычками.

Гроза разразилась внезапно. Извещенная анонимным письмом о связи мужа с Жанной Розеро, Александрина потребовала объяснений. Золя, припертый к стене, бормотал неуклюжие оправдания: плотское влечение, потребность иметь потомство… Перед ним была ведьма с лицом, перекошенным от ревности и унижения. Она требовала от него порвать с Жанной. Дрожа всем телом, он отказывался. И боялся: не обратится ли ярость супруги на Жанну, на детей?

В панике Золя снова обратился за помощью к славному Анри

Сеару, послал ему пневматическое письмо, датированное 10 ноября: «Мой старый друг, жена совершенно помешалась. Я опасаюсь несчастья. Зайдите, пожалуйста, завтра утром на улицу Сен-Лазар и сделайте все необходимое. Простите меня». Слишком поздно! Александрина помчалась в дом 66 по улице Сен-Лазар, ворвалась в квартиру, оскорбила Жанну, взломала секретер, вытащила из него письма Эмиля к любовнице и, кипя яростью, убежала со своей добычей. Удрученный Золя только и мог, что оправдываться в телеграмме перед молодой женщиной: «Я сделал все, чтобы не пустить ее к тебе. Мне очень плохо. Не отчаивайся».

Александрина сожгла письма мужа, после чего немного успокоилась. В конце концов, между ней и Эмилем сохранились только дружеские отношения. Так пусть же он ищет в другом месте низменные удовольствия, в которых она ему отказывает! Главное – чтобы внешне все выглядело пристойно. В глазах света она хотела оставаться законной и уважаемой супругой знаменитого писателя Золя. Но оттого, что пришлось смириться со свершившимся, не уменьшились ни ее обида, ни стыд. Просто-напросто из страха перед тем, что скажут люди, она постаралась заглушить терзавшую ее боль. Они собирались 11 ноября отправиться в поездку по Бельгии? Что ж, прекрасно, они туда поедут! Как ни в чем не бывало! Золя ничего не оставалось, кроме как принять этот образ жизни, который, впрочем, его и устраивал. Он шел, куда его вели, с покорностью ребенка, не знающего, что сделать, чтобы загладить свою вину. Кое-как примирившаяся чета побывала в Брюсселе и Антверпене, после чего, утихшая, остывшая и угрюмая, вернулась в Париж.

И тут наконец Золя ушел с головой в работу. Среди многочисленных превратностей судьбы он нашел время написать большую часть «Разгрома». Публикация романа с продолжением началась в «Народной жизни», когда заключительные главы еще не были дописаны. Благодаря безжалостно точному рассказу о последних боях, об осаде Парижа, о Коммуне это произведение прозвучало как приговор Наполеону III, императрице и бездарным генералам, которые довели Францию до поражения. Связующей нитью повествования стала история дружбы двух солдат, Жана Маккара, сына земли, и Мориса Левассера, буржуазного интеллектуала. Их глазами читатель видит идущие к Седану войска, усталость, страх новобранцев, бессмысленность противоречивых приказов на полях сражений, бесполезное жертвоприношение тысяч мальчиков, едва вставших под ружье, страдания пленных, согнанных пруссаками на полуостров Иж, бегство мирного населения, осаду Парижа, капитуляцию, уличные бои между французами. Жан Маккар, человек уравновешенный,

спокойный и здравомыслящий, становится на сторону регулярных войск, которые пытаются навести порядок в столице, а восторженный Морис Левассер тем временем сражается вместе с коммунарами на баррикадах. Жан Маккар, не узнавший друга в яростной схватке, смертельно ранит его штыком. Умирая, Морис Левассер мечтает об очистительном огне, который уничтожил бы Париж и буржуазное общество, освободив место раю братства. В отчаянии от того, что убил лучшего друга, Жан уходит, «направляясь в будущее, к великому и тяжкому труду переустройства всей Франции».

«В неистовстве последней борьбы Морис уже больше двух дней не думал о Жане. Да и Жан, вступив в Париж вместе со своим полком, посланным на помощь дивизии Брюа, ни на минуту не вспомнил о Морисе. Накануне он сражался на Марсовом поле и на эспланаде Инвалидов. А в тот день ушел с площади Бурбонского дворца только к двенадцати часам дня, чтобы захватить баррикады в этом районе до улицы де Сен-Пер. Обычно спокойный, он мало-помалу рассвирепел в этой братоубийственной войне, как и его товарищи, которые пламенно желали только одного: поскорей отдохнуть после стольких изнурительных месяцев. Пленные французы, которых привезли из Германии и зачислили в Версальскую армию, злобствовали против Парижа; к тому же рассказы об ужасных действиях Коммуны выводили Жана из себя, оскорбляли в нем уважение к собственности и порядку. Жан принадлежал к тем людям, которые составляют оплот нации, он остался разумным крестьянином, жаждущим мира для того, чтобы можно было снова приняться за труд, жить обыкновенной жизнью. Распалясь гневом, он забыл даже самые сладостные мечты, но особенно бесили его пожары. Сжигать дома, сжигать дворцы только потому, что враг сильней? Ну, нет, шалишь! На такие штуки способны только бандиты! Еще накануне, когда он видел, как восставших расстреливают без суда, у него сжималось сердце, но теперь он не знал удержу, рассвирепел, потрясал кулаками, вопил, и глаза у него вылезали из орбит.

С несколькими солдатами своего взвода он стремительно выбежал на улицу дю Бак. Сначала он никого не видел, думал, что баррикада оставлена. Но вдруг он заметил, что между двух мешков шевелится коммунар, целится, все еще стреляет в солдат на улице де Лилль. И в неистовом порыве, словно его подтолкнул рок, Жан ринулся вперед и штыком пригвоздил этого человека к баррикаде.

Морис не успел даже обернуться. Он вскрикнул, поднял голову. Пожары озаряли их ослепительным светом.

– Жан! Дружище Жан! Это ты?

Умереть Морис хотел страстно, исступленно. Но умереть от руки брата – нет, это вызывало в нем омерзительную горечь; она отравляла его смертный час.

– Так это ты, Жан, дружище Жан?

Внезапно отрезвев, Жан, словно пораженный молнией, смотрел на него. Они были одни; другие солдаты уже бросились преследовать беглецов. Повсюду еще сильней пылали дома; окна извергали огромное алое пламя, с грохотом рушились горящие потолки. Жан, рыдая, повалился рядом с Морисом, стал его ощупывать, пытался приподнять, желая узнать, можно ли еще его спасти.

– Ах, голубчик, бедняга, голубчик мой!»[218]

Разумеется, эта упрощенная канва не может идти ни в какое сравнение с двадцатью перекрещивающимися судьбами, которые составляют основу «Войны и мира» Толстого. В произведении Толстого, с его огромными разветвлениями и человеческой глубиной, кажется, будто каждый поворот судьбы был прожит автором. В «Разгроме», несмотря на обилие материалов, герои появляются как свидетели, единственный смысл существования которых заключается в том, чтобы в нужный момент оказаться на месте действия. Слишком чувствуется, что для Золя главное – не изобразить нескольких оказавшихся на войне персонажей, но изобразить целую войну через посредство нескольких персонажей. Однако в этом романе-репортаже о поражении есть колорит, есть сила, искупающие бедность интриги.

К тому времени, когда надо было печатать первые главы книги, Золя умерил свою храбрость. После жесточайшего оскорбления, нанесенного ей Германией, Франция нуждалась в том, чтобы забыть и поверить. Ее терзала жажда мести. Она любила мундиры, парады, знамена, оплакивала утрату Эльзаса и Лотарингии и упивалась патриотическими песнями Деруледа. Генералы снова сделались священными в ее глазах. Она готова была идти за Мак-Магоном и Буланже. Стоило только какой-нибудь сабле блеснуть на горизонте, она тотчас выпячивала грудь колесом. И вот Золя решил все испортить и преподнес ей книгу, рассказывающую о недавней неудаче. Она хочет идти вперед, а он заставляет ее оглядываться назад. Но разве он это делает не от желания помешать ей в будущем совершать те же ошибки? «Вы просите меня подробно рассказать о „Разгроме“, – пишет Золя Ван Сантену Кольфу. – Я предпочитаю в общих чертах объяснить вам, что я намерен сделать. Прежде всего сказать правду о чудовищной катастрофе, в которой Франция едва не погибла. И уверяю вас, что с первой минуты мне это вовсе не показалось

легким делом, поскольку там были обстоятельства прискорбные для нашей гордости. Однако по мере того, как я погружался в этот ужас, я замечал, что давно настало время обо всем сказать и что теперь мы могли бы все сказать, испытывая законное удовлетворение, поскольку приложили огромные усилия для того, чтобы снова подняться. Я верю, что моя книга будет правдивой, что она будет справедливой и самой своей откровенностью принесет пользу Франции».[219]

В газетах поначалу роман очень хвалили, и высшей точкой здесь была статья Анатоля Франса во «Времени»: он восхищался тем, что Золя ничего не утаил «из безобразий, глупостей и жестокостей войны», и тем, что в «Разгроме» он вновь обрел тот «эпический стиль», в котором заключалось главное достоинство «Жерминаля»: «Несмотря на невежественных офицеров и солдат-мародеров, несмотря на ошибки и слабости, несмотря на страшный упадок духа после поражения, книга Золя дает представление о храброй и честной армии, которой недостает только командующих». Тот же колокольный перезвон на страницах «Энциклопедического обозрения» («La Revue encyclopédique»): «Господин Золя, избрав сюжет, достойный его величайшего таланта, продемонстрировал силу описания, мощь мазка, дар оживлять и приводить в движение огромную толпу, каких никогда не проявлял в такой степени автор „Жерминаля“». «Journal des débats» подхватывает: «Когда вы закрываете эту крепкую, плотную книгу, где жизнь бьет через край, где движутся толпы, где копошится, кровоточит и стонет умирающий мир, вас продолжает неотступно преследовать тоска, вызванная страшным и неизгладимым видением». Даже сам Эмиль Фоже и тот сдался: «„Разгром“ Эмиля Золя – очень значительное произведение, думаю, самое значительное из всего, что написал господин Золя». Что касается Эдмона де Гонкура, он, по обыкновению своему, ворчал и ругался: «Во всей книге нет ни одной страницы, написанной большим писателем, нет даже ни одной детали, передающей подлинное волнение от увиденного или пережитого, все – хорошая литература, скопированная с россказней и слухов… Думаю, если бы я сам и Золя видели войну, – и видели с намерением описать ее в романе, – мы могли бы создать своеобразную книгу, новую книгу. Но, не видя ее, мы только и можем, что написать вещь интересную, однако похожую на все то, что было написано раньше на ту же тему».[220]

Разумеется, некоторые из читателей – по преимуществу бывшие фронтовики – заметили в книге мелкие неточности. Золя отвечал им любезно. Но уже поднималась волна протеста против общего смысла произведения. В монархистских, католических,

националистических, милитаристских кругах страсти разгорались, на голову автора сыпались проклятия. Первым, кто заговорил о неблагоприятном воздействии «Разгрома» на общественное мнение, был Эжен Мельхиор де Вогюэ, который в «La Revue de Deux Mondes», отдавая должное таланту Золя, упрекал его в том, что он воздержался от комментариев по поводу ответственности Германии за войну 1870 года и тем самым «принизил» французскую армию и французский народ. Золя ответил критику в интервью, опубликованном в «Le Gaulois»: «Господин де Вогюэ спрашивает, где в моей книге Германия. Но она бродит вокруг нас подобно року… Когда я писал эту книгу, мне казалось, что я занят делом нравственным и патриотическим… Это книга мужества и восстановления, книга, поддерживающая необходимость взять реванш».

Несмотря на такое подробное разъяснение, Золя продолжали шельмовать. Все более и более многочисленными становились газетные статьи, в которых автора «Разгрома» обвиняли в том, что он, под прикрытием якобы достоверного рассказа, хотел подорвать дух нации. В дело вмешались генералы, кричавшие о том, как больно им видеть поруганной французскую честь. В «Католическом университете» аббат Теодор Дельмон заявил, что «Разгром» – это «кошмар, позорный кошмар, столь же безнравственный, сколько антипатриотический», смешал с грязью автора, «пожелавшего изобразить нашу армию как сборище мародеров, трусов и пьяниц», в то время как в двух последних главах он же «амнистировал» «злодеев» и «заправил» Коммуны. Другие священники поддержали Дельмона.

Читая все эти возмущенные статьи и письма, Золя понимал, что неукротимые военные, защитники воинской чести, ограниченные священники, сторонники поддержания любой ценой общественного порядка и враги свободы слова негласно объединяются для того, чтобы преградить ему путь. Теперь в упрек ему ставили не грубость его книг, но их политическое значение. Люди кричали о том, что они – лучшие французы, чем он! До какой же степени дойдут они в своей ненависти к правде?

Бросая вызов общественному мнению, Золя отправился на открытое заседание Французской академии, в ходе которого Пьер Лоти читал похвальное слово своему предшественнику, Октаву Фейе. И там он услышал из уст свежеиспеченного академика жестокий разнос натурализма, с удовольствием изображавшего «подонков населения больших городов».

«Эта беспредельная грубость, этот высмеивающий все цинизм – болезненные явления, свойственные парижским заставам, – заявил Пьер Лоти. – Вот почему натурализм, в его сегодняшнем

понимании, – несмотря на громадный талант некоторых писателей этого направления, – обречен на то, чтобы исчезнуть, когда выдохнется то нездоровое любопытство, которое сегодня поддерживает его существование. Идеал же, напротив, вечен».

Несмотря на этот полученный в Академии выговор, Золя в третий раз представил свою кандидатуру на одобрение академиков. Во втором туре он получит всего три голоса, и кресло у него отнимет Эрнест Лависс. Но к этому времени его заботит уже совсем другая церемония: таинство крещения его сына Жака. Его близкий друг и главный его наперсник непременно должен стать свидетелем торжественного события. «Мой старый друг, – пишет он Анри Сеару, – завтра мы крестим нашего малыша Жака в церкви Святой Троицы, в половине четвертого. Если бы вы могли прийти и расписаться в книге как присутствующий, вы доставили бы мне удовольствие».[221]

Однако 1 июня Анри Сеар на назначенную встречу не явился. Должно быть, решил, что Золя и без того потребовал от него слишком много услуг, и теперь из уважения к Александрине ему лучше держаться в стороне от побочной семьи Эмиля. Золя расстроился из-за того, что Сеар не пришел, Жанна чуть не расплакалась и отложила в сторону приготовленную для него коробочку драже. «Не может быть, неужели он больше не вернется!» – всхлипнула она.[222] В действительности, огорчаясь из-за поведения Анри Сеара, она прекрасно понимала отведенную ей роль, знала, что всегда должна держаться поодаль, как служанка. Даже в объятиях Золя она не могла забыть о том, что Александрина прежде была ее хозяйкой. Жанна обязана была относиться к ней с уважением: вопрос социальной иерархии. При таких условиях мысль о разводе ей и в голову не могла прийти. Она должна была обрести свое счастье в том, чтобы держаться скромно и незаметно: ее содержат, но не признают, она ни в чем не нуждается, но и рассчитывать ей не на что.

Понимая, что Жанна никаких хлопот ему не причинит, Золя мог заняться Александриной и попытаться утихомирить припадки ее ревности. Узнав о том, что его жена поделилась с дочерью Шарпантье, Жоржеттой Эрман, своим намерением когда-нибудь расстаться с мужем, он написал молодой женщине: «Можешь быть совершенно уверена, милая Жоржетта, что никогда я не поведу себя как непорядочный человек. Моя жена никогда меня не покинет, разве что, покинув меня, она была бы счастлива, но это не так».[223] И, желая смягчить вспыльчивую Александрину, он предложил ей совершить примирительную поездку в Нормандию. Она согласилась, и вот они уже в Гавре, Онфлере, Трувиле, Этрета, Фекане. Вернувшись в Медан, Золя объяснил Жанне: «Я не

хочу, чтобы наша любовь была омрачена упреками».[224] А оправдавшись таким образом перед любовницей, он через день снова отправился с женой в Лурд. Там, собирая материал для будущей книги, встретил на вокзале поезд с паломниками, побывал в гроте, в больнице, в архиве медицинских сведений, поговорил с историком и хроникером чудес Анри Лассерром, пообщался с множеством журналистов. Путешествие на этом не закончилось: после Лурда Золя с женой побывали в Люшоне, Тулузе, Каркассоне, Ниме, Арле, Эксе, Марселе, Тулоне, Каннах, Антибе, Ницце и наконец в Генуе, где Золя поприсутствовал на банкете, устроенном комитетом выставки, посвященной Христофору Колумбу.

Везде он появлялся в качестве почетного гостя, жена неизменно его сопровождала. В своем тайном несчастье она утешалась тем, что могла изо дня в день играть роль достойной супруги. А Золя тайком от нее, наспех писал Жанне: «Скажи моей малышке Денизе, что папа ее не навещает, потому что очень занят, но все равно он очень ее любит. Он думает о ней и обо всех вас каждый вечер и каждое утро. О вас моя молитва».[225]

Первого октября Золя был в Монте-Карло и там получил от своего издателя сообщение, что продажи «Разгрома» достигли ста пятидесяти тысяч экземпляров. Это известие помогло ему собраться с силами, чтобы начать подготовку к работе над последним томом цикла «Ругон-Маккары», романом «Доктор Паскаль».

В Париж Эмиль вернулся уже поглощенным новой работой, но тем не менее, поскольку за это время успели скончаться три академика, снова выставил свою кандидатуру, претендуя на все три освободившихся кресла. «Если бы было десять, двадцать свободных мест, я бы действовал точно так же, – заявил он сотруднику газеты „Утро“. – Пусть все знают и пусть все усвоят, что я остаюсь и всегда буду оставаться кандидатом».

Дело закончилось тройным поражением, но Золя не был ни удивлен, ни огорчен этим. Возобновляя при каждом удобном случае официальные шаги, он хотел показать всему свету, что Академия выставляет себя на посмешище, упорно отказываясь его избрать, в то самое время, когда его сочинениями зачитываются не только во Франции, но и во всей Европе и даже в Америке. Это, думал он, борьба одинокого исполина со сборищем карликов. Возможно, Эмиль был бы даже разочарован, если бы «эти господа бессмертные» пригласили его занять место среди них. Теперь их неизменные отказы доставляли ему удовольствие. Темпераментная журналистка Северина, преданная делу пролетариата, насмехалась над страстным желанием Золя во что

бы то ни стало пробиться в Академию. Кроме того, она обвиняла его в том, что он, автор «Жерминаля», осуждал смелые анархистские вылазки последних месяцев. Намекая на речи, которые Эмиль произнес во время одного из литературных ужинов, она писала в «L'Écho de Paris» («Эхо Парижа»): «Так вы больше не анархист? Что ж, в конце концов, может быть, в Писании и сказано, что в Академии более радости будет об одном раскаявшемся анархисте, чем о тридцати девяти реакционерах, которые никогда не меняли своих убеждений…»

Однако Золя никогда не чувствовал себя близким к бомбометателям. Они казались ему опасными политическими извращенцами. В ответ на сарказмы Северины он в той же газете, в номере за 13 ноября 1892 года, изложил свои взгляды: «Я стою за медленную переделку общества, я стремлюсь к реформам без насилия и думаю, что прогресс подталкивать не надо, что серьезных социальных проблем ни снарядами, ни динамитом не решают».

Точно так же, как и Северина, хотя и по совершенно другим причинам, Гонкур продолжал негодовать из-за предполагаемых происков Золя, при помощи которых тот намеревался добиться желанных почестей. Когда Золя рассказал ему о поездке в Лурд и объявил, что намерен посвятить книгу этой столице благочестия, Гонкур записал в своем «Дневнике»: «Слушая его, я думал о литературном пройдохе, который почувствовал, что акции натурализма падают, и решил, что нашел хороший трамплин, способный помочь ему выдать себя за мистика и обеспечить большие тиражи, в то время как из антиакадемика он превратился в кандидата в академики».[226] Вскоре после этого он возмущался тем, что Золя публично расточает проявления нежности по отношению к жене, прилюдно называет ее «милочкой» и «душечкой», тогда как всем вокруг известно, что он ей изменяет.[227] Наконец Гонкур предположил, что Золя сделался пациентом доктора Брауна-Секара и тот инъекциями вводит ему лекарства, которые «восстанавливают любовные силы» и превращают его в «человека двадцати пяти лет рядом с молодой женщиной, занявшей место госпожи Золя».[228]

Таким образом, несмотря на все принятые Золя меры предосторожности, все выходки и проступки великого человека были известны маленькой литературной республике. Если он и сожалел об этом, поскольку это наносило урон чести Александрины, то все же как было не испытывать некоторую гордость при мысли о том, что в пятьдесят два года он все еще способен сделаться предметом пересудов и привлечь внимание общества к своим плотским утехам.

Впрочем, он собирался использовать в своей будущей книге этот опыт чувственного и телесного обновления. В романе «Доктор Паскаль», для которого он делал подготовительные записи, речь должна была идти о торжестве любви над возрастом. И на этот раз для психологической стороны романа ему не потребуется ничего, кроме собственных впечатлений, впечатлений стареющего мужчины, возрожденного благодаря появлению в его жизни совсем юной подруги. Весна среди зимы – что может стать более возбуждающим средством для писателя, ищущего сюжет одновременно интимный, связанный с личными переживаниями, и универсальный?

XXI. Конец Ругонов

Когда «Доктор Паскаль» появился в книжных лавках, Золя подарил экземпляр романа, отпечатанный на японской бумаге, своей любовнице, которой к тому времени исполнилось, как и героине романа Клотильде, двадцать пять лет. Эмиль с волнением написал на титульном листе посвящение: «Моей возлюбленной Жанне, моей Клотильде, которая подарила мне царское пиршество своей молодости и вернула мне мои тридцать лет, преподнеся в подарок мою Денизу и моего Жака, двух дорогих детей, для которых я писал эту книгу, чтобы они узнали, когда в один прекрасный день ее прочтут, как я боготворил их мать и какой благоговейной нежностью они когда-нибудь должны будут воздать ей за счастье, которым она утешала меня в моих великих горестях». И в самом деле, рассказывая о любви юной Клотильды и знаменитого биолога Паскаля, которому было под шестьдесят, Золя хотел воспеть собственные романтические отношения с Жанной. Но писатель идеализировал обоих персонажей до такой степени, что они стали совершенно неузнаваемыми. Паскаль прекрасен в старости, сердцем мягок и нежен, разумом тверд, чреслами крепок… Это *альтер эго* автора служит воплощением чистой науки. Все существо Паскаля дышит прямотой, порядочностью и умом. Единственный из членов своего семейства, кто не отмечен роковой наследственностью, он страстно интересуется прошлым Ругон-Маккаров, собирает связанные с ними документы и составляет родословную. Подстрекаемая бабушкой, опасающейся каких-нибудь скандальных откровений насчет своих близких, Клотильда, юная невинная девушка, которой только крылышек за спиной не хватает, пытается уничтожить досье, составленные ее дядей Паскалем. Тот застигает барышню на месте преступления и объясняет ей смысл своих изысканий: именно обличая пороки человечества, мы больше всего можем надеяться на его исцеление. Это утверждение словно озарило Клотильду, которая отдаляется от Церкви и приближается к Науке. Она незамедлительно начнет помогать Паскалю в его работе и, отбросив за ненадобностью свои мистические настроения, сделается его любовницей, «криком проводив утраченную девственность». В объятиях немолодого человека Клотильда познает счастье, которое полностью заменит ей молитвенный экстаз. В соединении плоти чета познает поистине райское счастье. А Паскаль?.. Паскаль сам удивляется, как сильно его тянет к Клотильде. Он омолаживается, прикасаясь к ней, а она

созревает под его ласками. «Ах, молодость! Он испытывал зверский голод, он страстно ее жаждал! На склоне лет это неутолимое желание молодости стало мятежом против угрожающей ему старости, отчаянным стремлением вернуться вспять, начать все сначала». «Ты должна познать жизнь, полюбить ее, увидеть такой, какой следует ее прожить», – говорит престарелый, но вечно юный любовник Клотильде. А позже – для того чтобы заставить умолкнуть злые языки и потому что чувствует себя тяжело больным – уговаривает возлюбленную уехать. И – умирает, так и не узнав, что она ждет от него ребенка. Душеспасительная картина – в последних строках романа мы видим Клотильду, прикладывающую к груди младенца. Причем крошка вскидывает вверх ручонку, «взметнувшуюся, словно знамя призыва к жизни»…

Золя самыми лестными красками живописал историю любви главных героев своего романа. Он любил их так же, как любил незаконную чету, которую сам составлял с Жанной. В «Докторе Паскале» нет никаких дурных запахов, никаких лохмотьев, все вычищено, простерилизовано, надушено, идеализировано. Ярость и неистовство «Человека-зверя» и «Жерминаль» сменились здесь дребезжащим лиризмом. Глава натуралистической школы изменил своей прежней вере, присоединившись к буржуазному искусству. Но он хотел, чтобы эта последняя часть цикла «Ругон-Маккары» стала одновременно и объяснением девятнадцати предыдущих романов, и гимном во славу жизни, «криком здоровья», по его собственному выражению.

Критики, нахваливая Золя за стремительное течение нового романа, о неправдоподобной страсти, которую испытывает юная девушка к старику, высказывались все-таки довольно сдержанно. Некоторые из них упрекали автора в том, что он попытался «драматизировать оглавление» и внести «пламя и поэзию в родословную Ругон-Маккаров». Наконец, были и такие, кто указывал на непоследовательность героя, который, будучи безумно влюбленным в свою подругу, решается ее отослать, и героини, которая соглашается уехать, чтобы оставить шестидесятилетнего возлюбленного мирно трудиться над своими бумагами. Что касается читателей, они доверчиво покупали книгу, чтобы иметь полное издание «Ругон-Маккаров».

Золя завершил свою постройку, положил последний камень и испытывал теперь огромное облегчение. Если его отец не успел закончить строительство своего канала, то он, Эмиль, мог бы хоть сегодня умереть спокойно, поскольку двадцать томов его труда выстроились надежным бастионом за плечами. Но у него не было ни малейшего желания умирать. У него было полным-полно

новых планов. И Жанна была рядом, поддерживая горевший в его душе огонь радости бытия.

Двадцать первого июня 1893 года издатели Золя, Шарпантье и Фаскель, устроили литературный банкет, чтобы отпраздновать окончание «Ругон-Маккаров». Начало праздника в Булонском лесу было назначено на полдень. Среди цветущих лужаек, под навесами, расставили столы. На обед собрались две сотни писателей и художников, они толпой окружили сияющих Эмиля и Александрину. Председательствовал на банкете Раймон Пуанкаре, министр народного просвещения и изящных искусств. Золя с легкой горечью отметил, что ни Гонкур, ни Доде, ни Гюисманс, ни Энник, ни даже Сеар не потрудились прийти на праздник. Должен ли он был воспринимать это как признак того, что Меданская группа окончательно распалась? Сколько же верных товарищей потерялось по дороге! Нам известны причины «неявки» только Сеара: на самом деле друг не мог простить Золя его двусмысленного поведения по отношению к Александрине, ему было неловко находиться рядом с этой распавшейся семьей, где оба супруга взывали к его дружеским чувствам и просили об услугах. Пренебрегли праздником и академики. Правда, всего каких-то две недели тому назад они в очередной раз забаллотировали Золя, предпочтя ему Брюнетьера. Настойчивость «кандидата от натуралистов», который всякий раз оказывался тут как тут, едва освобождалось кресло, их раздражала. Чем больше он упорствовал, тем меньше получал голосов. Зато на банкете присутствовало множество молодых, которые шумно демонстрировали свою привязанность к «наставнику».

Когда подали десерт, Жорж Шарпантье и Эмиль Золя с бокалами шампанского в руках заговорили о дружбе, которая связывает их почти четверть века. Катюль Мендес выступил от имени поэтов, Эдуард Род – от имени иностранных писателей, а Адольф Тарабан – от имени левых интеллектуалов: «О вас часто говорили, что вы – великий социалист. Это более чем справедливо. Вот почему, поднимая бокал за завершение великолепного собора „Ругон-Маккаров“, я пью еще и за завтрашний день, мой дорогой мэтр, завтрашний день, который уже проглядывает во всем вашем творчестве, за прекрасное будущее человеческой солидарности и справедливости, за красное будущее „Жерминаль“». После того как отговорили все ораторы, и Иветт Гильбер спела лучшие свои песни, и актеры продекламировали несколько стихотворений, застольные беседы возобновились: о панамском деле, о грязных политических беспорядках, о военном вторжении в Сиам… И о болезни Мопассана, который был настигнут безумием и угасал в клинике

доктора Бланша. Это последнее обстоятельство сильно тревожило Золя. Если Мопассан умрет в ближайшие месяцы, ему в качестве председателя Общества литераторов придется произнести речь над его могилой, а ему трудно даются публичные выступления! Каждый раз, когда приходится взойти на трибуну, у него от смущения сжимается горло…

Неизбежное случилось две недели спустя после праздника. Мопассан скончался 6 июля 1893 года. А 8 июля, после отпевания в церкви Сен-Пьер де Шайо, его похоронили на Монпарнасском кладбище. Золя, обнажив голову, неуверенным голосом, с запинками, начал свою речь. Он с волнением припомнил быструю и блестящую карьеру покойного, его успехи во всех областях, его нежелание отказаться от жизни, полной удовольствий, ради того, чтобы посвятить себя сочинительству, вспомнил про излишества, которым предавался его друг, и наконец о его заболевании – душевном расстройстве. И внезапно прибавил доверительным тоном: «Иногда при виде крупных творений нашего времени меня охватывает тоскливое беспокойство. Да, перед нами плоды долгого и добросовестного труда, множество книг, прекрасные примеры усердной работы. Вот только все это – слишком тяжелый багаж для славы, и человеческая память не любит отягощать себя таким грузом… Кто знает, может быть, бессмертие заключено скорее в новелле из трех сотен строк, в басне или сказке, которую школьники грядущих веков будут передавать друг другу как безусловный образец классического совершенства?»

Ясно, что этот вопрос, взгромоздившийся на двадцать томов «Ругон-Маккаров», писатель Золя тревожно задавал сам себе. Понимая, что ответа ему никогда не узнать. Сегодняшний успех ничего не доказывает и никаких гарантий на будущее не дает. А может быть, это даже просто-напросто обман? Поддельный билет, с которым пытаешься перебраться через границу времени? Нет, никто не может предугадать, что останется от его трудов в памяти грядущих поколений. Мудрость состоит в том, чтобы принять сегодняшний успех и радоваться ему, не строя дальних и беспочвенных планов.

Вот он и радовался, сделавшись офицером Почетного легиона. И решил, что в последние месяцы хорошо потрудился и теперь имеет право отдохнуть немного на берегу моря, в Бретани, вместе с Александриной. К тому же отдыхом можно воспользоваться для того, чтобы украдкой видеться с Жанной, которая отдыхала в это время с детьми в Сент-Обене. Но Александрину внезапно сразил тяжелый грипп, ей пришлось слечь в постель, и чета оказалась вынуждена безвылазно сидеть в Медане. Огорченный этой помехой, Золя пишет любовнице: «Мне

хотелось бы подарить твоей молодости побольше удовольствий и не принуждать тебя жить затворницей; я был бы так счастлив быть молодым рядом с тобой, омолаживаться твоей молодостью, а вместо этого я тебя старю, я постоянно тебя огорчаю… Это правда, самое большое мое огорчение состоит в том, что, лишив себя поездки к морю, я не смог побыть добрым папочкой с моими милыми детками. Я был бы так счастлив носить на руках мою дорогую девочку и смеяться вместе с ней оттого, что вода холодная! И я научил бы Жака строить из песка крепости, которые смывает набегающая волна».[229]

Вернувшись из Сент-Обена, Жанна с детьми поселилась неподалеку от Медана, в Шевершемоне, на вилле, которую Золя для них снял. Оба местечка были расположены друг против друга и так удобно, что Золя мог, устроившись на балконе с биноклем, смотреть, как играют его дети. Однако стоило ему услышать за дверью шаги Александрины, и он поспешно прятал бинокль в ящик. Зато с недавних пор Эмиль начал ездить на велосипеде, чтобы убрать живот. Золя одиноким спортсменом раскатывал по окрестностям, но достаточно было чуть-чуть покрутить педали – и вот он уже рядом с возлюбленной. И пока Александрина, которая, конечно же, догадывалась о его проделках, кипела от злости, он ласкал детей, рассказывал Жанне о своей работе, о своих успехах, о встречах со знаменитыми людьми, пил чай «в кругу семьи». Затем снова вскакивал в седло и, крепко держась за руль, резво перебирал ногами, возвращаясь к Александрине, встречавшей его с каменным лицом. Эмиль чувствовал, что его челночные поездки между законным и тайным семейными очагами выглядят смешно, но не видел никакого другого решения, кроме того, чтобы продолжать по-прежнему удерживать рядом с собой обеих женщин: одну – для тайной любви, вторую – чтобы показываться с ней в обществе.

Стараясь немного унять раздражение Александрины, он брал жену с собой в самые важные поездки. С ней он отправился и в Англию 20 сентября 1893 года. Прием, который оказали ему в Лондоне, был поистине триумфальным. Заседание в Институте журналистов, где писателя приветствовали троекратным «ура», речь в Линкольнс-Инн-холле, прием в Гайд-холле у лорд-мэра с шествием, звуками труб и аплодисментами, раздавшимися, как только было объявлено о приходе господина и госпожи Золя. Александрина всем этим просто упивалась – до такой степени, что ей почти удалось забыть о сопернице. «Мы передвигаемся под гром оваций, и мне кажется, будто все это происходит во сне», – пишет Золя Эжену Фаскелю. И Жанне: «Да, в одном из уголков Франции остались три бесконечно дорогих мне существа, и, пусть

они были в тени, они все равно разделили со мной мою славу. Я хочу, чтобы ты и мои милые крошки получили свою долю. Когда-нибудь они непременно станут моими детьми в глазах целого света, и тогда все, что здесь происходит, будет происходить и для вас тоже. Я хочу, чтобы они получили имя своего отца».[230]

Хвалебный шум хвалебным шумом, но среди всего этого Золя думал о трех романах, которые собирался написать. Названия он им дал такие: «Лондон», «Рим» и «Париж». В трилогии, выстроенной вокруг одного-единственного героя, речь должна была идти о духовной борьбе священника Пьера Фромана, сына отца-химика и елейно-набожной матери. Утративший веру Пьер Фроман становится воплощением трагических «шатаний» века, в котором сталкиваются между собой наука и мистицизм. В первом томе священник сопровождает в Лурд подругу детства Мари де Герсен, которая осталась парализованной после того, как упала с лошади, и это паломничество дает ему возможность узнать о корыстном использовании человеческих несчастий бессовестными торговцами при попустительстве духовенства. Проведя ночь в молитвах в гроте, Мари снова начинает ходить, но Пьера благодать не коснулась: он знает, что речь идет о случае исцеления под воздействием психологической встряски, и это вполне объяснимо с точки зрения медицины. Пьер любит Мари, но она в благодарность за свершившееся чудо дает обет не принадлежать никому, кроме Господа. Единственное утешение, какое остается молодым людям, это соединиться мысленно в Божием сиянии.

Едва вышедший из печати роман был тотчас запрещен католической церковью. Все читатели-католики кричали о святотатстве. Бесстрашный Золя, невзирая на это, решил приступить к работе над вторым томом трилогии – «Рим», где собирался рассказать о том, как Пьер Фроман старается убедить высшие церковные инстанции отказаться от опоры на имущие классы, а встать, наоборот, во главе благородного движения в пользу обездоленных. Разочарованный интригами Ватикана, он заговорит о несостоятельности официальной религии. Последняя же часть трилогии, «Париж», как было задумано, покажет противостояние Пьера жестокости анархистов, утопиям коллективистов и низким махинациям политиков, и из всего этого герой трилогии сделает вывод, что лишь наука может привести к созданию справедливого общества. Расставшись с сутаной, Фроман в конце концов женится на Мари и рядом с ней обретет счастье в обдуманном, братском и мирном атеизме.

Свое наивное и многословное кредо Золя считал Библией современного человека. Романист был убежден в том, что все

написанное им до тех пор будет разъяснено и оправдано циклом «Три города».

Стремясь собрать как можно больше материалов, он решил поехать в Рим, а стало быть, ему предстояла разлука с Жанной, мучительная и для нее, и для него самого. «Я чувствую себя несчастным, – признается он любовнице. – Это разделение, эта двойная жизнь, которую мне приходится вести, доводят меня до отчаяния. И потому я прошу тебя быть ко мне снисходительной и не сердиться на меня, когда все складывается не так, как мне хотелось бы. Я мечтал сделать всех вокруг себя счастливыми, но теперь ясно вижу, что это невозможно, и мне же первому и достается».[231]

30 октября 1894 года он уезжает в Италию с Александриной, воспринимающей эту поездку как утешение в ее семейных разочарованиях и как запоздалое свадебное путешествие. Точно так же, как раньше в Лондоне, в Риме их принимают удивительно тепло и сердечно, и Золя осознает наконец свою известность за пределами Франции. Наверное, в истории литературы нельзя найти более яркого примера того, как писателя, которого так критиковали и хулили в своем отечестве, возводят на самый высокий пьедестал в других странах. Два маяка освещали в то время весь мир: русский Толстой и француз Золя!

В Квиринале король Гумберт любезно принял писателя, а королева Маргарита тем временем обменялась несколькими словами и улыбками с Александриной. Гости остолбенели при виде роскоши дворца. Они опомниться не могли от изумления, что так высоко вознеслись в иерархии почестей.

Посол Лефебр де Беген попросил для них аудиенции у папы Льва XIII. Но от Золя явно слишком сильно попахивало крамолой, и папа от встречи уклонился. Но если это главное свидание и не состоялось, все же Золя встречался и разговаривал с председателем совета министров Криспи, с прелатами, министрами, папскими и епископскими слугами, с депутатами, с профессорами… Он обегал все закоулки Вечного города, побывал, кроме того, в Милане, Неаполе и Венеции, сделал несколько сотен фотографий и при этом непрерывно объяснял каждому встречному и поперечному, что его отец был итальянцем, что в его жилах течет итальянская кровь. Переходя из одной гостиной в другую, от одного памятника к другому, Эмиль так наслаждался своей славой и оказываемыми ему почестями, что уже совсем не торопился возвращаться в Медан.

Во время приема во французском посольстве при нем заговорили об аресте некоего капитана Альфреда Дрейфуса, которого обвиняли в шпионаже. Это имя ничего ему не говорило,

и история его совершенно не заинтересовала…

XXII. Две семьи

После встречи с четой Золя, только что возвратившейся в Париж в декабре 1894 года, Гонкур посмеивался над их пристрастием к Италии, где их принимали с распростертыми объятиями. Особенно ликовала Александрина, заявившая, что там она увидела «вежливость, какая и положена в обращении со светскими дамами». Превосходное настроение супруги вселило в Золя некоторую надежду, и он принялся еще более резво бегать из одной семьи в другую. Но все же время от времени терпение Александрины лопалось. И тогда Золя, как он сам признавался Альфонсу Доде, снова начинал бояться, что окажется «залитым кровью своих детей, кровью своей любовницы, которых зарежет его жена, и бояться, что его самого изуродует эта фурия».[232] На самом деле Александрина все реже и реже впадала в ярость. Устав сражаться с тенью, она готова была смириться с тем, что муж ей изменяет, но только при условии, что внешне все будет благопристойно.

Практичный Золя снял для Жанны и детей виллу в Вернее, совсем рядом с Меданом. Каждый день он ездил на велосипеде навещать любовницу, пил с ней чай в саду, под серым зонтом с зеленой подкладкой. Теперь, когда он возвращался домой, Александрина даже не упрекала его за эти отлучки. Она, так и не узнавшая радости материнства, постепенно начинала понимать, как неотразимо обаятельны для ее мужа дети, которых родила ему другая женщина, какое для него блаженство быть рядом с ними. Она допускала, что он чувствует себя увереннее при мысли о том, что часть его самого продолжит существование в потомстве. Дошло до того, что ей уже почти хотелось сблизиться с этими маленькими незаконными отпрысками великого Золя.

Когда с наступлением первых осенних холодов все перебрались в Париж, Александрина заявила, что хочет увидеть Денизу и Жака. Теперь время от времени, по четвергам, она вместе с Эмилем водила детей в Тюильри, в Пале-Рояль, на Елисейские Поля или в Булонский лес. Играя, ребятишки то и дело робко поглядывали на незнакомую даму, которая так печально им улыбалась, и на отца, который выглядел одновременно смущенным и счастливым. В другие дни случалось, что под руку с отцом шла их мать. Вскоре Эмиль научил Жанну ездить на велосипеде, и они стали кататься рядышком по лесным дорожкам. Александрина по-прежнему не видела в этом ничего предосудительного. Растроганный тем, как хорошо относится жена к его тайной семье, Золя пылко ее благодарил. «Нас

объединяют не только воспоминания, милая жена, – пишет он ей 31 октября 1895 года, – у нас есть и будущее. Думай о том, что я – твой единственный друг, что я один тебя люблю и хочу, чтобы ты была как можно более счастливой».

Тем временем сплетни продолжали распространяться. Гонкур с наслаждением записывает отголоски этого небольшого частного скандальчика в своем «Дневнике». Он все более враждебно относится к собрату по перу, который слишком много издается, слишком хорошо продается, которому слишком везет. Теперь придирчивый автор «Девки Элизы» не может стерпеть успеха «Рима»: «Мне показалось, что Золя, когда писал этот роман, стремился растрогать добрые души ради того, чтобы увеличить продажи. От этого автора ничего нового ждать не приходится!»[233] Не без злорадства Гонкур задумывается и о том, не настроит ли эта антиклерикальная книга против Золя академиков, чьих голосов он домогается, чтобы занять место Дюма-сына.[234] Такая возможность пробуждает красноречие мемуариста. Все, что предпринимал автор «Ругон-Маккаров», добиваясь, чтобы его избрали в академию, представляется Гонкуру смехотворным и унизительным. Он обличает лесть и подхалимство, которыми этот вечный кандидат щедро пересыпает свои статьи в «Фигаро», когда пишет о «политической элите». «Ах, этот Золя! Неделю назад этот бывший хулитель политических деятелей воспевал всех нынешних и всех прошлых министров, которые еще могли бы вернуться. Сегодня он превозносит евреев, – и только ради того, чтобы заполучить голос Галеви! Нет, по-моему, в истории литературы не было еще подобных перемен взглядов!»[235]

На самом деле, если Золя и напечатал в «Фигаро» статью под названием «За евреев», то лишь потому, что давным-давно почувствовал, в какой злобный заговор вступили клерикальные партии, консерваторы, милитаристы и легитимисты против «избранного народа», обвиняя его во всех преступлениях. Но писатель не пошел дальше этого в своих рассуждениях. Ограничившись общими соображениями, он удовольствовался отрицанием того, что у антисемитизма наличествуют народные корни, и осуждением обычной непреклонности Эдуара Дрюмона, автора «Еврейской Франции». Ему и в голову не приходило, что тот капитан Дрейфус, которого в декабре 1894 года осудили за предательство, затем разжаловали и сослали на каторгу, мог оказаться жертвой патриотической клики. Впрочем, он и не хотел тогда вмешиваться в политику.

Именно потому, что Золя считал себя только писателем, не более того, он всерьез выслушал странное предложение доктора

Тулуза, руководившего клиникой душевных болезней при медицинском факультете Парижского университета и врача-психиатра в больнице Святой Анны. Речь шла о том, чтобы подвергнуть гениального творца медико-психологическому исследованию, целью которого было показать связь между интеллектуальным превосходством и невропатией. Впрочем, как подобный проект мог не привлечь мастера научного романа! Конечно же, основатель натуралистической школы и поборник теории наследственности с радостью согласился. И исследование, которое проводили многие выдающиеся врачи под руководством доктора Тулуза, началось. Результаты его занесены в отчет, где сказано, что рост Золя равняется одному метру семидесяти пяти сантиметрам; что он потерял восемь зубов, а прочие зубы под угрозой разрушения; что у него слегка дрожат руки, есть дефект произношения и наличествует врожденная предрасположенность к невропатии. В отчете этом также сказано, что, по словам «заинтересованного лица», его сексуальные потребности нормальны, хотя долгое время их сдерживала робость, и это подавленное желание «заметно сказалось на его психической жизни». Что касается его характера, то он домосед, не любящий «ни азартных игр – на деньги или каких-либо других, ни карт, ни оружия, ни бильярда». Раньше он был полным и страдал *расширением* желудка, но похудел благодаря строгой диете. По ночам его сны «редко бывают веселыми». Его постоянно останавливают всякого рода препятствия, «ноги отяжелели, и он на них не держится». Зато у него «превосходная память, с легкостью играющая словами», и чрезвычайно развитое обоняние. Ему свойственны страх внезапной смерти и сильнейшая боязнь темноты, яростное неприятие всякой социальной несправедливости. Заключение, вынесенное доктором Тулузом, было таким: «Признаюсь, я никогда не видел столь же умеренного маньяка или импульсивного субъекта, и мне редко приходилось видеть, чтобы некто, свободный от всякого душевного изъяна, проявлял такую психическую стабильность. Однако нельзя отрицать, что господин Золя – невропат, иными словами – человек с расстроенной нервной системой».

Все, казалось бы, верно, вот только добросовестный психиатр не отметил в своем отчете, что сочинительство служило этому «чистосердечному, скованному и робкому» человеку великолепной отдушиной. Что чувственность, не проявлявшаяся в жизни, ярко вспыхивала в его книгах. Что жажда справедливости заставляла его при всей его робости то и дело ставить себя под удар, а природное простодушие, как только Золя брался за перо, превращалось в величие пророка. Ведь на самом деле можно

подумать, что существовали два Золя: забившийся в свой уголок обыватель, больше всего опасающийся, как бы его не потревожил шум жизни, и Золя-памфлетист, который, повинуясь велению своего идеала, не боялся бросить вызов злейшим врагам. Золя, в повседневной жизни старающийся избегать *поступков*, и Золя, стремящийся к ним перед чистым листом бумаги. Кабинетный Золя и Золя-драчун. Одним словом, человек с двойной судьбой, такой же двойной, как жизнь, которую он вел на два дома.

Со своей стороны, Поль Алексис, анализируя характер Золя, отметил, что его друг при обычных обстоятельствах проявляет себя сговорчивым из любви к миру и покою, но в нем внезапно пробуждается героическая воля, как только вспыхивает какой-нибудь литературный или светский скандал. Алексис видит в нем своего рода священника-расстригу с нежной душой, способного, однако, воспламениться, если что-то угрожает его вере. По свидетельству Алексиса, проведя два дня без работы, Эмиль начинает тревожиться. Неделя, проведенная в бездействии, – и он чувствует себя больным. «Великий Боже! – говорил когда-то со смехом писатель. – Другая женщина, кроме моей жены!.. Я только терял бы время даром!» Но с тех пор, как в его жизни появилась Жанна, он переменил мнение на этот счет, правда, скорее всего, только потому, что физических отношений между ним и Александриной уже не существовало. Он все еще был ей верен на свой лад: ведь в жизни у него была единственная настоящая жена. Его робость в гостиных превращала его в медведя. Певец народа, он боялся толпы не меньше, чем общества. «Я по-настоящему бываю собой, я полностью владею всеми моими возможностями только здесь, в своем кабинете, в одиночестве за моим рабочим столом», – говорил Золя Полю Алексису. Потребность в одиночестве не мешала ему испытывать гордость: он желал быть первым во всем и тем не менее постоянно в себе сомневался. Всякий раз, как он перечитывал одну из прежних своих книг, ему хотелось переписать ее заново. Как только книга была напечатана, она переставала для него существовать. Значение имела лишь следующая – та, в которой он надеялся развернуться наконец во всю свою мощь, показать, на что способен. Иногда Золя вздыхал: «Мне кажется, что я все еще начинающий. Я забываю о тех двадцати томах, которые у меня за плечами, и с дрожью спрашиваю себя, чего будет стоить мой следующий роман».[236]

Несмотря на все свои успехи, романист был настроен пессимистически. Постоянная тревога мешала ему наслаждаться собственной известностью. Огромное число читателей, похвалы прессы, деньги, которые текли к Золя рекой, лишь ненадолго

делали его счастливым. Ему поминутно казалось, что вот-вот приключится несчастье. При всей своей известности он каждое утро входил в кабинет и садился за стол, убежденный в том, что и трех строчек не сможет написать. Он постоянно жил настороже, не зная ни уверенности, ни покоя, ни довольства собой. Имея все, он ничем не умел наслаждаться. Другие развлекались, получали удовольствие от спектаклей, от любовных приключений, от попоек с друзьями, он же словно был обвенчан со своим пером и оставался равнодушным ко всему, что исходило не от него…

Может быть, он был чудовищем? Александрина охотно с этим соглашалась, Жанна уверяла, что это совсем не так.

Пока что он вяло работал над «Парижем», о котором Гонкур говорил, что это скорее историческая книга, чем роман. Но Золя знал, что Гонкур его не любит. И вдруг – известие, которое подействовало на него неожиданно сильно: его обидчивый собрат только что, 16 июля 1896 года, скончался в Шанрозе, поместье Альфонса Доде, у которого он гостил. После смерти Флобера и Мопассана уход этого товарища по борьбе, наверное, сильнее всего потряс Золя, мгновенно забывшего обо всем, что их разделяло. Несмотря на свою нелюбовь к публичным выступлениям, он во время похорон произнес патетическую и хвалебную речь об усопшем. И пока Эмиль говорил, его не оставляло чувство, что он делает это от имени всех писателей, поглощенных работой и отказавшихся от простых радостей жизни ради того, чтобы посвятить себя произведению, которое, может быть, через десять лет никто уже не будет читать.

XXIII. Я обвиняю

Октябрьским днем 1897 года композитор Альфред Брюно, автор оперетты по мотивам романа «Мечта», другой – вдохновленной «Нападением на мельницу»,[237] и, наконец – третьей, «Мессидор», для которой Золя сам написал либретто, пригласил соавтора поужинать. За столом Золя казался напряженным и таким беспокойным, словно его терзала едва сдерживаемая ярость. Брюно, успевший за время совместной работы стать другом писателя, испугался и спросил, отчего он так плохо выглядит. И тогда Золя глухим голосом произнес: «Вы припоминаете того артиллерийского капитана, который был приговорен военным трибуналом к пожизненной высылке за предательство и разжалован на Марсовом поле?» – «Право, не помню», – признался Брюно. «Да как же! – волновался Золя. – Капитан Дрейфус. Так вот, друг мой, он невиновен… Это известно, но его продолжают держать на Чертовом острове, в Гвиане, где он с 1894 года тщетно сражается со своей участью… Один-единственный военный желает его реабилитации: подполковник Пикар. Скажет ли он об этом?.. Я пока не знаю, что сделаю, но непременно сделаю что-нибудь… Как можно не попытаться воспрепятствовать совершению подобной несправедливости?»[238]

История капитана Дрейфуса незаметно завладела мыслями Золя. Поначалу, в Риме, услышав о ней, он не придал ей значения. И вернулся в Париж, убежденный, подобно Клемансо, Жоресу и многим другим, в том, что Дрейфус действительно был виновен в предательстве. Газетные статьи не позволяли усомниться! Капитан-изменник действительно поставлял Германии очень важные военные сведения: ведь в одной из корзин для бумаг посольства Германии нашли сопроводительную записку, в которой говорилось о присылке секретных документов, а проведенная экспертиза почерка позволила утверждать, что записка была написана рукой Дрейфуса. И тут нет ничего удивительного, поскольку Дрейфус был единственным в Генеральном штабе евреем, а у этого племени, как всем известно, нет ни малейшего представления о чести. Майор дю Пати де Клам, которому поручено было провести расследование, вызвал Дрейфуса и продиктовал ему письмо, в которое включил несколько оборотов, позаимствованных из той сопроводительной записки, после чего, сравнив почерк, решил, что оба документы написаны одной рукой, и обвинил капитана в государственной измене. Тем не менее, поскольку улики были весьма слабыми, дю

Пати де Клама одолевали сомнения. И тогда некий майор Анри, тот самый, кто обнаружил записку в корзине для бумаг, сговорился со «Свободным словом» («La Libre Parole») Дрюмона, и 29 октября 1894 года в газете появилось сообщение об «аресте еврея Дрейфуса». Теперь у генерала Мерсье, военного министра, уже не оставалось возможности отступить, не покрыв себя позором. Надо было выбирать между служением знамени и оправданием Дрейфуса, и в декабре тот был осужден, разжалован и пожизненно выслан. Тем не менее начиная с 1896 года полковник Пикар, новый руководитель службы разведки, говорил своему начальству о том, что, по его мнению, автор адресованной немцам записки – майор Эстергази, французский офицер венгерского происхождения, человек глубоко порочный и увязший в долгах. Но Пикара принудили замолчать и отправили в Тунис: военному министерству совершенно не хотелось возвращаться к уже решенному делу, потому что при пересмотре его наверняка обнаружилось бы, что следствие велось пристрастно. Лучше было сослать невиновного на Чертов остров, чем подорвать престиж армии!

Обо всем этом Золя постепенно узнавал от друзей. Среди них были писатель Марсель Прево, адвокат Луи Леблуа, вице-президент Сената Шерер-Кестнер, еврейский журналист Бернар Лазар, автор брошюры «Юридическая ошибка: правда о деле Дрейфуса», историк Жозеф Рейнах и, наконец, брат жертвы – Матье Дрейфус. Все они разделяли одну и ту же яростную убежденность в невиновности Дрейфуса и, зная неукротимый темперамент Золя, рассчитывали на то, что он станет выразителем их мнения в прессе.

Поначалу писатель оставался глух к их доводам. Он был слишком поглощен своим романом и не мог отвлечься от работы. Суета, поднявшаяся вокруг этой темной истории, его тревожила и раздражала, и он даже написал Александрине 6 ноября 1897 года: «Я предпочитаю держаться в сторонке, рана слишком загноилась». Но вот ему показали исполненные достоинства и отчаяния письма, которые Дрейфус писал с Чертова острова, и в них он разглядел личность этого велеречиво заверявшего всех в своей честности офицера, сурового патриота, фанатично преданного армии, мечтающего сражаться против Германии. Короче, человека, в котором не было ничего от предателя и изменника. Сохранились заметки Золя, в которых он набрасывает портрет Дрейфуса: «Он весь пропитан патриотизмом (национализмом). Жаждет реванша. Хочет, чтобы ему простили его национальность. Неблагодарная внешность. Мелкие, неприятные черты лица. Хилое сложение. Слабый, надтреснутый голос. Прямолинеен, не

пользовался большим авторитетом. Прекрасный офицер, преисполненный чувства долга, несколько слабохарактерный, проникнут чрезмерным уважением к дисциплине, потому что он – беспокойный еврей. Свято блюдет уставы, придает слишком большое значение букве закона – и все для того, чтобы не оказаться на плохом счету у начальства. Гордится офицерским чином».[239]

Другие документы, которые Золя получил от сторонников Дрейфуса, убедили его в том, что речь идет о тяжкой юридической ошибке, о западне, устроенной антисемитской группой Генерального штаба. Кроме того, на него произвела сильное впечатление та пылкость, с которой сенатор Шерен-Кестнер, человек безупречно честный и порядочный, выступал в защиту осужденного.

И вот, резко переменив мнение, он сообщает Александрине 8 ноября 1897 года: «Здесь произошла страшная юридическая ошибка, ответственность за которую ляжет на все высшие чины военного министерства. Скандал выйдет чудовищный, нечто вроде армейской Панамы. Я выступлю вперед только в том случае, если мне придется это сделать… Однако скажу не тая, что эта драма меня захватывает, поскольку я не знаю ничего более прекрасного». Кроме всего прочего, и одно личное обстоятельство склоняло Эмиля к тому, что он должен ввязаться в сражение. Золя только что выпустил в свет «Париж», последний роман из цикла «Три города», и пребывал теперь в расслабляющем и нагоняющем тоску состоянии нерешительности и праздности. А он по природе своей не умел оставаться бездеятельным! «Если бы я в это время писал книгу, не знаю, как бы я поступил», – признается он позже. То есть, поскольку никакое вымышленное создание не удерживало его в то время за письменным столом, он и смог обратиться к созданиям из плоти и крови. К тому же всю свою жизнь он любил сражаться с противником, вооруженным явно лучше его самого. Стремление проявить свою силу в соединении с почти физической ненавистью и таким же отвращением ко всякой несправедливости и заставило романиста покинуть свое укрытие.

Именно в это время некий банкир, увидевший в газетах факсимильное воспроизведение пресловутой записки, узнал почерк одного из своих клиентов: майора Эстергази! Страсти снова разгорелись. Матье Дрейфус и Шерер-Кестнер ликовали. Золя, в восторге от того, какой оборот принимают события, пишет 20 ноября 1897 года вице-президенту Сената: «Я испытываю непреодолимую потребность крепко пожать вам руку. Вы и представить себе не можете, каким восхищением преисполнило меня ваше удивительное поведение, столь спокойное среди угроз

и самых низких оскорблений. Что бы ни случилось, не существует роли более прекрасной, чем ваша, и я завидую вам в этом. Не знаю, как поступлю сам, но скажу, что никогда еще человеческая драма не вызывала у меня такого жгучего волнения. Это битва за истину, и это единственно праведная, единственно великая битва! Даже при кажущемся поражении в конце неминуемо ждет победа». А 29 ноября 1897 года Александрина получила от него новое признание: «Дело Д. приводит меня в такую ярость, что руки дрожат. Я хотел бы возвысить этот спор, превратить его в огромное дело человечности и справедливости».

Пока он пребывал в нерешительности, а антисемитская пресса бесновалась еще сильнее, обвиняя дрейфусаров в том, что они хотят запятнать Францию в надежде спасти еврея, Клемансо тоже вступился за каторжника с Чертова острова. И тут уж Золя не смог усидеть на месте, перо у него раззуделось. Гуляя по Парижу холодным декабрьским днем 1897 года, он встретил Фернана де Роде, главного редактора «Фигаро». Поговорив о «Деле», они сошлись на том, что Дрейфус оказался жертвой заговора. И Фернан де Роде тут же предложил Золя страницы своей газеты для того, чтобы начать там кампанию в защиту невинно осужденного. В первой статье писатель воспевал мужество Шерера-Кестнера, обращая внимание читателей на его «кристально чистую жизнь». Вторая статья была хлестким ответом тем, кто обвинял друзей Дрейфуса в том, что они якобы создали подпольное объединение, находящееся на содержании у еврейских финансистов. В третьей статье автор по всем правилам нападал на антисемитов, объединившихся вокруг Эдуара Дрюмона: «Мы обязаны антисемитизму опасной злобностью, которой окрашены у нас панамские события. И все прискорбное дело Дрейфуса – дело рук антисемитизма; он и только он подстрекает сегодня толпу, мешает спокойно и достойно, для нашего же здоровья и для нашей доброй славы, признать ошибку… Ожесточенная ненависть к евреям – это яд, который каждое утро вот уже многие годы вливают в душу народа. Отравителей – целая шайка, и „лучше“ всего то, что они делают это во имя нравственности, во имя Христа, выставляя себя мстителями и вершителями правосудия».

Вся Франция кипела. Каждый был либо за, либо против Дрейфуса. Поскольку славный Анри Сеар объявил себя антидрейфусаром, Золя с досадой отказался встречаться с этим давним и верным другом. «Я почувствовал совершенную пустоту окончательного разрыва», – написал он Александрине 27 октября 1897 года. Друзья ссорились, семьи распадались, газеты обменивались оскорблениями. Буйные молодчики толпами

шатались по улицам Парижа, распевая «Антисемитский марш»:

Смерть евреям! Смерть евреям!
Надо их вешать
Без промедления.
Смерть евреям! Смерть евреям!
Их надо вешать
За длинные носы!

Седьмого декабря Шерер-Кестнер упомянул в своей речи имя Золя, и в ответ понеслись выкрики, заставившие его прерваться на полуслове: «Накипь! Золя-позорище! Итальяшка!» Многие читатели «Фигаро», почувствовавшие себя оскорбленными тем, какую позицию занял писатель, отказались от подписки. По просьбе Фернана де Роде Золя прекратил сотрудничество с его газетой, но выпустил брошюру под названием «К молодежи», стремясь побудить юных поддержать его в борьбе за истину. Он писал в этой брошюре: «Молодежь, молодежь! Будь человечной, будь великодушной! Если даже мы ошибаемся, будь с нами, когда мы говорим, что невинно осужденный подвергается ужасным мучениям и что у нас сердце обливается кровью от тревоги и возмущения. Если на одно мгновение допустить возможность ошибки и сопоставить ее с карой – с этой точки зрения, несоразмерной, – и то грудь сжимается от жалости и слезы льются из глаз… Молодежь, молодежь!.. Неужели ты лишена рыцарских порывов, и, зная, что где-то есть страдалец, раздавленный ненавистью, ты не встанешь на его защиту и не освободишь его?.. Не стыдно ли тебе, что не ты, а старики, представители старшего поколения, воодушевляются и сегодня выполняют твой долг – долг безрассудного великодушия? Ах, молодежь, молодежь!..»[240]

В разгар самых ожесточенных споров, когда тон всех газет был одинаково яростным, испустил последний вздох кроткий Альфонс Доде. Во время похорон, состоявшихся 20 декабря 1897 года, два ненавидевших друг друга человека шли вместе за его гробом: дрейфусар Эмиль Золя и антисемит Эдуар Дрюмон. Лил дождь. Золя произнес над открытой могилой обычные в таких случаях слова: «Здесь у каждого мучительно сжимается сердце». Но о чем он при этом думал? Отчего, как ему казалось, сжимались сердца – от печали, которую внушает смерть, стирающая все человеческие разногласия, или от страха перед ненавистью, разделившей французов и нараставшей вокруг него подобно урагану? Несколько минут тому назад, сопровождая катафалк, он слышал, как гудела толпа зевак, когда он шел

мимо…

Седьмого января 1898 года Золя выпустил новую брошюру, «Письмо к Франции», призывая сограждан опомниться от заблуждения, в которое они впали. Это было уже слишком: лагерь антидрейфусаров, признав в Золя главного своего врага, сосредоточил теперь всю силу удара на нем. Леон Блуа, Барбье д'Орвилли, Рошфор, Эрнест Жюде, Дрюмон, Баррес и Моррас избрали его мишенью своих нападок и издевок. К этим очернителям присоединилась большая часть плохо разбирающейся в деле публики. Даже левые не решались нынче поддержать Золя, правые же решительно сплотились вокруг Генерального штаба и Церкви.

Вот в такой атмосфере сведения счетов Эстергази 10 января предстал перед военным трибуналом. Снова был поднят вопрос о том, чьей рукой была написана записка. То, что почерк напоминает почерк обвиняемого, еще ничего не доказывает, утверждали его защитники. Предатель Дрейфус вполне мог его подделать, чтобы подозрения пали на другого. Решив, что доказательства вины Эстергази недостаточно убедительны, правительственный комиссар оправдал его. Публика аплодировала и кричала: «Да здравствует армия! Да здравствует Франция! Смерть евреям!» Присутствовавшие в зале военные хотели триумфально вынести на руках оправданного офицера. Эстергази оправдали, зато Пикар, которого обвинили в том, что он разгласил штатским лицам сведения, извлеченные из секретного досье, был арестован и приговорен к шестидесяти дням тюремного заключения. Одновременно с этим Шерер-Кестнер был выведен из Сената. Полковник Анри, который вел все это дело, торжествовал. Честь армии была спасена!

Если у некоторых из сторонников Дрейфуса после всего этого опустились руки, то Золя чувствовал себя так, словно его подхватила и несет волна. Несправедливость заставила писателя подняться над самим собой. Ему не терпелось выкрикнуть свое возмущение в лицо всему миру. Он знал, на что идет, обличая махинации Генерального штаба. Каждая написанная им строчка попадет под удар закона. Восстав против гражданских и военных властей, он рискует подвергнуться судебному преследованию. Но, может быть, это и есть самое лучшее решение, самый лучший способ добиться того, чтобы правда наконец восторжествовала? Борьба за Дрейфуса станет завершением битвы, которую он неизменно вел против реакционного, мещанского, клерикального, реваншистского духа своих соотечественников. Возможно, она станет и его шедевром. Все чаще и чаще Эмиль вспоминал Вольтера, сражавшегося за оправдание несчастного Каласа.[241]

Подобно Вольтеру, он поставит на карту свою славу, свое спокойствие, даже свою безопасность ради того, чтобы доказать невиновность человека, с которым даже незнаком. Конечно, но ведь Вольтер прославился в глазах потомков в равной мере и своим мужеством в деле Каласа, и своим талантом, явленным в «Кандиде»… Колебаниям больше не было места!

В ночь с 11 на 12 января 1898 года Золя принялся за работу. Мысли беспорядочно теснились в его голове. Перо нетерпеливо царапало бумагу. Назавтра он продолжал писать. В результате получился текст на сорока листках, временно озаглавленный «Письмо президенту республики Феликсу Фору». Поначалу Золя намеревался издать его отдельной брошюрой, потом решил опубликовать в газете, чтобы обеспечить более широкое распространение. Вот только в какой газете? Да в «Авроре», черт возьми, в газете Клемансо! К вечеру 12 января статья была закончена. И тотчас в «Авроре» началось совещание между Бернаром Лазаром, Клемансо, Рейнахом, главным редактором Эрнестом Воганом и автором статьи. Золя начал читать – впечатление грозного фейерверка. Слушатели дрожали от восторга. И впрямь – заключительная часть этого открытого письма великолепна!

«*Я обвиняю* подполковника дю Пати де Клама в том, что он был дьявольским вдохновителем судебной ошибки (хотелось бы думать, что он действовал без заранее обдуманного намерения) и затем в течение трех лет всяческими нелепейшими и преступными способами защищал свое злосчастное детище.

Я обвиняю генерала Мерсье в том, что он (возможно, по недомыслию) стал сообщником преступников, покрыв своим авторитетом величайшую несправедливость нашего века.

Я обвиняю генерала Билло в том, что он, имея в руках неоспоримые доказательства невиновности Дрейфуса, не дал им законного хода и тем самым совершил беззаконие, оскорбляющее человеческое достоинство. Он прикрывался интересами высшей политики, а в действительности – попросту стремился выгородить скомпрометированный Генеральный штаб.

Я обвиняю генерала де Буадефра и генерала Гонса в том, что они стали сообщниками того же преступления; одним, несомненно, руководила ярость клерикала, другим – кастовая солидарность, которая делает из военного ведомства святой, неприкосновенный ковчег.

Я обвиняю генерала Пелье и майора Равари в том, что они произвели гнусное дознание – я хочу сказать: чудовищно пристрастное дознание, – являющееся нетленным памятником наглости.

Я обвиняю (если только медицинская экспертиза не признает их лишенными способности видеть и понимать) трех экспертов, сличавших почерк, неких Бельома, Варинара и Куара, в том, что они составили лживые, злостные рапорты.

Я обвиняю военное ведомство в том, что оно организовало, пользуясь органами печати (преимущественно газетами „Эклер“ и „Эко де Пари“), чудовищную кампанию, направленную к тому, чтобы вести общественное мнение по ложному следу и покрыть свои грехи.

Я обвиняю первый военный суд в том, что он нарушил закон, вынося обвинение на основании не представленного суду документа. Я обвиняю второй военный суд в том, что он, подчиняясь дисциплине, покрыл это беззаконие и совершил, в свою очередь, юридическое преступление, оправдывая заведомо виновного.

Выступая с этими обвинениями, я не забываю статей 30 и 31 закона о печати, изданного 29 июля 1881 года, который наказует за клевету и распространение злостных слухов, и готов нести ответственность за свои слова и поступки.

Я незнаком с людьми, которых я обвиняю, я даже никогда их не видел, у меня нет против них ни злопамятства, ни личной ненависти. Они являются для меня олицетворением социального зла. Я совершаю сейчас революционный акт, направленный к тому, чтобы приблизить торжество правды и справедливости.

Нельзя допустить, чтобы нагло попирались права человека! Всю страсть моей души я отдаю борьбе за торжество справедливости и пламенно верю, что правда восторжествует. Пусть осмелятся вызвать меня в суд, и пусть следствие ведется при открытых дверях!

Я жду».[242]

Когда Золя закончил чтение, раздались аплодисменты. Но Клемансо счел заголовок «Письмо президенту республики Феликсу Фору» слишком официальным и слишком вялым. Зачеркнув его, он решительно вывел: «Я обвиняю» – формулировку резкую словно пощечина.

Рукопись немедленно отправилась в типографию. Золя пожалел о том, что в спешке позабыл упомянуть в своей обвинительной речи подлого Анри. Что ж, ничего не поделаешь, слишком поздно, печатный станок уже заработал. Кое-кто из сотрудников газеты встревожился: не перестарался ли Золя, не слишком ли сильно ударил?

Он вернулся домой такой измученный, такой возбужденный, что не мог уснуть. Теперь, когда камень был брошен, статья ушла в набор, он ошеломленно осознавал последствия своего поступка:

вся его жизнь перевернется, тысячи читателей отложат его книги, Французская академия окончательно и навсегда закроет перед ним двери. А сколько оскорблений его ждет, какой тягостный процесс и какие сплетни будут ходить о нем самом, об Александрине, а может быть, и о Жанне… Он так спокойно жил «до того»! Наверное, слишком спокойно! Сердце у Эмиля сжалось от тоскливого предчувствия, и вместе с тем, как ни странно, он чувствовал себя глубоко, необъяснимо счастливым. Словно теперь наконец был в ладу с собственной совестью. И даже больше: он чувствовал себя так, словно только что дописал свой лучший роман.

XXIV. Процесс Золя

Всего несколько часов понадобилось уличным торговцам, выкрикивавшим заголовок «Я обвиняю», чтобы распродать триста тысяч экземпляров «Авроры»! Каждый в Париже если не прочел сам статью Золя, то, во всяком случае, слышал разговоры о статье. По улицам шли цепочки людей, кричавших: «Смерть Золя! Убить его! Смерть Золя!» Сочинители песенок дали полную волю своему издевательскому вдохновению, распевая про папашу Золя, который везде сует свой нос в надежде урвать кусок пожирней, и просто удивительно было бы, если бы он не сделал этого теперь…

Зевакам раздавали листовки с таким текстом: «Единственный ответ настоящих французов итальянцу Золя: к черту!» Рисовальщик Форен разродился карикатурой, изображавшей немца, прячущегося за спиной еврея, скрывшегося, в свою очередь, под маской Золя. На другом рисунке Золя тонул, протягивая пруссаку письмо с заголовком «Я обвиняю». Знаменитый Каран д'Аш выбрал мишенью своего остроумия Дрейфуса, которого нарисовал расстегивающим брюки, потому что на Чертовом острове он растолстел! Брюан распевал на мотив всем известной народной песни о дурачке Русселе:

Дорогой мэтр, вы переутомились,
С некоторых пор вы принимаете
Бумагу для подтирки за салфетку,
А горшок – за тарелку.
Пора бы вам угомониться,
Доктор Тулуз был прав.

В Алжире оскверняли еврейские кладбища. Эдуар Дрюмон захлебывался в потоке ругательств. Золя называли «верноподданным короля Умберто», «великим ассенизатором», «сутенером Нана», «Золя-разгромом» и «синьором Эмилио Золя»… Ходили слухи о том, что деньги, украденные евреями у честных французов, будут использованы для того, чтобы устраивать уличные выступления в пользу предателя…

Сплотившиеся перед лицом этой злобной коалиции писатели, художники, ученые поддерживали Золя и требовали пересмотра дела. Среди его защитников были Анатоль Франс, Клод Моне, Эжен Каррьер, Виктор Маргерит, Октав Мирбо, Жан Ажальбер, Марсель Прево, Марсель Пруст… На них тоже немедленно обрушилось презрение толпы, их объявили могильщиками

французского величия. Баррес, обращаясь к Золя, написал: «Между нами рубеж».

Власть, стоявшая во главе государства, колебалась: надо ли продолжать это дело или следует предать его забвению? Несомненно, писатель хотел заставить правительство действовать в своих интересах и возбудить общественное мнение процессом Золя в суде присяжных, с дьявольской ловкостью сделав его продолжением процессов Эстергази и Дрейфуса. Главное – не попасться в расставленную ловушку. Но правые неистовствовали. Их официальный представитель в Бурбонском дворце,[243] граф Альбер де Мун, заявил: «Армия не может больше ждать… Этот человек должен получить от командующего армией ответ, которого заслуживает!» Новый военный министр, генерал Билло, смущенный и растерянный, поднялся на трибуну, поблагодарил де Муна, сравнил, запинаясь, армию с солнцем и под аплодисменты собрания пообещал продолжить судебный процесс. В тот день один Жорес осмелился яростно протестовать.

Билло, который уже не мог отступать, посоветовался с юристами и с одобрения Совета министров решил инкриминировать Золя только те пятнадцать строчек, где он обвиняет военный трибунал в том, что тот оправдал Эстергази, «подчиняясь дисциплине», и «совершил юридическое преступление, оправдывая заведомо виновного». Маневр был предназначен для того, чтобы обезоружить Золя, который явно не сможет представить доказательств того, что утверждает. Благодаря этой уловке из спора устраняли все, что имело отношение к собственно делу Дрейфуса, чтобы оставить лишь дело Золя, упрекающего военный суд в том, что он действовал, «подчиняясь дисциплине», а не «по совести».

Несмотря на это «ограничение» своего процесса, Золя тщательно готовился к тому, чтобы предстать перед судьями. Его защищали превосходный адвокат Фернан Лабори и группа защиты, объединившая вокруг Лабори еще четверых: Леблуа, Трарье, Рейнаха и Матье Дрейфуса. Кроме того, Лабори помогали мэтр Жозеф Хильд и мэтр Монира. Адвокатом выпускающего редактора «Авроры» Перрена был Альбер Клемансо, брат Жоржа.

Получив вызов в суд, Золя радостно воскликнул: «На меня подали в суд, друзья мои… Мне предъявлен иск!» Затем написал военному министру, сообщая ему, что разгадал махинацию: «За неимением лучшего решили навязать мне неравный бой, заранее меня связав, чтобы, при помощи известных методов судейского сословия, обеспечить вам победу, на которую вы в честном бою рассчитывать не могли».

Седьмого февраля 1898 года, бледный и решительный, он сел

в запряженный парой лошадей экипаж и отправился во Дворец правосудия. С ним были мэтр Лабори, Альбер и Жорж Клемансо и издатель Фаскель. На площади Дофина их встретила ревущая толпа, из которой доносились выкрики: «Долой Золя! Убить гадину! Смерть евреям!» Поначалу оторопев, словно захлебнувшись от нахлынувшей и ударившей ему в грудь волны, Золя быстро пришел в себя. Каким чудом, каким усилием воли эта библиотечная крыса, это слабое создание, этот постоянно встревоженный человек умел, когда этого требовала честь, обуздать нервы? Твердым шагом поднимаясь по лестнице суда, он удивлялся собственному спокойствию. Он шел не на пытку, а на торжество.

В зале шум нарастал. Золя подошел к скамье подсудимых. Глядя сквозь пенсне, различил лица Жореса, Рошфора, Гонса, Эстергази, Раймона Пуанкаре. Много военных в форме, адвокаты сидели на полу, подобрав под себя ноги, а вот журналисты, актеры… Женщины принарядились, словно пришли на театральную премьеру. Мужчины смотрят сурово. На подоконниках теснятся любопытные…

Когда вошел толстый Делегорг в красной, отделанной горностаем судейской мантии, все встали. По жребию выбрали двенадцать присяжных. Торговцы, служащие, рабочие, рантье – маленькие люди, придавленные сознанием своей ответственности. Первому встречному отдали право разбираться в разногласиях между славной французской армией и писателем-одиночкой. Заместитель прокурора Ван Кассель обличил возмутительное поведение Золя, который вознамерился, используя процесс, заставить суд вернуться к уже решенному делу. Лабори выступил против этой попытки препятствовать обвинению. Суд оказался не на его стороне. Ограничились тем, что потребовали от защиты доказательств подчинения военного суда «приказам, полученным свыше».

Свидетели сменяли один другого. Перед судом предстала Люси Дрейфус, «вдова заживо погребенного», – бледная, в черном платье. Когда Лабори спросил у нее, считает ли она, что Золя действовал чистосердечно и с добрыми намерениями, председатель суда резко оборвал его: «Вопрос снят!» Он еще не раз повторил эту формулировку, чтобы помешать защите воспользоваться благоприятными для Золя показаниями свидетелей. Эмиль со своей скамьи беспокойно следил за тем, как шло разбирательство. Гастон Мери, судебный репортер «Свободного слова» («La Libre Parole»), подробно описал и одежду – «лакированные ботинки, брюки в клетку, черный пиджак, желтые перчатки», – и поведение Золя в тот памятный день: «Он

покусывает набалдашник трости, проводит рукой по шее, энергично перебирает пальцами, словно пианист перед концертом, протирает пенсне, притопывает левой ногой, поправляет воротничок, смотрит вверх, подкручивает усы, хлопает себя по колену, качает головой, раздувает ноздри, поворачивается то вправо, то влево – и все это одновременно и непрерывно. Скажут: мелочи. Согласен. Но любопытно знать эти мелочи, показывающие, какое неистовое возбуждение испытывает этот человек».[244]

Вечером после первого дня слушания дела толпа вела себя так угрожающе, что Золя пришлось обратиться к префекту полиции и попросить у него защиты, чтобы в безопасности покинуть зал суда. На улице возбужденные люди собирались кучками и, потрясая кулаками, вопили: «Смерть предателям! Утопим жидов!» Повсюду били витрины еврейских магазинов.

В следующие дни в качестве свидетелей перед судом предстали генералы и офицеры службы разведки. Генерал Буадефер, начальник Генерального штаба, явился в парадном мундире, с орденом Почетного легиона на груди. Держась спокойно и с достоинством, он заявил, что «виновность Дрейфуса никогда сомнений не вызывала», и, сославшись на государственную тайну, отказался отвечать на вопросы Лабори. Тем же ледяным холодом и такими же высокомерными репликами отделались генерал Гонс и генерал Мерсье. Последний еще прибавил: «Поскольку от меня требуют дать слово солдата, скажу, что Дрейфус был предателем и был осужден по закону и справедливо». Майор дю Пати де Клам, с моноклем в глазу, по-военному приветствовал суд, а затем, выпрямившись, замер в неподвижности и презрительно молчал в ответ на все вопросы адвокатов. Что касается полковника Анри, тот сказался больным, вытащил медицинское свидетельство, пошатнулся и по просьбе генерала Гонса получил от суда разрешение уйти, не дав показаний. Эксперт Бертийон, встав у доски с куском мела, запутался в своих показаниях и удалился под смех присутствующих. Все с нетерпением ждали появления Эстергази. Наконец он вошел, отдал честь и встал, повернувшись лицом к присяжным и скрестив руки на груди. Бледный, вялый, с трагическим выражением на лице, он всякий раз, как только мог, уклонялся от ответов на вопросы Лабори и Альбера Клемансо. Эстергази казался тряпичной куклой, жалко подскакивающей под ударами противника. Когда Альбер Клемансо стал расспрашивать его, в каких отношениях он был с майором фон Шварцкоппеном, немецким военным атташе в Париже, председатель суда бросился на помощь свидетелю:

– Мэтр Клемансо, давайте не будем говорить об иностранных офицерах.

– Почему же?

– Потому что есть вещи, стоящие превыше всего: это честь и безопасность страны.

– Я понял, честь страны позволяет офицеру совершать подобные поступки, но не позволяет об этом говорить.

После окончания этой перепалки Эстергази сел на место среди офицеров, приветствовавших его громкими возгласами.

Когда настал черед полковника Пикара, Золя наклонился вперед, чтобы не упустить ни слова из его показаний. Полковник, затянутый в синий с золотыми галунами мундир, вышел к свидетельскому месту быстрым шагом, развернув плечи, высоко подняв голову. Больше часа он спокойным тоном рассказывал о том, как обнаружил предательство Эстергази, говорил о тех манипуляциях, жертвой которых он стал, и о том, как грустно ему быть удаленным из армии. Сторонники пересмотра дела устроили ему овацию. Но после этого началась очная ставка с бывшими подчиненными Пикара, и все они оказались на стороне противника, все обвиняли «своего» полковника. Желая непременно одержать верх, пусть даже и действуя грубыми средствами, генерал де Пелье, военный комендант департамента Сены, которому подчинялся Эстергази, воскликнул, повернувшись к присяжным: «Чем, по-вашему, может стать эта армия в день опасности, который, возможно, ближе, чем вы думаете? Что, по-вашему, должны делать несчастные солдаты, когда их поведут в бой командиры, которых пытались принизить, лишить уважения в их глазах? Ваших сыновей, господа присяжные заседатели, поведут на бойню! Но господин Золя снова выиграет битву, он напишет новый „Разгром“, он распространит французский язык по всему миру, по той Европе, из которой Франция в этот день будет вычеркнута».

Присяжные были в нерешительности. Напрасно Жан Жорес заклинал их открыть глаза, тщетно Анатоль Франс расписывал им величие Золя, его чувство справедливости, говорил о его всемирной славе: эти двенадцать человек оставались бесчувственными ко всему. Однако когда генерал де Пелье напал на Золя, упрекая его в воинском бездействии, он навлек на себя резкий ответ писателя: «Существуют различные способы служить Франции. Можно служить ей мечом, а можно и пером. Господин генерал де Пелье, несомненно, одержал множество великих побед! Я тоже выиграл не одно сражение. Благодаря моим сочинениям французский язык разошелся по всему свету. У меня есть свои победы. Я завещаю потомкам имя генерала де Пелье и

имя Эмиля Золя: они выберут сами!»

Утром 21 февраля 1889 года заместитель прокурора Ван Кассель, встав во весь рост в своей красной мантии, произнес обвинительную речь. Зал был битком набит офицерами и друзьями Деруледа и Дрюмона. «Нет, это неправда, что нашелся офицер, который оказал воздействие на судей, – утверждал Ван Кассель. – Нет, это неправда, что нашлись семь офицеров, которые судили против совести, одни лишь обвиняемые посмели высказать такую низость. Ваше решение покажет, что они лгут, вся страна с доверием его ожидает, вы без колебаний осудите их».

Двадцать второго февраля взял слово и прочел речь, которую подготовил для присяжных, сам Золя. Он заметно осунулся, цвет лица у него был бледным, безжизненным, даже зеленоватым, говорил он, запинаясь едва ли не на каждом слове: «Вы – сердце и разум Парижа, моего великого Парижа, города, в котором я родился и который я воспеваю без малого сорок лет. Я вижу каждого из вас в кругу семьи, вечером, при свете лампы… Покарав меня, вы меня лишь возвысите… Тот, кто страдает ради истины и справедливости, делается царственным и священным… Клянусь вам, Дрейфус невиновен… Своим сорокалетним трудом клянусь вам, что Дрейфус невиновен!..» Время от времени речь писателя прерывали шиканье, неодобрительные выкрики. Закончил он говорить под свистки и смех. После этого в течение трех заседаний взволнованно и искусно выступал в защиту Дрейфуса, доказывая его невиновность, Лабори. Затем Альбер Клемансо, защитник Перрена, выпускающего редактора «Авроры», воскликнул, обращаясь к присяжным: «Мы предстаем перед вами. Но вы предстаете перед судом Истории!»

Присяжные удалились на совещание. Обсуждение длилось тридцать пять минут. Наконец в семь часов вечера они вновь появились в переполненном, душном, жарко натопленном зале, освещенном желтым газовым светом. Самые неистовые из зрителей, вскочив на лавки, грозили Золя кулаком и выкрикивали оскорбления. Однако стоило председателю суда, приложившему руку к сердцу, начать оглашать решение, воцарилась тишина. «По чести и по совести, перед Богом и перед людьми, решение присяжных таково: в том, что касается господина Перрена, большинством голосов – да, виновен; в том, что касается господина Золя, большинством голосов – да, виновен».

Наличия смягчающих обстоятельств не признали, и Золя был приговорен к году тюремного заключения – максимальный срок, Перрен – к четырем месяцам заключения, и обоим предстояло выплатить три тысячи франков штрафа. Публика в зале словно обезумела от радости. Снова послышались выкрики: «Смерть

Золя! Смерть евреям!» Офицеры стучали по полу ножнами шпаг. Пикар впервые приблизился к Золя и просто сказал, глядя ему в глаза: «Пора мне пожать вам руку!» Вокруг них люди орали во все горло, танцевали, распевали «Марсельезу». Полиция посоветовала Золя не выходить на улицу, пока не рассеется толпа, окружившая Дворец правосудия. Наконец среди толкотни и шума Золя удалось с помощью друзей выбраться из зала суда. Он шел, ничего не видя перед собой, тяжело опираясь на трость. Когда крики сделались громче, он пробормотал: «Да это же людоеды какие-то!» Жорж Клемансо философски заметил: «Если бы Золя был оправдан, ни один из нас не ушел бы отсюда живым!»

Двадцать шестого февраля генерал Билло, военный министр, уволил полковника Пикара в отставку за «серьезные проступки по службе» и отнял у него пенсию. Профессор Гримо за то, что выступил свидетелем на процессе, лишился кафедры в Политехнической школе. Мэтр Леблуа был освобожден министром внутренних дел Барту от обязанностей помощника мэра Седьмого округа Парижа.

Все время, пока длился процесс, Золя не оставляло ощущение, что шпионы следят за малейшим его перемещением, наблюдают за его друзьями, идут за ним по пятам, когда он отправляется к любовнице. Письма с оскорблениями продолжали скапливаться у него на столе, но теперь он их даже не читал. Журналист Жюде пошел, вероятно, дальше всех: он решил опорочить память инженера Франсуа Золя, усомнившись в его честности. Книги «мерзкого ассенизатора» были сожжены на городской площади. Александрина и Жанна получали анонимные письма с угрозами. Маленькая Дениза – ей еще не исполнилось и девяти лет, – разбирая почту, нашла фотографию отца, на которой кто-то выколол ему глаза. Золя чувствовал свою ответственность за те горести, которые обрушились на его близких, за то, что все они были в растерянности: ему так хотелось уберечь их от потрясений, от ударов жизни. Он говорил себе, что, защищая Дрейфуса, возможно, разрушил обе свои семьи, оба дома. Но, несмотря на усталость, на разочарование, на угрызения совести, Золя не хотел сдаваться. Разве не он написал когда-то: «Правда тронулась в путь, и ничто ее не остановит»?!

По совету своих адвокатов писатель подал кассационную жалобу. На этот раз защищать его должен был мэтр Анри Морнар. По мнению этого выдающегося юриста, жалоба на Золя должна была исходить не от военного министра, но от военного трибунала, оклеветанного в статье, помещенной в «Авроре». Так вот, офицеры, входившие в трибунал, решили сами подать жалобу на Золя. Но для того, чтобы на их стороне было как

можно больше шансов на успех, они оставили всего три строчки из текста «Я обвиняю». Дело было передано в суд присяжных департамента Сены-и-Уазы. Второй процесс Золя должен был начаться 23 мая в Версале. Мэтр Лабори изложил требования, заявив о неправомочности суда. Почему, говорил он, выбрали Версаль, если Золя живет в Париже, а статья была напечатана в парижской газете? Требования адвоката были отклонены. Новая кассационная жалоба. И снова процесс перенесен в Версаль. Измученный этими процессуальными битвами, Золя спрашивал себя, не перестал ли он быть писателем.

XXV. Оскорбления и угрозы

Волнения, вызванные в обществе процессом Золя, не только не утихали, но вырастали до размеров урагана. Повсюду царила братоубийственная ненависть – в редакциях газет и в семьях, в парламенте и в министерских кабинетах, в школах и на улицах. Если бы Золя был «благонадежным» писателем, чьи книги можно безбоязненно давать в руки кому угодно, еще куда ни шло, но защитник еврейского шпиона Дрейфуса был автором, которому нравились только грязь, жестокость и порнография! И он-то теперь вознамерился давать Франции уроки нравственности! Разве может истинный патриот колебаться в выборе между этим похотливым итальянцем и французской армией, честь которой была задета?

И тем не менее сторонников у Золя становилось все больше. Жорж Клемансо вызвал Дрюмона на дуэль. Они обменялись тремя выстрелами, но безрезультатно. Пикар послал секундантов к Анри и со второго раза ранил его в руку. Но когда в тот же день его вызвал на поединок Эстергази, Пикар отказался стреляться с негодяем, сказав, что с ним «должно разбираться правосудие его страны».

В то время как во Франции карикатуристы, соперничая в злобной изобретательности, рисовали Золя кто в виде ассенизатора или мусорщика, а кто в виде тщеславного павлина, по всей Европе и даже в Америке ему рукоплескали, называя его апологетом мировой совести. Иностранные газеты в один голос клеймили французское правительство, которое преследовало писателя. В Бельгии поэт Верхарн писал: «В этом отныне историческом деле Дрейфуса вся Европа защищала Францию от самой Франции». Американец Марк Твен, со своей стороны, заметил: «Церковные и военные школы могут каждый год выпускать по миллиону трусов, лицемеров и подхалимов, и еще останется. Но надо пять веков на то, чтобы породить одну Жанну д'Арк или одного Золя». Толстой подхватил: «В его поступке заложена благородная и прекрасная идея – уничтожение шовинизма и антисемитизма».[245] Даже спокойный, мягкий Чехов не смог удержаться от восхищения. «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Золя благородная душа, и я (принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков) в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные», – пишет он из Ниццы Суворину. Чуть позже он снова возвращается к этой теме в письме к Батюшкову: «У нас только и разговору, что о Золя и Дрейфусе.

Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невиновность Дрейфуса. Золя вырос на целых три аршина; от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава Богу, есть еще справедливость на свете, и что, если осудят невинного, есть кому вступиться». Еще несколько дней спустя Антон Павлович напишет Хотяинцевой: «Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав. А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усомниться хоть на минуту, что я не на стороне Золя? За один ноготь на его пальце я не отдам всех, кто судит его теперь в ассизах, всех этих генералов и благородных свидетелей. Я читаю стенографический отчет и не нахожу, чтобы Золя был не прав, и не вижу, какие тут еще нужны preuves[246]».[247] И, наконец, шестого февраля он снова отправит Суворину длинное письмо, почти полностью посвященное процессу Золя: «Вы пишете, что Вам досадно на Золя, а здесь у всех такое чувство, как будто народился новый, лучший Золя. В этом своем процессе он, как в скипидаре, очистился от наносных сальных пятен и теперь засиял перед французами в своем настоящем блеске. Это чистота и нравственная высота, каких не подозревали».[248] После чего, подробно, на нескольких страницах изложив ход событий, заключит: «Я знаком с делом по стенограф[ическому] отчету, это совсем не то, что в газетах, и Золя для меня ясен. Главное, он искренен, т. е. строит свои суждения только на том, что видит, а не на призраках, как другие. И искренние люди могут ошибаться, это бесспорно, но такие ошибки приносят меньше зла, чем рассудительная неискренность, предубеждения или политические соображения. Пусть Дрейфус виноват, и Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? а интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь постольку, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много, и во всяком случае роль Павла им больше к лицу, чем Савла. И какой бы ни был приговор, Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость, и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью».[249]

Безразличная к тому восхищению достойным поведением писателя, которое шло во Францию через все границы, антидрейфусовская пресса призывала добрых французов топтать этот «бурдюк» Золя, пока он не лопнет под их каблуками, пинать Золя, этого негодяя, который пронзил своим пером «сердце

родины-матери» и «своими нечистыми руками надавал пощечин армии». Самым ярким выразителем мнений этих фанатиков сделался Баррес. «Дрейфус – не более чем человек, пересаженный в чужую почву, утративший связь с родиной, и ему не по себе в нашем старом французском саду», – пишет он. И еще: «Мы хотели укрепить дом наших предков, который расшатывают гости…», «Дрейфус – представитель иного племени…», и его случай находится в ведении «кафедры сравнительной этнологии». Требуется «отвоевать Францию», «лишить предателей чинов и званий», убрать «эти пятна гнили с нашего замечательного народа».[250]

С приближением выборов в законодательные органы атмосфера еще более сгустилась. В мае 1898 года палата депутатов повернула влево, и 15 июня председателю совета министров Жюлю Мелину, антидрейфусару, пришлось подать в отставку. Его сменил Анри Брессон, склонный к пересмотру дела Дрейфуса. Но избранный им военный министр Годфруа Кавеньяк этому противился. Седьмого июля 1898 года Кавеньяк в ответ на запрос палаты заявил, что полностью уверен в виновности осужденного, и перечислил находившиеся в его распоряжении «доказательства», извлеченные из секретного досье Анри и, по его словам, неопровержимые. Среди них – так называемые «признания» Дрейфуса, собранные в свое время капитаном Лебреном-Рено, который сохранил их в своей записной книжке. Кавеньяк закончил свое выступление под аплодисменты. «И пусть завтра все французы смогут объединиться, чтобы провозгласить, что эта армия, составляющая их гордость… сильна не только доверием страны, но также и справедливостью поступков, которые она совершает».

Сторонники Дрейфуса были подавлены. Жорес подбодрил их, объяснив, что те документы, на которые ссылается Кавеньяк, – грубые подделки и что, упомянув их, министр нечаянно оказал услугу своим противникам. В порыве воодушевления палата решила опубликовать речь Кавеньяка, и, таким образом, назавтра «секретное досье» красовалось на стенах всех мэрий Франции. Донельзя обрадованный этим, Жорес поместил в «Авроре» письмо, адресованное неосторожному Кавеньяку: «Приветственные крики смолкнут, истина останется».

Между тем несколько благородных людей по совету сенатора Трарье создали Лигу прав человека, которая должна была, используя дело Дрейфуса, защищать свободы, которым угрожали произвол и беззаконные решения. С другой стороны, к следователю Бертюлюсу, который разбирал обвинения, выдвинутые против Пикара, явился Кристиан Эстергази,

племянник майора Шарля Эстергази, главного свидетеля на процессе. Кристиан принимал участие в подстроенном его дядей заговоре и, когда последний его обманул, решил во всем признаться, движимый как раскаянием, так и желанием отомстить. По его словам, некоторые подделки из тех, что были предъявлены Анри, написала любовница Шарля Эстергази, дама полусвета по имени Маргерит Пеи. Следователь Бертюлюс сообщил прокурору республики Фейоле, что надо выдать постановление на арест майора Эстергази и девицы Пеи. Фейоле, непримиримый антидрейфусар, сначала попытался возражать, но министр юстиции Фердинанд Саррьен дал требуемое разрешение. Во время обыска в жилище куртизанки Бертюлюс изъял множество документов. Мало того. Как раз тогда, когда шел обыск, за девушкой зашел любовник, собиравшийся повести ее в ресторан. Его задержали. Он тут же сдался, расплакался, затем, вскинув голову, пригрозил: «Я заговорю и расскажу обо всем, что скрывал до сегодняшнего дня!» В полночь Маргерит Пеи отвезли в тюрьму Сен-Лазар, а Эстергази – в Санте. Но Кавеньяк не сложил оружия. В бешенстве оттого, что его одурачили, он приказал арестовать Пикара, и тот следом за Эстергази отправился за решетку.

Золя день за днем, час за часом следил за всеми этими событиями со странным чувством, что отныне не властен над своей судьбой. Его второй процесс должен был начаться в Версале 18 июля. Эмиль поехал туда в автомобиле, рядом с ним сидел верный Лабори. Начиная от Вирофле, машину сопровождали полицейские на велосипедах.

Слушание началось в полдень. Зал был полон, но публика вела себя спокойно. Как ни старался Лабори, как ни пытался объединить хоть какие-то факты, связанные с теми самыми «тремя строчками», суд с его заключениями не соглашался. Адвокат, который был к этому готов, немедленно составил кассационную жалобу. Но суд решил, что кассационная жалоба не приостанавливает рассмотрения дела. И тогда Золя поднялся со скамьи обвиняемых и медленно, рассекая толпу, направился к двери. Вокруг него раздавались крики: «Убирайся из Франции! Уезжай в Венецию, итальянец! Предатель! Возвращайся к евреям!» Распетушившийся Дерулед вопил громче всех. Судья отчаянно тряс колокольчиком. Лабори поспешно выбежал следом за писателем. Полицейские помогли обоим сесть в машину, а толпа, собравшаяся вокруг, тем временем трясла кулаками и призывала растерзать преступников. В отсутствие обвиняемого и его защитника суд заочно приговорил Золя к максимально строгому наказанию – году тюремного заключения и трем тысячам франков

штрафа. Вполне возможно, что за этим последовало бы исключение Золя из числа награжденных орденом Почетного легиона…

От пережитых волнений и усталости у Золя прихватило сердце, да еще и желудок ныл от голода, и вдруг он вспомнил, что в кармане у него лежит булочка, разделил ее с адвокатом, и они перекусили под грохот колес, подскакивая на выбоинах дороги. Не переставая жевать, Лабори разъяснил свою тактику. Дело зашло так далеко, что сейчас Эмилю действительно лучше всего было бы покинуть Францию. Укрывшись где-нибудь за границей, например в Англии, он мог бы, выждав, выбрать самое удобное время для того, чтобы вернуться и отыграться за все прежнее, взять реванш. Золя отказался. «Лучше тюрьма, чем бегство!» – заявил он. И объяснил, что, решившись ввязаться в битву, решился и принять все последствия. Его чувство чести запрещает ему трусливо скрыться. Ради такого великого дела он *должен* несправедливо пострадать, так же, как и сам Дрейфус. Да и потом, что такое парижская тюрьма в сравнении с каторжными работами на Чертовом острове?

Вечером Золя и его адвокат, встретившись у Шарпантье с Жоржем и Альбером Клемансо, в последний раз держали совет. Оба брата, присоединившись к Лабори, уговаривали Золя уехать. Они считали, что, оказавшись за решеткой, он не сможет ни опубликовать новое «Я обвиняю», ни воспользоваться судебным процессом для того, чтобы расстроить планы врагов. Только перебравшись в другую страну, он останется хозяином положения. Он сам должен сделать выбор между достоинством и действием. Но решать надо быстро. В самом деле, если на следующий день суд утвердит приговор, его немедленно приведут в исполнение, и аресту уже ничто не сможет помешать. Золя, которому поначалу хотелось остаться во Франции и принести себя в жертву, понемногу начал склоняться к мысли об отъезде.

Разумеется, принимая это решение, он думал прежде всего о своей жене, о Жанне, о детях, о своем кабинете, о начатой работе, о песике Пимпене, который жить без него не мог, и душа у него мучительно разрывалась в предчувствии разлуки. Он попросил своего друга, гравера Демулена, сходить к Александрине. К вечеру она явилась и сама, взяв с собой для мужа-путешественника лишь туалетный несессер и ночную сорочку, завернутую в газету: она опасалась слежки и побоялась брать чемодан. Впрочем, Александрина не могла смириться с мыслью о том, что ее муж, спасаясь от тюрьмы, отправится в изгнание, и принялась уговаривать Эмиля остаться. Разве не станут его еще

больше оскорблять, когда станет известно, что он, ускользнув от французского правосудия, поселился в Лондоне? Конспираторы терпеливо объясняли госпоже Золя смысл тайного путешествия писателя. Поняв, она припала к груди супруга и расплакалась. Высвободившись из объятий Александрины, Золя сел писать записку Жанне: «Париж, вечер понедельника. Дорогая жена, дело обернулось таким образом, что я должен сегодня же вечером уехать в Англию. Не волнуйся, спокойно жди известий от меня. Как только я смогу что-то решить, я тебе сообщу. Постараюсь найти местечко, куда бы ты могла приехать ко мне с детьми, но существуют кое-какие сложности, и на это, вероятно, понадобится несколько дней. Впрочем, я буду держать тебя в курсе и напишу, как только окажусь за границей. Никому на свете не говори, куда я еду. Очень нежно целую всех троих». Демулен должен был отвезти записку в Верней-сюр-Сен, где маленькое семейство проводило лето.

В девять часов вечера без багажа, прихватив с собой лишь туалетные принадлежности и немного денег, которые ссудил ему Жорж Шарпантье, «государственный преступник» покинул его дом и отправился на Северный вокзал.

По дороге Эмиль судорожно стискивал руку Александрины. Она, как ему кажется, держится храбро. А как-то поведет себя Жанна?

Северный вокзал в неверном свете газовых фонарей выглядел мрачным. Высунувшись из окна вагона, Золя попрощался с женой, с собравшимися на перроне друзьями, попытался улыбнуться. Когда поезд тронулся, ему показалось, что он делает глупость, и ему так сильно захотелось соскочить на землю, что он с трудом удержался от этого. В купе никого не было. Стояла удушливая жара. Опустив стекло, Золя подставил пылающее лицо прохладному ветерку. В Амьене он купил себе хлеба и куриную ножку. На судне, которое должно было доставить его из Кале в Дувр, он стоял, прислонившись к леерам, и сквозь слезы смотрел, как удаляется от него французский берег, как постепенно тускнеют огни.

Поездка через Ла-Манш показалась Эмилю бесконечно долгой: однообразные зеленые волны, ветер, пахнущий солью и йодом, снующие взад и вперед по палубе пассажиры. Ранним утром Золя прибыл на вокзал Виктория и велел извозчику отвезти его в отель «Гросвенор», который порекомендовали ему братья Клемансо. Он не знал ни слова по-английски, но, на его счастье, служащие гостиницы более или менее прилично говорили по-французски. Правда, на новоприбывшего они поглядывали с недоверием, поскольку при нем не было никакого багажа. Чтобы

отвести подозрения, Золя записался в журнале под псевдонимом, который ему самому казался недоступным для разгадки: «господин Паскаль».

На следующий день после его отъезда парижские журналисты подняли шум. Газетные заголовки такими огромными буквами, какими пишут о том, что объявлена война, сообщали: «Золя сбежал!» Не советуясь с Золя, Жорж Клемансо написал статью в его оправдание, в которой утверждал: «В октябре я предстану перед своими судьями» – и которую гордо подписал: «Эмиль Золя». Двадцатого июля, в день, когда статья была напечатана в «Авроре», Бернар Лазар приехал в Лондон, чтобы показать мнимому автору этот текст, в котором не было ни одной строчки, написанной его рукой. Золя поначалу пришел в ярость, а в конце концов признал, что Клемансо действовал в интересах общего дела. Но терпение у него кончилось. Его выслали за границу, напечатали от его имени заявление, которого он не писал, его защищают против его воли, ссылаясь на то, что стараются ради его же блага… Эмилю казалось, будто он за несколько дней потерял все, чего добился за сорок пять лет работы, потерял главное – достоинство и уважение и теперь он всего-навсего ничтожный изгнанник, лишенный крова и семьи, беззащитный и своим существованием обязанный лишь заботе горстки оставшихся во Франции друзей. Да, уж лучше было бы сидеть в тюрьме, чем жить в этом холодном, одиноком и комфортабельном британском убежище!

XXVI. Изгнание

Затерянный в чужом городе, где говорили на незнакомом языке, Золя первым делом обратился за помощью к своему английскому издателю и переводчику Эрнесту Вицетелли:[251]«Не говорите ни одному человеку, а главное – ни одной газете, что я в Лондоне. И будьте так добры, зайдите повидаться со мной завтра, в среду, к одиннадцати часам, в гостиницу „Гросвенор“. Спросите господина Паскаля. И главное – храните все в глубочайшей тайне, потому что речь идет об очень важных делах». Эрнест Вицетелли пришел, помог Золя купить кое-какую одежду в лондонских магазинах и свел его с солиситором[252] Дж. У.Уорхемом. Последний успокоил писателя, заверив его в том, что уведомление о решении суда не может быть получено дипломатическим путем и что ни один английский агент судебной полиции не возьмется передать ему приговор французского суда. Но все же представитель закона посоветовал ему быть осторожным, благоразумным, не расслабляться и не раскрывать своего настоящего имени. Золя немедленно сменил адрес, снял номер в Отлендс-Парк-Отеле в Вейбридже. Поскольку псевдоним «Господин Паскаль», напоминавший о заглавии одного из его романов, казался ему слишком компрометирующим, он решил записаться под именем господина Бошана. Известив об этом Жанну, он попросил теперь писать ему на адрес Дж. У.Уорхема, вложив один конверт в другой и написав на втором «господину Бошану», как посоветовал ему солиситор. Сам он постарался изменить почерк, когда писал любовнице, жене, друзьям, но у него явно недоставало задатков конспиратора: иногда рука его подводила, и он по привычке выводил «З», которое затем неловко переправлял на «Б». С тем же детским простодушием, когда обращался к Демулену с каким-нибудь поручением к Александрине или Жанне, он прятал ту и другую под мужскими именами, называя их Александром и Жаном, чтобы запутать следы. Он думал, что все письма, которые те получают, проверяют и переписывают в префектуре.

И все же, как ни старалась полиция, никто в Париже не знал, куда подевался Золя. Одни уверяли, что он скрывается в Вернее, переодетый и загримированный, другие клялись, будто столкнулись с ним на улице в Женеве, в Спа, в Антверпене… Но вот газеты сообщили о том, что писатель находится в Лондоне. Опасность приобрела реальные очертания. Золя снова сменил адрес. Первого августа 1898 года он поселился в прелестной деревушке Пенн в Отлендс-Чезе (графство Суррей), где после

революции 1848 года скрывался Луи-Филипп. Старшая дочь Вицетелли, шестнадцатилетняя Вайолет, поселилась вместе с ним в снятом им доме, исполняя обязанности переводчицы и экономки.

Из этого сельского убежища он по газетам следил за последними отголосками дела Дрейфуса и дела Золя. Те, кто в этой смуте остались ему верны, сделались ему вдвойне дороги. «Ты представляешь меня, и ты меня защищаешь, – пишет он Александрине 6 августа 1898 года. – Можешь быть уверена, что я никогда не забуду твоего чудесного сердца в этих печальных обстоятельствах. Если бы я не любил тебя неизменно так, как я тебя люблю, твое теперешнее поведение заставило бы меня испытать величайшие муки совести». Его охватил гнев, когда он узнал из письма Лабори о том, что негодяй Жюде вновь обвиняет его отца в должностном преступлении.[253] Он устал, ему все опротивело, он почти готов был сложить оружие, отказаться от борьбы. В октябре 1898 года Александрина получила от него этот крик отчаяния: «Нет ничего более мучительного, чем эта история… нанести такой подлый удар, напав на отца… Мне даже уже не хочется одержать победу, за нее пришлось бы слишком дорого заплатить». И все же он поручает Демулену, проездом побывавшему в Лондоне, передать Лабори набросок жалобы на клевету.

Для того чтобы окончательно не расклеиться, Золя взял напрокат велосипед и принялся раскатывать по английским равнинам, стараясь ни о чем не думать. Но ему не удавалось отделаться от своей навязчивой мысли. Если он хочет вновь обрести равновесие, необходимо, чтобы к нему приехали Александрина и Жанна с детьми. Поочередно, если можно, чтобы разнообразить удовольствия! Увы! Александрину неотступно преследовали шпики, журналисты и попросту любопытные. Она не смела носа на улицу высунуть. Золя написал своему врачу, доктору Лара: «Расскажите Александрине обо мне… Я буду ждать ее решения столько, сколько потребуется… Если я не пишу прямо ей, то только из страха, что все эти тяжелые конверты, которые сейчас получает добрый доктор, в конце концов привлекут к себе внимание».

Наконец Демулен снова приехал в Англию и привез с собой чемодан с одеждой и бельем. «Мне доставляет величайшее наслаждение смотреть на все эти интимные предметы, которые хоть чуть-чуть возвращают меня домой, – пишет Золя в „Записках изгнанника“. – Решительно самое большое огорчение, которое принес мне этот внезапный отъезд, после ощущения, что меня резко и грубо оторвали от родных, заключалось в том, что я

оказался вдали от дома, в чем был, без другой одежды, без багажа и почти без денег». Теперь, вновь обретя надежду, он поставил письменный стол у окна, выходившего в сад, и распаковал свои рукописи. Но хватит ли у него сил снова взяться за перо? «По моей жизни, такой спокойной и такой упорядоченной, пронесся такой стремительный поток, что я до сих пор не пришел себя, все мысли у меня перепутались», – жалуется он. Жена написала ему, что, скорее всего, в ближайшие несколько недель ей не удастся отправиться в поездку. Удрученный этим известием, он вышел в сад, освещенный луной, «которая среди всей этой черной листвы со всех сторон лила свой безмолвный серебряный дождь». Он полной грудью вдыхал ночной воздух, но царившие в природе мир и покой не проникали в его душу: «Как странно, тревога без всякой видимой причины вновь волной нахлынула на меня». Когда Демулен собрался возвращаться в Париж, он дал ему несколько деликатных поручений к Жанне и Александрине. Обеим следовало сообщить, что он с нетерпением ждет встречи с ними. Но ему не хотелось обидеть ни ту, ни другую. Только бы у Демулена хватило дипломатичности!

Тот и впрямь быстро справился с задачей, проявив при этом немалый такт. Описав Александрине одиночество, растерянность и печаль, охватившие ее мужа, он до того ее растрогал, что она решилась принести себя в жертву: Эмилю необходимы его дети. Она не смогла подарить ему детей. Значит, ей, законной супруге, следует отойти в сторону – из жалости к нему и из расположения к девочке и мальчику, которых родила ему другая. Она подождет своей очереди, только и всего! Шестого августа, получив от Демулена весточку, Золя ему ответил: «Ваше письмо, только что мной полученное, доставило мне удовольствие и огорчило меня. Я увижу своих детей, но вы и представить себе не можете, с какой тревогой я думаю о моей несчастной жене. В точности ли вы ей все передали, хорошо ли объяснили, что я ни за что на свете не хотел бы причинить ей боль, что я не смогу быть счастливым, если не будет счастлива она? Словом, все это очень печально, и как я ни стараюсь, на какой бок ни повернусь, везде натыкаюсь на шипы… Может быть, когда приедут дети, я немного успокоюсь. Но они не заполняют всей моей души, и мне будет очень недоставать бедной моей жены!»

Тревожась о том, в каких условиях будет путешествовать его возлюбленная, он сочинил «Записку для Жана», которую приложил к своему ответу Демулену: «Если можно, ни за чем в Париж не заезжать, складывая чемоданы, обойтись тем, что есть в Вернее. Все же теплые вещи захватить. Привезти мне полный комплект одежды для велосипеда. Женских брюк не брать, потому

что понадобится юбка. Ни кухарку, ни горничную с собой не брать, отпустить их отдохнуть, сказав, что в конце сентября их снова возьмут на работу, чтобы не нажить в них врагов. Главное, чтобы эти женщины не узнали, в какую страну собираются ехать. И даже надо их обмануть, дать понять, что едут в Бельгию или Швейцарию… Дать Жану точные указания насчет поездки. Думаю, Жан и оба малыша уедут из Вернея поездом, который уходит без двадцати семь. Прибыв в Париж, они наймут экипаж, который отвезет их на Северный вокзал, где они смогут пообедать в кафе. С Демуленом встретятся на вокзале, рядом с окошечком кассы, где продают билеты до Лондона. Взять с собой еды на дорогу… Никому не давать адрес. Исчезнуть… Не брать с собой фотоаппарат. У меня есть мой… На корабле, если не будет шторма, лучше оставаться на палубе и там сесть. Если море неспокойное, спуститься на нижнюю палубу, а если дети будут плохо себя чувствовать, уйти в каюту. Думаю, что таможня будет проверять багаж только в Лондоне… В Дувре поезд рядом с кораблем. Чтобы не ошибиться, показать билеты служащему, повторить ему слово: Виктория, и пусть он посадит на места. Затем не выходить из поезда, пока он не остановится на конечной станции, в Лондоне».[254]

В ожидании приезда Жанны с детьми Золя вновь засел за работу. Он задумал написать продолжение «Трех городов» – цикл романов «Четыре Евангелия»: «Плодородие», «Труд», «Истина» и «Справедливость». Герои «Трех городов», Пьер Фроман и Мари, произвели на свет четырех сыновей, которые впоследствии явятся словно бы четырьмя апостолами новой религии справедливости и мира. У Матье в «Плодородии» будет двенадцать детей и множество потомков, которые донесут благую весть до самой Африки. Люк в «Труде» построит идеальный город, где славно будет жить, и завод, где приятно будет работать. Марк в «Истине» обрушится на доктрину непогрешимой Церкви, которая затуманивает разум верных, и будет проповедовать освобождение народа благодаря образованию и науке. А Жан в «Справедливости» сделает так, что в мире будет царить гармония. Приступив к этому догматическому и слегка глуповатому труду, Золя искренне верил в то, что новый цикл романов увенчает все то, что было им написано до тех пор. «Это естественное завершение всего моего творчества, – заявил он. – После того как я долго воспроизводил действительность, последует продолжение в завтрашнем дне, и моя любовь к силе и здоровью, к плодородию и труду наконец самым логичным образом явит себя. И потом, я завершаю век и начинаю новый век. *Все это основано на науке*, мечта, которой наука позволяет осуществиться».

И в самом деле, как только он приступил к «Плодородию», его перо с привычной легкостью заскользило по бумаге. Но все, что он писал, выходило вялым, путаным, безвкусным. Можно подумать, после того, как он дописал последний том «Ругон-Маккаров», источник, питавший его романы, иссяк. Неужели ему больше нечего сказать? Он отказывался верить, что лишился жизненной силы, и сравнивал себя с Гюго в изгнании. Впрочем, ко всему прочему его вдохновение то и дело спотыкалось о юридические проблемы, вставшие перед писателем. Внезапно он узнал, что эксперты-графологи, сличавшие почерк, Бельом, Варинар и Куар, которых он в статье «Я обвиняю» назвал «лишенными способности видеть и понимать», только что добились, чтобы с него взыскали тридцать две тысячи франков в виде возмещения убытков. Он мгновенно перепугался. Что делать? Не лучше ли сразу выплатить эту сумму Министерству экономики и финансов? Поручив Лабори обратиться за помощью к друзьям, чтобы заплатить за разбитые горшки, он в отчаянии пишет: «Пусть у меня заберут все, пусть продадут мой дом, чтобы во Франции не осталось ничего принадлежащего мне. Меня считают богатым, а у меня нет и сотни тысяч франков. Когда они меня разорят, когда увидят, что я живу в изгнании, в какой-нибудь глухой дыре, и кормлюсь плодами своего труда, может быть, у них достанет совести умолкнуть. До тех пор, пока я буду на ногах и у меня хватит сил держать перо, я добуду себе пропитание. Я начинал нищим, нищета может вернуться, она меня не пугает».[255] И еще: «Я ни о чем не жалею, я вновь начну бороться за истину и справедливость. Но все же какое удивительное приключение – в моем возрасте, после чисто писательского существования, размеренного и затворнического! Я был ничем не примечателен, кроме моего пера, и только одно мое перо сражалось. Моя давняя страсть к истине породила во мне страсть к справедливости. Ах, какие же они дураки и негодяи; они ничего не узнали обо мне, ничего не почувствовали и ничего не поняли!»

Дни казались ему очень долгими, пока он ждал телеграммы, которая должна была известить его о приезде Жанны с детьми. Радуясь тому, что англичане проявляют к нему мало интереса, он в то же время никак не мог приспособиться к их образу жизни. Больше всего в стране, гостеприимно его приютившей, ему нравилось пристрастие ее жителей к велосипедным прогулкам, цветам, свежему воздуху; нравилась подвижность женщин, таких стройных по сравнению с пухленькими француженками; нравилось увлечение молодежи различными видами спорта – теннисом, греблей и даже непонятным крикетом! Но он терпеть

не мог английских окон с опускающимися рамами, которые никогда нельзя было полностью растворить, английских воскресных дней с их благопристойностью и тишиной, когда закрыты все магазины и все пивные, английского дождя, который казался ему не таким легким и веселым, как французский, и, наконец, английской кухни, напрочь отбивавшей у него аппетит. Английский хлеб напоминал ему губку, он ненавидел овощи, сваренные без соли, бифштексы, «приготовленные на медленном огне и водянистые», тяжелые пудинги, которые, по его словам, «ни в какое сравнение не шли с нашими самыми дешевыми круассанами». Низкое серое небо давило на него, он мечтал о французском солнце.

Наконец вечером 11 августа 1898 года Жанна и дети в сопровождении Эрнеста Вицетелли, встретившего их на лондонском вокзале, со всеми вещами прибыли в Пенн. Встреча была упоительно радостной. Дениза и Жак, которых на корабле сильно укачало, в объятиях отца позабыли обо всех неприятностях. И вновь потекла семейная жизнь, такая же, как в Вернее, только на британской земле. Дети играли в саду под присмотром матери, которая читала или вышивала в тени под зонтом, а Золя из окна своего кабинета любовался этой идиллической картиной. Но почему же все вокруг него, вся страна, должны говорить по-английски? Это нестерпимо! А теперь еще Демулен беспокоится из-за того, что Жанна все время рядом с Золя. Он боится, что кто-нибудь обнаружит их убежище. «Все, о чем вы сейчас говорили, я давным-давно уже себе сказал, – отвечает ему Золя. – И знаете, почему я этим пренебрег? Потому что мне на это наплевать! С меня хватит, с меня хватит, с меня хватит! Я исполнил свой долг и хочу, чтобы меня оставили в покое… Когда я сделаю все необходимое для того, чтобы мои близкие и я сам были настолько счастливы, насколько мы можем быть счастливыми, мир может рухнуть, я и головы не поверну. Скажите себе, что я вернусь только тогда, когда во Франции будет правосудие, а последние события доказывают, что до этого еще далеко. Я считаю, что моя роль в обществе закончена».[256]

Через несколько дней после того, как было написано это письмо, Золя вместе с Жанной и детьми покинул дом в Пенне, который понадобился хозяину, и перебрался в другой, более просторный и лучше расположенный, в Саммерфилде. Большой сад, цветник, лужайка для тенниса. Полулежа в плетеном шезлонге, Золя старался с помощью словаря разобраться в том, что пишут английские газеты. В этих серых листках новости из Франции занимали мало места. Тем временем Вицетелли получил телеграмму без обратного адреса, в которой только и

было сказано: «Готовьтесь к большому успеху». Золя, с которым он поделился известием, тщетно ломал голову, пытаясь отгадать, на какое событие намекает в своей телеграмме неведомый отправитель. Он так ни до чего и не додумался, но в один прекрасный день Вицетелли явился в Саммерфилд, сияя улыбкой, и объявил: «Полковник Анри покончил с собой!»

У Золя от радости закружилась голова, он с трудом удержался на ногах. Неужели весь этот кошмар наконец закончился? Вицетелли перевел ему статьи из английских газет. Полковник Анри, которого, как и Эстергази, загнал в угол следователь Бертюлюс, признался в содеянном. Обвиненный в изготовлении подделок, он был отправлен в тюрьму Мон-Валерьен, где перерезал себе горло бритвой. Лабори в письме к Золя подтвердил факты. «Думаю, теперь мы наконец на пути к победе, – ответил ему Золя. – Но все же я еще не вполне спокоен и умоляю вас, умоляю наших друзей быть тем более недоверчивыми и осторожными, чем ближе мы к цели. Мы победим только тогда, когда невиновность Д. будет признана и он выйдет на свободу. В день, когда его снова будут судить, у меня сердце перестанет биться, потому что это будет день настоящей опасности… Что касается даты моего возвращения, разумеется, я полностью с вами согласен. Сейчас назвать точный день невозможно. Мне представляется логичным это сделать только после того, как дело будет пересмотрено, так, чтобы наш Версальский процесс стал словно бы победоносным завершением всего дела. Стало быть, я буду ждать не скажу чтобы спокойно, для этого я слишком взволнован и встревожен, но, по крайней мере, с надеждой того дня, когда я, сделав все, что взял на себя, смогу вернуться к своей мирной жизни труженика. А в остальном – я чувствую себя хорошо, я работаю, и единственное, что причиняет мне страдания, – то, что я здесь, на чужбине, вдали от жены, в стране, языка которой я не знаю».[257]

Надежды Золя на то, что самоубийства Анри будет достаточно для того, чтобы убедить общество и правительство в невиновности Дрейфуса, не оправдались. Рошфор высказал предположение, что Анри покончил с собой из патриотизма, для того, чтобы не показывать подлинные документы, которые могли бы поставить под угрозу безопасность государства. Эта бредовая версия была подхвачена «Родиной», которая напечатала такое: «Мы обязаны нескромности тем, что ознакомились со следующим заявлением, сделанным полковником Анри: „Я был одержим мыслью о невозможности предать гласности документы, неопровержимо доказывающие виновность Дрейфуса. Это обнародование вмешало бы в дело заграницу и имело бы

серьезные последствия для Франции. И все же надо было противостоять продолжавшейся кампании, целью которой было доказать невиновность предателя. Сознавая эту безотлагательную необходимость, я подделал документ, создал фальшивку. Я сделал это, повинуясь голосу совести и в интересах правосудия, поставленный в безвыходное положение из-за того, что мы не могли предать гласности секретные документы“». Гипотезу «патриотической подделки» развил Моррас, который в роялистской газете «La Gazette de France» воспевает мужество и достоинство полковника Анри, мученика, пострадавшего за правое дело. Его высказывания подхватила правая пресса со «Свободным словом» («La Libre Parole») во главе, утверждавшим: «Пересмотр дела – это война. К этой войне мы не готовы. Да, это будет война. И разгром. Этого и добиваются, на это и надеются евреи».

Читая эти строки, Золя чувствовал, как в нем снова просыпается прежний боевой дух. Он бесновался из-за того, что должен безвылазно сидеть в английской глуши, тогда как ему следовало быть в первых рядах тех, кто сражался за истину. Наконец Люси Дрейфус подала прошение пересмотреть дело, основываясь на новых данных. Просьба была передана Кавеньяку, и тот подал в отставку. Анри Бриссон заменил его генералом Цурлинденом, который был скорее склонен пересмотреть дело. Националистическая пресса тотчас обвинила Цурлиндена в том, что он продался евреям. Не устояв перед этим выплеском недовольства, он сдался, боясь уронить престиж армии. Семнадцатого сентября 1898 года совет министров, вопреки его мнению, принял решение о пересмотре дела, и Цурлинден также подал в отставку. Его сменил генерал Шануан, утверждавший, будто его пересмотр дела не пугает. Но, едва заступив в должность, он первым делом потребовал, чтобы Пикар предстал перед исправительным судом. Ход оказался неудачным, поскольку прокурор республики потребовал и добился того, чтобы рассмотрение дела было отложено. Теперь, в свою очередь, подал в отставку генерал Шануан. В конце концов совет министров поручил министру юстиции передать в суд кассацию на просьбу госпожи Люси Дрейфус о пересмотре дела. Дерулед и Лига патриотов заявили, что, «если Дрейфус вернется во Францию, его разорвут на куски». «Может быть, и впрямь готовится победа, – писал Золя Демулену. – Но мне она представляется еще такой далекой, а дорога усеяна такими препятствиями, что пока я торжествую весьма умеренно… Не удивлюсь, если мне придется пробыть здесь до декабря, а может быть, и до января. Когда я буду лучше осведомлен, тогда и решу,

где мне зимовать».[258]

С приближением холодов Золя начал падать духом, мужество постепенно оставляло его. Смерть маленького злобного песика Пимпена, которого он оставил во Франции, привела его в такое отчаяние, что у него не было сил не только писать, но и попросту открыть дверь. «Хочу вам сказать, что один из самых горьких часов, среди всех ужасов и мерзостей, через которые мне пришлось пройти, был тот, когда я узнал о внезапной смерти, постигшей вдали от меня моего маленького верного друга, в течение девяти лет со мной неразлучного, – признается он издательнице „Друга животных“. – Он умер скоропостижно. Мне показалось, что его убил мой отъезд. Я оплакивал его, как ребенок, я содрогался, я тосковал до того, что и сегодня еще не могу подумать о нем без того, чтобы растрогаться до слез».[259] К этой печали внезапно прибавилось чувство неуверенности. После конфликта из-за Фашоды, провала операции Маршана на Ниле против экспедиционного корпуса генерала Китченера отношения между Францией и Англией ухудшились. Не сделается ли пребывание на британской земле еще более тягостным для француза? До сих пор на него не обращали внимания, но не ждет ли его теперь холодное отношение?

И снова переезд: Золя поселился в деревне Эддлстон (графство Суррей). В начале октября произошла горестная разлука: Жанна с детьми уехала во Францию, но уже в конце месяца к знаменитому изгнаннику присоединилась Александрина. Она подбадривала его и утешала, но ничто не могло заменить ему свежести и молодости Жанны, смеха малышей. Впрочем, и Александрина через несколько недель, сославшись на то, что плохо переносит сырую и холодную английскую погоду, вернулась в Париж. Предстояла одинокая и унылая зима. Золя пишет своей дочке Денизе: «Говорили ли вам с Жаком обезьяны в Ботаническом саду, что ленивые и лживые дети становятся такими же безобразными, как они? Ты ведь знаешь, что обезьяны – это мальчики и девочки, которые в своей стране бездельничали и обманывали. И тогда их посадили в клетки и отправили к нам. Скоро я вернусь и расцелую вас от всей души, особенно если мама вами довольна».[260] И Жанне: «Ты знаешь, что мне легко смириться с тем, чтобы вести монашескую жизнь. Только бы я мог спокойно работать и мирно жить в каком-нибудь уголке, ни удовольствий, ни развлечений я не требую. На самом деле я страдаю только из-за вашего отсутствия, были бы вы здесь, я бы мог терпеливо ждать годы».[261]

Теперь он живет в «Королевской гостинице» в Верхнем Норвуде: две комнаты окнами в сад. Парень, прислуживающий

ему, не говорит по-французски. Золя с грехом пополам выучил несколько английских слов, но ему трудно объясняться. Он перечитывает «Красное и черное» Стендаля, пишет «Плодородие», выискивает в британских газетах новости из Франции, занимается фотографией и отчаянно скучает. Изредка его в этом убежище навещают друзья: Фаскель, Октав Мирбо, Лабори… В конце года опять приезжала Александрина, следующей весной – Жанна… Но когда гости уезжают, он снова начинает тосковать. Терпение его истощилось. Следствие, начатое с целью пересмотра дела, затягивается, правосудие увязает в бумагах. Эстергази поначалу признается в том, что был автором той самой записки, потом отказывается от своих показаний. Золя хочет вернуться во Францию, не дожидаясь, чтобы суд отменил решение 1894 года, по которому был осужден Дрейфус. Лабори и Клемансо его от этого отговаривают, и он неохотно уступает, согласившись с их аргументами.

«Мое душевное состояние таково, что я устал от покоя и безопасности, – пишет он Лабори. – Вы и представить себе не можете, с какой тоской я каждое утро раскрываю газеты. Мне кажется, что я уже ни на что не годен, что все равно что умер, а другие тем временем сражаются. И так будет продолжаться еще не один месяц, вдали от всех, кого я люблю, вдали от всего, к чему я привык умом и сердцем… Победа теперь представляется мне несомненной, но я убежден в том, что до последней минуты эти негодяи будут делать все, чтобы помешать правосудию… Вы еще увидите, накануне оправдания Дрейфуса они предпримут какую-нибудь бессмысленную и чудовищную попытку. Ах, бедная наша страна! Именно о ней я неизменно думаю с беспокойством. Какие развалины останутся после нашей победы, и сможем ли мы когда-нибудь заново выстроить дом из всех этих сгнивших обломков?.. Я смотрю на себя как на умершего, потому что я так надолго выброшен из моей страны, я вдали и безмолвствую. Но я, в конце концов, могу работать, и это служит мне единственным утешением».[262] И жене Октава Мирбо: «Энергичный и страстный человек вроде меня не создан для изгнания, смирения и молчания. Вы совершенно верно поняли, меня мучает то, что я здесь укрылся в чрезмерном покое и безопасности, когда другие сражаются. Бывают такие дни, когда мне случается слегка презирать себя, когда мне кажется, что я не исполняю свой долг… Все пишут мне, что я должен оставаться там, где нахожусь, под страхом навлечь худшие несчастья».[263]

Он мечется по своей комнате, кружит в четырех стенах, словно привязан к колышку. Тюрьма без решеток. Не с кем поговорить. Когда у него отрывается пуговица, он сам ее

пришивает, «без наперстка и очень ловко», чтобы хоть чем-то развлечься. Когда он работает, рядом с его корзиной для бумаг возится мышка. Он с умилением за ней наблюдает.

Шестнадцатого февраля 1899 года президент республики Феликс Фор скончался в объятиях любовницы. После пышных похорон этого не в меру любвеобильного главы государства Дерулед попытался увлечь к Елисейскому дворцу войска, которые явились отдать покойному последние почести. Мятежника остановил генерал Роже.[264] Сорок восемь часов спустя новым президентом республики был избран представитель левых Эмиль Лубе. О нем говорили, что он сторонник пересмотра дела. Конечно, следовало опасаться каких-либо последних отчаянных выходок ура-патриотов. Однако, несмотря ни на что, у Золя было чувство, будто развязка близка, и очень вовремя, потому что он сам заканчивал роман, над которым трудился с тех пор, как обосновался в Англии. И теперь, если у него не будет этой работы, которая заполняла все его дни, он сойдет с ума от безделья. «Я здесь до того одинок, что мне случается с утра до вечера не раскрывать рта, меня это сводит с ума, – жалуется он Александрине 16 марта 1899 года. – Я дошел до того, что предпочел бы что угодно, даже окончательное изгнание, той неуверенности, в какой я живу; такое противоестественное состояние выводит меня из равновесия».

Двадцать седьмого мая 1899 года он дописывает последние строки «Плодородия», этого трогательного и чуточку смешного гимна во славу оплодотворения женщины мужчиной. Двадцать восьмого мая он пишет Жанне: «Я рассчитываю на то, что все порядочные женщины, все жены и все матери будут на моей стороне». На следующий день, 29 мая, в присутствии трех палат кассационного суда, собравшихся на торжественное заседание, председатель суда Балло-Бопре зачитал отчет о состоянии расследования, завершив его главным вопросом – о происхождении записки: «Была ли она написана рукой Дрейфуса?» И в мертвой тишине сам же и ответил на свой вопрос: «Господа, после углубленного изучения я, со своей стороны, убедился в том, что записка была написана не Дрейфусом, а Эстергази». Путь к пересмотру дела был свободен. Третьего июня 1899 года кассационный суд единогласно отменил решение, по которому Дрейфус был осужден, и теперь обвиняемый должен был предстать перед военным судом Ренна. Золя, вне себя от радости, тотчас решил вернуться во Францию. «Теперь ничто на свете не удержит меня здесь и лишнего часа, – пишет он Лабори. – Даже если бы мне пригрозили, что на границе меня арестуют, я бы все равно вернулся».[265]

Пятого июня Фаскель и его жена отправились в Англию, чтобы привезти домой победоносного изгнанника. Ему пришлось провести на чужбине около года. Он сел в поезд с ощущением, будто начинает новую жизнь. Должно быть, Дрейфус на Чертовом острове уже все знает. Он незамедлительно вернется во Францию. С каким волнением они встретятся, свободные тот и другой! И Золя под стук колес начал писать статью для «дружественных газет»: «Я возвращаюсь, поскольку истина восторжествовала, поскольку правосудие свершилось. Я хочу вернуться в тишине, чтобы победа была мирной, чтобы мое возвращение не породило ни малейших беспорядков на улицах… Я дома. Стало быть, господин генеральный прокурор может, когда ему будет угодно, известить меня о решении версальского суда». Между двумя фразами он поднял голову от листа бумаги и стал смотреть, как проплывает мимо него безмятежный английский сельский пейзаж. Не пожалеет ли он о нем, когда вновь окажется в водовороте парижских интриг, лицемерия, провокаций и неистовства?

XXVII. Амнистия

Жанна, Александрина, Дрейфус – жизнь Золя после его возвращения во Францию вращалась вокруг трех этих имен. Ненадолго заехав в Париж, он поспешил перебраться в Медан, а Жанна тем временем на лето поселилась в Вернее. Золя вернулся к прежним привычкам, вновь обрел равновесие чувств. Он не был мужем для одной и любовником для другой, он был двумя мужьями в одном: мужем без детей и мужем – отцом семейства. У него хватало душевной широты на то, чтобы вместить эту двойную нежность. Он снова, как раньше, обедал с законной супругой, пил чай у официальной любовницы, играл с детьми, катался на велосипеде с ними и их матерью, с равным увлечением фотографировал пейзажи и лица. Кроме того, он не уставал запечатлевать свою возлюбленную за ее повседневными занятиями – на снимках она вышивает, составляет букеты, читает книгу, играет на мандолине, волосы у нее распущены или прикрыты шляпкой с вуалью, вокруг шеи боа. Дочь и сын тоже часто позируют перед аппаратом. Он собрал целый альбом под названием «Дениза и Жак. Подлинная история, работа Эмиля Золя» и заказал для него роскошный переплет. Для того чтобы заниматься фотографией, он устроил у себя дома мастерскую и, удобства ради, другую такую же дома у Жанны. Александрина сложила оружие, и между двумя женщинами воцарилось согласие. Они не бывали в гостях друг у друга, но относились друг к другу с уважением. Обе были слишком счастливы тем, что после долгой разлуки их великий человек к ним вернулся.

Эта английская ссылка, эти чередования надежды и отчаяния, этот поток оскорблений, вылившийся на его голову, сломили Золя. Несмотря на то что победа была близка и неминуема, он чувствовал себя опустошенным и разочарованным. Он так и не встретился с Дрейфусом, который, едва вернувшись с Чертова острова, был заточен в военную тюрьму в Ренне. Золя отправил ему 6 июля 1899 года приветственное письмо: «Капитан, если я не оказался в числе первых, если не писал вам сразу же после вашего возвращения во Францию, чтобы высказать все мое сочувствие и все мое душевное расположение, то лишь потому, что боялся, как бы мое письмо не осталось непонятным для вас. И я решил подождать, пока ваш замечательный брат с вами увидится, расскажет вам о долгой битве, которую мы вели. Только что он принес мне хорошие известия, рассказал, что вы в добром здравии, исполнены мужества и веры, стало быть, я могу всей душой устремиться к вам, зная, что вы меня поймете… Дело

далеко не закончено, еще надо, чтобы ваша невиновность, признанная во всеуслышание, спасла Францию от нравственной пропасти, в которой она едва не погибла. До тех пор, пока невиновный будет за решеткой, мы не сможем пребывать в числе благородных и справедливых народов… Вы спасете и честь армии, той армии, которую вы так любили и в которую вложили все свои представления об идеале… Мое сердце переполнено, и я могу лишь послать вам все мои братские чувства – за все то, что пришлось выстрадать вам, за все, что пришлось вытерпеть вашей стойкой жене… Нежно вас обнимаю».

Процесс по пересмотру дела начался 7 августа 1899 года в парадном зале лицея Ренна, преобразованном в зал суда. Защитник Дрейфуса, мэтр Деманж, потребовал, чтобы ни Золя, ни Клемансо, ни Рейнах в зале не появлялись, чтобы не вызвать недовольства судей. Мэтр Лабори, на суде присутствовавший, сожалел об этом запрете, однако смирился с ним. Новый председатель суда, Вальдек-Руссо, не скрывал своего расположения к Дрейфусу. Но оправдать его было равносильно тому, чтобы признать виновность генерала Мерсье, стоявшего во главе антидрейфусаров. Военные судьи были его подчиненными. Они будут склонны ему подчиниться, даже вызвав неудовольствие правительства. Баррес уже предупредил о том, что, если Дрейфус будет оправдан, за этим последуют репрессии. «Надо выбирать, – писал он, – между Дрейфусом и высшим начальством». Националистические газеты называли друзей Дрейфуса врагами родины.

Судебное разбирательство затягивалось, заседания проходили в обстановке ненависти и беспорядка. Неисправимый Дерулед организовал совместно с Жюлем Гереном вооруженное выступление протеста, которое начало свои действия 12 августа и завершилось осадой «Форта Шаброль»[266] полицией и изгнанием повстанцев. В понедельник 14 августа незнакомец, шедший по улице следом за Лабори, внезапно выхватил пистолет, выстрелил ему в спину и скрылся. Пуля чудом прошла мимо позвоночника, не задев его, Лабори вскоре поправился и снова вступил в бой. «Ах, мой дорогой, мой большой и мужественный друг, какую радость мы испытали сегодня утром, узнав, что вы вне опасности! – пишет ему Золя. – Так и вижу, как вы, герой и мученик, великолепный защитник права, снова занимаете свое адвокатское место перед военным судом под аплодисменты всего мира».[267] Ждали очной ставки между Дрейфусом и Эстергази, но последний, находившийся в то время в Англии, и не думал оттуда возвращаться, он ограничился заявлением издалека, что действительно написал ту записку, но текст ее был продиктован

ему Дрейфусом. Военный суд оказался в крайнем замешательстве. Он сознавал, что, оправдав Дрейфуса, настроит против себя всю армию и доставит удовольствие лишь нескольким дрейфусарам и кучке журналистов за границей. Этого следовало избежать любой ценой. И тогда нашли половинчатое решение. Девятого сентября 1899 года пятью голосами против двух Дрейфус был признан виновным, но *при наличии смягчающих вину обстоятельств*. Можно было подумать, что он написал только половину записки! И в результате его приговорили к десяти годам тюремного заключения! Сторонники Дрейфуса были подавлены нелепостью этого приговора. Золя изнемогал от негодования. Иностранные газеты смешали Францию с грязью. Некоторые требовали объявить ей бойкот, советовали туристам отказаться от посещения Всемирной выставки, которая должна была открыться в следующем году в Париже. Антифранцузские выступления прошли в Антверпене, Милане, Лондоне, Нью-Йорке… Для того чтобы защитить от нападений французские посольства по всему миру, требовалось вмешательство полиции. Двенадцатого сентября Золя напечатал в «Авроре» резкую и язвительную статью под названием «Пятый акт»: «Нам показали самое удивительное соединение покушений на истину и справедливость. Шайка свидетелей, которая управляла судебным разбирательством, каждый вечер сходилась, чтобы обсудить завтрашнюю грязную западню, выступая с лживыми обвинительными речами вместо прокурора, запугивая и оскорбляя тех, кто осмеливался им противоречить, навязывая себя благодаря своим званиям и выправке… Нелепые прокуроры, переходящие все границы глупости… Я в ужасе. Это тот священный ужас, который охватывает человека, видящего, как совершается невозможное, реки текут вспять, земля беспорядочно вращается под солнцем». И в тот же день пишет Лабори: «Все это кончится самым жалким образом каким-нибудь помилованием и темной амнистией».[268]

Он не ошибся. Правительство, окончательно запутавшись, решило помиловать и амнистировать Дрейфуса. Однако в его случае прибегнуть к этой мере было равносильно тому, чтобы косвенным образом признать собственную вину. Клемансо, Жорес, Пикар, Лабори, Золя были против такого исхода, удобного, но вместе с тем и позорного. Но поскольку Дрейфус был уже донельзя измучен всем, что ему пришлось вытерпеть, его брат Матье, Бернар Лазар и Жозеф Рейнах посоветовали согласиться. В военных кругах уже начали перешептываться о том, что если Дрейфус и не состоит в тайных сношениях с Германией, то, должно быть, с Россией уж точно состоит. Так что

лучше было постараться побыстрее закончить эту историю, отделавшись «малой кровью». Отказавшись подавать кассационную жалобу на странное решение военного суда, Дрейфус дал понять, что примет помилование, не лишая себя возможности в будущем воспользоваться своим правом на законный пересмотр дела. Девятнадцатого сентября 1899 года президент республики Эмиль Лубе подписал указ о помиловании Дрейфуса, и тот вышел из тюрьмы свободным, но не восстановленным в своих правах человеком.

Золя немедленно отправил в «Аврору» новую статью, написанную в форме «Письма к мадам Альфред Дрейфус». «Должно быть, сударыня, это горькая милость… Какое возмущение испытываешь, думая о том, что благодаря жалости получаешь то, чем должен быть обязан лишь справедливости! Это превосходит все… Оскорбить, унизить невиновного, тогда как убийца разгуливает на свободе, украшенный султаном и сверкая на солнце галунами!.. Мы же доведены до того, что нам приходится благодарить правительство за проявленную им жалость… Невиновный, осужденный дважды, он больше сделал для братства народов, для представления о сплоченности и справедливости, чем сотни лет философских споров и человеколюбивых теорий… Он может спать спокойно, сударыня, под уютным семейным кровом, в тепле ваших благочестивых объятий. И можете на нас положиться, мы не преминем его прославить… Это мы, поэты, пригвождаем преступников к вечному позорному столбу. Тех, кого мы осуждаем, поколение за поколением будут презирать и освистывать. Существуют такие преступные имена, которые, будучи заклейменными нами, в продолжение веков остаются лишь мерзкими и жалкими отбросами».

Наконец Золя удалось встретиться с тем, ради кого он так отчаянно сражался в течение двух лет. Капитан Дрейфус и его жена Люси пришли к нему на ужин. Кроме них, был приглашен композитор Альфред Брюно. Последний, увидев Дрейфуса, показавшегося из полутемной прихожей, подумал было, будто ему явился призрак. «Его кирпичный цвет лица,[269] глухой голос, резкие, отрывистые жесты меня поразили, – пишет он. – Рядом с ним шла мадам Альфред Дрейфус, высокая, прямая, спокойная, величественная в своей царственной простоте, благочестии, вере и непоколебимом мужестве. В тот незабываемый и трогательный вечер Дрейфус рассказывал нам о своем пребывании на Чертовом острове тоном суровым и отрешенным. Он спокойно упоминал о том, как ему приходилось сражаться с чудовищными крабами-пауками и другими омерзительными тварями. Это ужасающее

повествование о его физических и нравственных мучениях ни разу не прерывалось вспышками гнева».[270] При виде этого человека в штатской одежде, державшегося неподвижно, словно одеревенев, говорившего монотонным голосом и со взглядом, неизменно устремленным куда-то вдаль сквозь стекла пенсне, Золя не мог сдержать разочарования. Этот скучный и холодный Дрейфус меньше всего напоминал мученика. Манерой выражаться он больше всего напоминал какого-нибудь старательного и педантичного чиновника. Он почтительно относился к армии, почтительно относился к правительству, почтительно относился к судебным властям. Нельзя было придумать менее удачного защитника его дела, чем он сам. Когда чета, распрощавшись, удалилась, Золя стоило большого труда убедить самого себя в том, что он поступил правильно, решившись заступиться за этого военного, слишком хорошо переносившего несправедливость.

Ему уже не терпелось обо всем забыть. Впрочем, закон об амнистии, за который 14 декабря 1900 года проголосовал парламент, предписывал официально прекратить все судебные процедуры, связанные с этим делом. Прошлое было начисто смыто. Виновные и невинные уравнялись друг с другом. Дрейфус расплатился за всех. Дав себе небольшую передышку, Золя вновь взвился на дыбы. Охваченный негодованием, ненавидимый одними и обожаемый другими, он вернулся к прежней своей роли вечного мятежника. И вот он снова в первых рядах, этакий буржуазный анархист, героический и простодушный, упивающийся великими принципами до потери рассудка, страстно домогающийся истины, с пылающим факелом в руке, наилучшими чувствами наперевес и домом, обустроенным со всевозможным комфортом. Двадцать второго декабря он печатает в «Авроре» очередное сочинение, на этот раз – «Письмо к господину Эмилю Лубе, президенту республики». «И вот эта омерзительная история, запятнавшая все причастные к ней или трусливые правительства, сменявшие друг друга, на время завершилась предельным отказом от правосудия, этой амнистией, за которую под нажимом проголосовали обе палаты и которая останется в Истории под именем подлой амнистии… Я – всего только поэт, только одинокий рассказчик, незаметно делающий свое дело, в которое вкладываю всю душу. Я решил, что хороший гражданин должен довольствоваться тем, чтобы отдавать родине свою работу, выполненную как можно лучше; вот потому я замкнулся в моих книгах. Вот потому я попросту возвращаюсь к ним, раз взятая мной на себя миссия завершена». Прекрасное признание, исполненное боли и возмущения. Но кто еще

прислушивается к нему? У всех в голове лишь гром оркестров и иллюминации закончившейся осенью Всемирной выставки. И Золя, хотя и не переставал ворчать и ругаться, все же испытывал облегчение оттого, что вновь сделался писателем, озабоченным исключительно успехом своего нового романа «Плодородие», только что появившегося на полках книжных магазинов. Роман был принят доброжелательно, и продажи, хотя и не дотягивали до вершин «Западни» и «Нана», все же были неплохими. Читателям нравилось, что автор, отвернувшись от натурализма, теперь обратился к великим сюжетам, воспевая рождение потомства, труд, которому отдаешься с радостью, и социальное братство.

Прежде чем приступить к работе над вторым томом «Четырех Евангелий», который он озаглавил «Труд», Золя решил побывать на сталелитейном заводе в Юнье, в департаменте Луары. Кроме того, он, желая разобраться в предмете, читал книги, в которых говорилось о технологии производства и социальных проблемах на заводах. Все то время, что собирал материалы для будущей книги, он постоянно обращался к Шарлю Фурье, проповедовал священную добродетель коллективного труда, союз всех людей, невзирая на границы, всеобщий поцелуй примирения. «Таким образом я создаю человечество», – с простодушной гордостью пишет он. Сквозь стекла своего пенсне он видит леденцово-розовый мираж и упивается этим зрелищем. К черту научный натурализм! Сегодня надо утешаться самодовольным, мурлычущим социализмом. Читатели из бедных классов, которые обижались на Золя, пока тот жестко и резко описывал бедствия и пороки народа, теперь, когда он принялся воспевать светлое будущее тружеников, наперебой его расхваливали. Для них он, написав худший свой роман, сделался величайшим мыслителем левых демократов. Объединения рабочих, романтически настроенные профсоюзы видели в нем своего рода мирского мессию, шествующего по волнам к восходящему солнцу. Фурьеристы устроили банкет в честь «Труда». Золя туда не пошел, однако написал активистам: «Если я не рядом с вами, то лишь потому, что мне представляется более логичным и более скромным лично не присутствовать. Главное – не я и даже не мое произведение; вы чествуете стремление к большей справедливости, радуетесь битве за человеческое счастье; и я со всеми вами. Разве не достаточно того, что моя мысль стала вашей мыслью?.. Будущее общества – в переустройстве труда, и только от этого переустройства труда придет наконец справедливое распределение богатства».[271]

Оглядываясь на собственное прошлое, он говорил себе, что

мог бы довольствоваться тем, чтобы остаться писателем, автором многочисленных романов, вызвавших всеобщее восхищение; обстоятельства превратили его в страстного бойца, ввязавшегося в борьбу между классами, и защитника гонимой невинности. Таким образом, помимо его желания свершилась его двойная судьба кабинетного человека и человека публичного, рассказчика историй и народного защитника, мечтателя, считающего себя реалистом, и реалиста, погруженного в мечты о справедливости. На поверхности оказывался то Золя, написавший «Я обвиняю», то Золя – автор «Западни». Можно подумать, будто у него два призвания, две жизни, две головы под одной шляпой. Каким образом потомство разберется в этих противоречивых образах двуликого писателя? Впрочем, не все ли равно, стоит ли об этом сейчас задумываться? Куда торопиться – ему, Золя, всего-навсего шестьдесят один год.

Шестого августа 1901 года скончался Поль Алексис. Утрата этого давнего и верного друга потрясла Золя до такой степени, что у него пропало желание работать. Им овладели тревожные и тоскливые мысли о собственной смерти. Когда-то он сочинил одноактную лирическую драму, в которой говорилось о воскрешении Лазаря. По воле Христа оставив покой могилы, Лазарь восклицал: «О Учитель, зачем ты меня разбудил? Зачем так жестоко лишил несчастного умершего радости наслаждаться вечным сном?… Снова жить – о, нет, о, нет! Разве не заплатил я страданию свой ужасный долг живущего? Я родился, не зная почему, я жил, не зная как; и вы хотите заставить меня заплатить вдвойне, вы осудите меня снова отбывать срок наказания на этой земле скорби!» Жалобы Лазаря снова и снова звучали в сознании Золя в часы бессонницы. Ни за что на свете он не хотел бы заново прожить тот или иной период своей жизни, повторить ту или иную часть своей судьбы. Он стремился к ночи и все же, подобно выбившейся из сил рабочей лошади, продолжающей, несмотря ни на что, тянуть плуг и взрывать борозды, не переставал работать. Совершая над собой насилие, он написал третий том «Четырех Евангелий», названный «Истина». В нем он рассказал историю еврея-учителя Симона, которого обвинили в том, что он совершил насилие над учеником и убил его, тогда как на самом деле виновным был монах-капуцин; одним словом, основой для романа послужило дело Дрейфуса. Прекрасный случай расхвалить преимущества светского образования перед ограниченными догматами Церкви. «Я исхожу из мысли, что, если прогресс человечества так неспешен, виной тому неведение большинства людей, – пишет он в „набросках“. – Следовательно, в основе всего лежит просвещение, знать, а главное – знать истину

дало бы возможность быстро добиться всевозможных свершений, обеспечило бы всеобщее счастье. Недавний пример, который дало нам дело Дрейфуса».

Роман, напечатанный с продолжением в «Авроре», вызвал восторг учителей, которых воспел Золя. Выслушивая комплименты, он приосанивался. Успех придал ему сил, и у него снова в голове роились сотни планов. Написать пьесу, возможно, для Сары Бернар, сочинить одну-две «поэмы», которые Альфред Брюно положит на музыку, создать четвертое Евангелие – «Справедливость». По поводу этой последней книги он записывает: «Я намерен с головой погрузиться в утопию. Да, это, наверное, будет сон красоты и доброты, лирический апофеоз человечества, идущего по пути цивилизации… Большая поэма в прозе, полная света и нежности». И еще: «Для того чтобы Франция стала воплощением будущего, она должна стать воплощением демократии, истины, справедливости, выступив против старого мира католицизма и монархии». Его излюбленным времяпрепровождением наряду с осуществлением этих честолюбивых замыслов была, как и всегда, фотография, он с удовольствием печатал снимки. «Сегодня днем я испробовал с детьми объектив Моша, – сообщает он Александрине 13 октября 1901 года, – а сегодня вечером, вернувшись в половине девятого, проявил свои шесть снимков. Сейчас половина одиннадцатого, и я только что вышел из лаборатории. Пишу тебе, пока фотографии промываются, а в полночь спущусь за ними. Они получились очень удачные. Мне кажется, этот объектив более высокого качества, чем мой, и света больше. Детали выходят более мягко выписанными».

Перебравшись на лето 1902 года в Медан, Золя заполняет папки «Справедливости» замечаниями и пространными рассуждениями, читает газеты, все более страстно увлекается фотографией и каждый день навещает маленькую компанию, обосновавшуюся в Вернее. Жанна и дети встречают его с неизменной и пылкой радостью. Все вместе пьют чай, катаются на велосипеде по лесу, собирают цветы. Жак то и дело упрашивает отца рассказать ему сказку; Золя усаживает малыша к себе на колени и принимается тихонько говорить, а остальные, пристроившись вокруг, слушают, затаив дыхание, словно зачарованные его голосом. Денизе исполнилось уже двенадцать лет. Каким вольнодумцем ни был Золя, но ему захотелось, чтобы девочка пошла к первому причастию – только ради удовольствия увидеть ее одетой в белое. Иногда он казался сам себе скорее дедом этих детей, чем отцом. Жанна годилась ему в дочери. Он окружал ее восторженной, робкой и благодарной любовью. На

самом деле он страдал при мысли о том, что беспощадное время отдалит его от этой женщины, которая выглядит все такой же юной и полной сил. Рядом с Александриной он вновь чувствовал себя усталым, вспоминал о недомоганиях и преждевременной старости, которая досталась им обоим в удел. Он плохо спал, у него часто болели зубы. В конце сентября 1902 года ему показалось, что погода портится, слишком рано настает осень и пора перебираться в Париж. Жанна с детьми уехали из Вернея 27 сентября. Он решил уехать на следующий день, в воскресенье. Александрина сразу после возвращения из деревни хотела одна съездить в Италию, где у нее было несколько подруг.

Войдя в особняк на Брюссельской улице, Золя почувствовал, что в доме холодно и сыро, и попросил слугу Жюля зажечь в спальне камин, который топили угольными брикетами. Жюль исполнил приказание и, убедившись в том, что угли разгорелись, поднял железную заслонку, закрывавшую очаг. После сытного ужина Александрина и ее муж вымылись и улеглись рядышком в стоявшей на возвышении огромной, с четырьмя колоннами, кровати в стиле ренессанс. В три часа ночи Александрина проснулась оттого, что ей стало нехорошо, пошла в умывальную комнату, там ее вырвало, и ей стало немного полегче. Вскоре она вернулась в спальню и, увидев, что муж, в свою очередь, проснулся, предложила позвать Жюля. Но Золя не захотел тревожить слугу посреди ночи из-за легкого недомогания. Он успокоил жену, как мог: наверное, съели за ужином какую-то «гадость», что-нибудь несвежее. Надо проветрить комнату, от этого им станет легче. Не вполне соображая, что делает, он встал и нетвердыми шагами направился к окну, собираясь открыть его. Но, сделав всего несколько шагов, он пошатнулся и, не дотянувшись до задвижки, тяжело рухнул на пол. Перепуганная Александрина хотела броситься ему на помощь, но у нее закружилась голова, она не смогла даже ухватиться за шнурок звонка и тоже потеряла сознание.

На следующее утро, в десятом часу, Жюль и другие слуги забеспокоились: хозяева, которые обычно вставали рано, до сих пор их не позвали. Они постучали в дверь, но никто не откликнулся, а дверь была заперта на ключ. Послали за слесарем, и вскоре дверь распахнулась. Смертельно бледная Александрина, лежавшая на постели, еле слышно стонала. Золя был распростерт на полу, головой упираясь в ступеньку, ведущую к кровати, его тело еще не остыло. Ему побрызгали в лицо холодной водой, потом поднесли к губам зеркало, но ни малейшего следа на стекле не осталось. Попробовали сделать искусственное дыхание – безрезультатно. Доктор Берман, которого спешно вызвали,

послал за кислородом – не помогло. Ритмичное вытягивание языка не подействовало. Прибыл врач из полицейского участка и тоже попытался оживить Золя. Прошло немало времени, прежде чем собравшиеся смирились с тем, что надеяться больше не на что. Полицейский осмотрел камин. Дымоход был забит строительным мусором. Сомнений не оставалось: из-за отсутствия тяги в комнату шел угарный газ. Золя скончался от удушья 29 сентября 1902 года в возрасте шестидесяти двух лет. Но Александрина еще дышала. Ее перевезли в клинику в Нейи, и к вечеру она пришла в себя. Чтобы не волновать ее, ей решили пока не сообщать о трагической кончине мужа.

Тем не менее в городе весть об этом уже распространилась. Одни считали, что произошел несчастный случай, другие говорили о самоубийстве, наконец, третьи – о политическом убийстве. Единственное, что было достоверным, – дымоход действительно оказался забит строительным мусором. Но кто завалил дымоход обломками – неаккуратные рабочие или враги жертвы? Началось расследование, провели экспертизу. Архитекторы осмотрели камин, затем в их присутствии, а также в присутствии двух экспертов-химиков камин затопили. «Огонь зажег слуга г-на Золя с помощью того же самого топлива и при тех же самых условиях, что и 28 сентября, то есть с помощью хвороста и кусков угля, приготовленных для отопления дома зимой».[272] Эксперимент повторили несколько раз. Во время обоих опытов в комнату помещали морских свинок и птиц. Наутро все свинки были живы, из птиц две были найдены мертвыми. Анализ крови не показал наличия в ней окиси углерода, пробы воздуха выявили дозу окиси углерода, смертельной не считающуюся. «Существует лишь единственное предположение, – пишет журналист Жан Бедель, – которое может объяснить, почему один раз из камина проникла смертельная доза окиси углерода и почему в последующие дни животные смогли выжить в спальне. Это предположение сводится к тому, что дымоход был закупорен в день возвращения Золя в Париж и что его прочистили утром, когда писатель был уже мертв».[273]

Домовладельцу нечего было поставить в вину – содержание каминов в должном порядке вменялось в обязанность самим жильцам, которые, впрочем, выполняли действовавшие на то время правила и последний раз дымоход прочищали относительно недавно, в октябре 1901 года. Не обнаружили никаких упущений и со стороны тех, кто выполнял эту работу. Возможно, ошибка, которая привела к непоправимым последствиям, была совершена теми, кто летом перекрывал крышу. Но не могло ли случиться так, что Золя покончил с собой?

Что за нелепость! Какие причины могли его к этому подтолкнуть? А главное, зачем бы он стал убивать заодно с собой и жену? Оставалась только одна гипотеза: совершено преступление. Ведь противники Золя не провалились под землю словно по волшебству, они продолжали его преследовать, донимать, засыпать анонимными письмами: «Где же Шарлотта Корде, которая избавит Францию от твоего мерзкого присутствия? За твою голову назначена цена», «Грязная свинья, продавшаяся евреям. Я только что вернулся с собрания, на котором было принято решение тебя прикончить. Предупреждаю тебя, что не пройдет и шести месяцев, как второй Казерио, твой соотечественник, расправится с тобой. Франция освободится от гнусной личности», «Смерть! Смерть подлецу, грязному еврею! Г-н Золя, хорошенько запомните эти несколько строчек. За ваши мерзости вы сегодня вечером были осуждены. Нас было несколько, настоящих французов, жребий пал на меня, и вы взлетите на воздух, сударь, динамит покончит с вами, презренным, своей слюной пачкающим нашу милую Францию», «Почему среди свидетелей ты не назвал германского кайзера, который платит тебе вкупе с мировым еврейством?»[274] Не только он сам, но и Александрина, и даже консьерж получали записки с оскорблениями. Это были не пустые угрозы: разве не был адвокат Лабори ранен выстрелом неизвестного антидрейфусара? Пусть Золя был амнистирован, пусть он покинул бой, он по-прежнему был окружен ненавистью.

Теперь его соседи тихонько поговаривали о том, что недавно по крыше соседнего дома ходили какие-то люди. Оттуда они легко могли перебраться на крышу дома 21-бис по Брюссельской улице. Тем не менее, если они намеревались завалить мусором один из дымоходов, им еще надо было предварительно выяснить, какой из двенадцати, возвышавшихся над квартирой Золя, вел непосредственно в спальню писателя. Кто мог сообщить им такие сведения? Нечестный слуга, которого они подкупили? Почему бы и нет? С особенным вниманием следовало бы изучить последнюю оставшуюся возможность – гонители Золя захотели дать ему «урок», отравив воздух в спальне писателя, который «отравил» стольких читателей своими книгами. Грубая шутка обернулась убийством. Такое истолкование происшедшего, которое я высказываю с осторожностью, кажется мне наиболее правдоподобным из всех. Впрочем, ни одно из них и до сего дня не превратилось в уверенность. Расследования, допросы свидетелей, попытки травить угарным газом морских свинок и птиц – ничто из этого не дало возможности окончательно прояснить тайну. Исключив версию преднамеренного убийства,

правительство того времени придерживалось официальной версии несчастного случая, озабоченное прежде всего тем, чтобы не пробуждать страсти вокруг дела, считавшегося закрытым.

В комнату усопшего шли удрученные друзья. Покойный, с гладким, безмятежным и равнодушным лицом, лежал на парадной постели, вокруг которой теснились, перешептываясь, посетители. В ходе судебного расследования было произведено вскрытие тела, но голову не тронули. «Смерть нимало не изменила черты его лица, – писал Альфред Брюно.[275] – Казалось, он разделил со своими творениями привилегию остаться в вечности. На мгновение я предался этой иллюзии, но она слишком быстро рассеялась». Ему вторит Дениза Ле Блон-Золя: «Он был прекрасен, черты лица спокойные, выражавшие величие, словно он отдыхал, завершив огромный труд».[276] Жанна, узнав о случившемся от друзей, тихонько проскользнула в комнату вместе с детьми, обливаясь слезами. Дениза и Жак никак не могли поверить в то, что эта восковая кукла – их отец, который еще вчера так нежно целовал их и, посмеиваясь в бороду, рассказывал невероятные истории. Дрейфус тоже пришел отдать последний долг тому, кто не щадил сил, защищая его. На улице дежурили полицейские в штатском, наблюдавшие за тем, как входят и выходят близкие и друзья писателя. Правительство было охвачено волнением. Как следует хоронить этого неудобного усопшего? Как только Золя был амнистирован, он тут же получил свою розетку ордена Почетного легиона, но из гордости и от обиды отказывался ее носить. И надо ли, несмотря ни на что, забыть о его нападках на армию и воздать ему воинские почести? Обычай этого требовал, но душа не принимала. В конце концов правительство Парижа решилось простить полученные от покойного оскорбления, и роте 28-го линейного полка был отдан приказ сопровождать катафалк.

Правые газеты открыто радовались этому жалкому концу. «Французский народ» («Le Peuple français») уверял, будто святой архангел Михаил поразил Золя, как некогда поразил дракона. «Свободное слово» («La Libre Parole») насмехалось: «Натуралистическое происшествие: Золя отравлен угарным газом».

Проведя четыре дня в клинике, Александрина, которой к этому времени стали известны все подробности трагедии, вернулась домой. По словам друзей, она была бледная, потерянная, с блуждающим взглядом. Она и без того была в глубоком отчаянии, а ей еще приходилось отвечать на вопросы полицейских. Дрейфус сказал ей, что хотел бы присутствовать на похоронах Золя, но она умоляла его этого не делать. Она боялась,

как бы появление капитана не стало предлогом для новых враждебных выходок. Жозеф Рейнах ее поддержал. «Вы требуете от меня совершить подлость!» – возмутился Дрейфус. «Я прошу вас принести жертву», – ответил Жозеф Рейнах. Тогда удрученный Дрейфус попросил, чтобы ему позволили хотя бы вместе с близкими находиться у ложа покойного. В этом Александрина не могла ему отказать. Но она так стремилась избежать каких бы то ни было инцидентов во время похорон, что попросила Анатоля Франса, которому поручено было произнести речь на кладбище, говорить о Золя лишь как о романисте, ни словом не упоминая о позиции, которую занял писатель во время расследования «Дела». Ошеломленный Анатоль Франс возразил, что не может сдержать своего восхищения автором «Я обвиняю». Тогда Александрина ему написала: «Полагаясь на ваш такт, я предоставляю вам полную свободу и рассчитываю на вас». Слово «такт» его обозлило: Франс расценил его как предложение скрыть свои истинные чувства. «При таких условиях я не могу выступать у могилы Золя», – ответил он. Не зная, на что решиться, Александрина обратилась за советом к Дрейфусу. Он уговорил ее позволить Анатолю Франсу высказать все, что у него на душе. И Александрина, хотя и страшно боялась идти на такой риск, сообщила автору «Острова пингвинов», что он может почтить память ее покойного мужа так, как считает необходимым. Одновременно с этим она позволила Дрейфусу быть в числе тех, кто проводит Золя к месту его последнего упокоения.

Тело забальзамировали, чтобы сохранить в хорошем состоянии до погребения, которое пришлось отложить на несколько дней. Теперь Золя покоился в своем рабочем кабинете, дверь которого постоянно оставалась открытой. Дом не отапливался из-за расследования, которое полицейские все еще неспешно и тщательно продолжали вести. Погода стояла очень холодная. Друзья усопшего, собравшись в соседней гостиной, дрожали, кутаясь в пледы и держа ноги на грелках с горячей водой. Время от времени кто-нибудь из них вставал и шел помолиться у изголовья умершего. Альфред Брюно заметил, что собачки Пимпен II и Фанфан, при жизни Золя друг друга ненавидевшие, теперь помирились и лежат рядышком в двух шагах от тела хозяина в печальном согласии. Что до кота, тот долго бродил вокруг открытого гроба, а потом одним прыжком туда вскочил. Альфред Брюно описывает его «тихо сидящим на груди Золя, задумчивым и неподвижным, словно он исполнял некий священный обряд, не дыша и не сводя с хозяина зеленых светящихся глаз».[277]

На рассвете 5 октября 1902 года, в воскресенье, траурная

процессия тронулась в путь. Жанна и ее дети, затерявшись в толпе, заполнившей Брюссельскую улицу, смотрели, как служащие похоронного бюро выносят гроб. Из чувства приличия они не присоединились к шедшим за гробом. Александрина из уважения к воззрениям мужа предпочла гражданскую церемонию. Но сама до такой степени изнемогла, что у нее не хватило сил присутствовать на похоронах. Она осталась дома в окружении нескольких друзей и смотрела в окно, прижавшись лбом к стеклу.

«На караул!» Рота 28-го линейного полка под командованием капитана Олливье воздает почести умершему. У гроба стоят Людовик Галеви, Абель Эрман, Жорж Шарпантье, Эжен Фаскель, Октав Мирбо, Теодор Дюре, Альфред Брюно и Бреа, секретарь Биржи труда. На пути процессии, двигавшейся от Брюссельской улицы к кладбищу Монмартр, собралась многочисленная толпа. Из всех окон высовывались любопытные. Кое-кто даже взобрался на крыши. Здесь и там слышались смешки. Кто-то затянул песенку:

Эмиль Золя, пролаза,
Творец похабных книг
От рудничного газа
Взял и скончался вмиг.[278]

На него зашикали, заставили умолкнуть. Когда процессия прибыла на кладбище, гроб поместили во временный склеп. Для ораторов была выстроена шаткая трибуна, задрапированная черной с серебром тканью. Шомье, министр народного просвещения, обнажив голову, прочел благопристойную и любезную речь, посвященную памяти почившего великого писателя. Затем его сменил Абель Эрман, председатель Общества литераторов: «Он никогда не льстил толпе, а при случае и бросал ей вызов, он не боялся помериться с ней силами, и не только в его книгах вокруг него раздавались гневные выкрики и угрозы». Друзья Золя опасались, как бы этот намек на политическую роль покойного не спровоцировал насмешек присутствующих. Однако никто не возмущался, только кое-где послышался свист и глухой ропот. Настал черед Анатоля Франса взять слово. Он не всегда ценил талант Золя в его цикле «Ругон-Маккары», но после дела Дрейфуса пересмотрел свое отношение к писателю. «Литературное наследие Золя огромно, – сказал он. – Сегодня, когда мы охватываем взглядом все это колоссальное творение, мы осознаем и то, каким духом оно проникнуто. Это дух доброты. Золя был добрым. Он обладал чистотой и простотой, свойственной великим душам. Он был глубоко нравственным

человеком. Он твердой и добродетельной рукой изобразил порок… Будучи демократом, он никогда не льстил народу и старался показать ему порабощение невежества, опасности алкоголя… Я должен напомнить о борьбе, которую вел Золя за справедливость и истину, так могу ли я умолчать о людях, стремившихся погубить невиновного?..»

При этом упоминании о деле Дрейфуса по толпе пробежала дрожь. Не обращая ни малейшего внимания на вспыхивавшее временами недовольство, Анатоль Франс продолжал говорить: «Вы слышали крики ярости и призывы к убийству, которыми его преследовали даже во Дворце правосудия во время этого долгого процесса, разбиравшегося в намеренном неведении сути дела, опираясь на лжесвидетельства, под бряцание шпаг… Не станем жалеть его за то, что ему пришлось вытерпеть и выстрадать все это. Позавидуем ему. Его слава, поднятая на самую невероятную груду оскорблений из всех, какие глупость, невежество и злоба когда-либо воздвигали, вознеслась на недоступную высоту. Позавидуем ему: он одарил родину и весь мир грандиозным творением и великим подвигом. Позавидуем ему, его судьба и его сердце уготовили ему величайший жребий: он был совестью человечества». Эта последняя фраза прозвучала словно отданный потомству приказ почитать усопшего в течение веков.

Толпа тронулась, и движение не останавливалось до захода солнца. Поток незнакомых людей медленно тек мимо открытой могилы. Некоторые бросали на гроб красные цветы шиповника. Матери поднимали детей над головой на вытянутых руках, чтобы те навсегда могли запомнить минуту, когда они простились с Золя. Появилась делегация шахтеров севера, кричавших: «Жерминаль! Жерминаль!» – так, словно они призывали к восстанию жителей предместий. Тем не менее никаких беспорядков, никаких стычек не произошло. Полицейские перевели дух.

В тот же вечер капитан Олливье, командовавший ротой, которой было поручено воздать Золя воинские почести, вернулся в казарму. Он, как положено солдату, подчинился приказу. Но один из его товарищей оскорбил его и дал ему пощечину. За этим последовала дуэль, во время которой капитан Олливье был ранен в руку. Что ж, как бы это ни выглядело на первый взгляд, в действительности дело Дрейфуса не было закрыто.

XXVIII. Пантеон

На письменном столе Золя остались лежать несколько страниц его последнего, незаконченного романа «Справедливость». Дом, утративший хозяина, казался более просторным, холодным и гулким. Александрина приучалась к одиночеству: на этот раз муж покинул ее не для того, чтобы навестить Жанну. Новое жилище Эмиля было тем, из которого не возвращаются.

О нем много говорили в эти первые дни после его кончины, и страсти долго не утихали. Все газеты, за исключением тех, что принадлежали к церковным и националистическим кругам, писали о непоправимой утрате, которую понесла французская литература. Уже 2 октября Поль Брюла в «Авроре» потребовал, чтобы Золя положили в Пантеоне. Великий химик Марселен Бертело рассказал в «Веке» («Le Siécle»), что дважды предлагал шведской комиссии кандидатуру автора «Западни» на Нобелевскую премию, но его старания успехом не увенчались. Большинство французских академиков, двадцать четыре раза отвергших Золя, теперь задумались, не помутился ли у них разум во время голосования. За границей кончина этого человека воспринималась как событие мирового значения. Не было ни одной страны, где Золя не считали бы гением, которого следует поставить в первый ряд среди тех, кто будит человеческое сознание. Теперь Жорес, переняв от Золя эстафету, требовал пересмотреть дело Дрейфуса. Он сражался в газетах, он сражался в парламенте. Двадцать пятого ноября 1903 года Дрейфус подал прошение о пересмотре решения Реннского военного суда; его просьба опиралась на «разоблачение», сделанное Жоресом в палате. После нескольких часов раздумий и колебаний совет министров решил передать дело в кассационный суд. Первое открытое заседание суда состоялось 3 марта 1904 года, а 12 июля 1906 года решение военного суда Ренна, «вынесенное по ошибке» (*sic*), было отменено. Дрейфус, с которого были сняты все обвинения, вернулся в армию в чине майора, а несколько дней спустя, стоя посреди большого двора военной школы, того самого двора, где происходило его разжалование, был перед строем награжден орденом Почетного легиона. Доблестный Пикар тогда же был произведен в бригадные генералы. Идеи Золя восторжествовали, но сам он не увидел их триумфа. Умерший за четыре года до того, он оставил эти радость и гордость в наследство своим друзьям, своей жене, Жанне.

Александрина в порыве великодушия подарила меданский

дом службе государственного призрения, с тем чтобы в нем устроили ясли.[279] Казалось, собственное горе научило ее сочувствовать чужим несчастьям. Она сблизилась с Жанной и детьми, в которых видела словно бы отражение мужа. Когда она упоминала о двух сиротках, ей случалось называть их «мои дети». Вскоре, исполняя желание покойного, она добилась того, чтобы Денизе и Жаку было позволено носить фамилию Золя. Тогда же, договорившись с их матерью, она официально учредила «совет друзей», который собрался в мэрии под председательством мирового судьи. Выйдя после заседания на улицу, Альфред Брюно увидел, как удаляются рядышком, словно лучшие подруги, две женщины, присутствием которых была отмечена жизнь Золя.

Вскоре Жорж Клемансо стал председателем совета министров. Он немедленно назначил бывшего отщепенца Пикара военным министром, а затем по предложению Жореса, Бретона и Прессансе внес на рассмотрение парламента проект закона, предписывающего перенести прах Золя в Пантеон. Несмотря на возражения Барреса, пылкого и гнусавого депутата от крайне правых, проект был принят подавляющим большинством голосов.

Узнав об этом, Александрина почувствовала себя польщенной и вместе с тем опечалилась. Она возвела на Монмартрском кладбище двухместную гробницу: для мужа, который там уже покоился, и для себя, когда настанет ее час присоединиться к нему. При мысли о том, что ее разлучат с останками ее дорогого Эмиля, ей казалось, будто ее лишают самого драгоценного, что только у нее есть. На вопрос адвоката Леблуа, который поинтересовался, не лучше ли будет, щадя чувства госпожи Золя, попытаться отсрочить исполнение закона, Альфред Брюно запальчиво воскликнул: «Это было бы недостойным отступлением. В этом случае следует забыть о каких бы то ни было личных чувствах и думать лишь о символическом значении этого закона, о дани уважения, которую вся нация воздаст гражданскому мужеству и литературному гению Эмиля Золя!»

Александрина нехотя смирилась. Взяв на себя руководство действиями, Альфред Брюно и Демулен отправились в Пантеон, чтобы выбрать там место для упокоения Золя, поближе к Виктору Гюго. Архитектор Нено должен был разработать оформление. Накануне официальной церемонии, в пять часов вечера, Альфред Брюно и Демулен стояли на Монмартрском кладбище у могилы, с которой уже сняли плиту. Когда останки Золя поднимали на поверхность, оказалось, что дубовый гроб, внутри которого был заключен свинцовый, начал крошиться, надо было заменить его другим. Альфред Брюно начал терять терпение, поскольку, с одной стороны, его ждали в Пантеоне жена, дочь и кое-кто из

близких друзей, а с другой – он получил несколько анонимных писем, в которых его предупреждали о том, что «патриоты» сбросят катафалк в Сену, как только он въедет на мост. Но опасения его не оправдались, перевозка прошла под наблюдением полиции без всяких затруднений. Однако когда катафалк прибыл к Пантеону, площадь перед ним уже была заполнена ревущей толпой. Восторженные возгласы перемежались оскорблениями и угрозами.

Немногочисленные приглашенные на церемонию окружили Александрину, Жанну, детей, чету Дрейфусов. Все они медленно поднялись по ступеням величественного сооружения, украшенного тридцатью двумя колоннами. Внутри ждал огромный катафалк, на который опустили гроб. Простояв там несколько минут в молчании, семья удалилась, предоставив друзьям, когда-то стоявшим у смертного одра Золя, в последний раз побыть рядом с ним в этом пышном окружении.

На следующий день, 5 июня 1908 года, погода стояла великолепная. Приближаясь к Пантеону, Альфред Брюно увидел войска, уже собравшиеся, чтобы воздать последние почести великому писателю. В половине десятого раздалась барабанная дробь, запели трубы. Один за другим начали прибывать высшие чины государства. Президент республики Фальер, председатель совета министров Клемансо, все министры, представители всех органов управления и суда. Гастон Думерг произнес краткую речь, в которой восхвалял верность Золя: «В первую очередь он думал о своей родине, о ее славе, о ее чести; он хотел, чтобы она занимала почетное место среди прочих наций!» Затем его сменил Клемансо, провозгласивший: «Встречаются люди, способные дать отпор могущественнейшим правителям, но очень мало людей, способных противостоять толпам… таких, кто осмелится, когда требуют сказать „да“, гордо поднять голову и сказать „нет“».

После речей и оркестра («Марсельеза», «Походная песня», траурный марш из «Героической симфонии», прелюдия из «Мессидора») приглашенные вышли на площадь перед Пантеоном, где должен был начаться военный парад. «Патриоты» из Лиги, подстрекаемые Барресом и Леоном Доде, кричали и размахивали палками. Внезапно грянули два выстрела. Дрейфус пошатнулся, тем временем нападавшего уже задержали в толпе: бездарный журналист из крайне правых по фамилии Грэгори. К счастью, Дрейфус оказался всего лишь легко ранен в руку. Войска прошли стройными рядами. Генералы отсалютовали шпагами. Знамена склонились. Можно было поверить в то, что официальная Франция всегда любила и почитала Золя.

Теперь оставалось лишь опустить гроб в крипту. За гробом

шли только Александрина, Жанна, дети и десяток ближайших друзей. Гроб поместили в третью крипту по левой стороне, в южной части Пантеона, где уже покоился прах Виктора Гюго. Когда могильный камень был установлен на место и засыпан цветами, кучка людей поднялась наверх по извилистой лестнице при тусклом свете фонаря. Александрина задыхалась под своей траурной вуалью. Она не только не испытывала гордости во время этой светской канонизации – ей казалось, будто она только что во второй раз потеряла мужа. До этого он, даже мертвый, принадлежал ей. Отныне он принадлежит всем. Чем больше росла и крепла слава Золя, тем чаще его жена спрашивала себя, что общего между этим застывшим в республиканской торжественности персонажем и простым, добрым, чистосердечным человеком, нежным и вместе с тем упрямым, рядом с которым она провела тридцать восемь лет своей жизни. Она дала себе клятву посвятить остаток своих дней охране памяти об усопшем: создание Общества друзей Золя, паломничества в Медан, симпозиумы, открытие памятников – ко всему этому она будет причастна. Роль вдовы возвышала ее в собственных глазах и оправдывала ее одинокое существование.

А пока, выйдя на свежий воздух, она невольно зажмурилась, ослепленная заливším Париж летним солнцем. Рядом с ней Жанна, Дениза, Жак – ее новая семья.[280] Обернувшись и глядя на темную громаду Пантеона, Александрина все сильнее жалела о том, что Золя, человек толпы, света и движения, «итальянец» Золя останется запертым в этом ледяном сооружении, предназначенном для лучших сынов Франции. И все же она была полна надежды. Она уже предчувствовала, что поклонники писателя станут искать его не в храме бессмертия, где покоится его прах, но в книгах, где он навсегда останется живым.

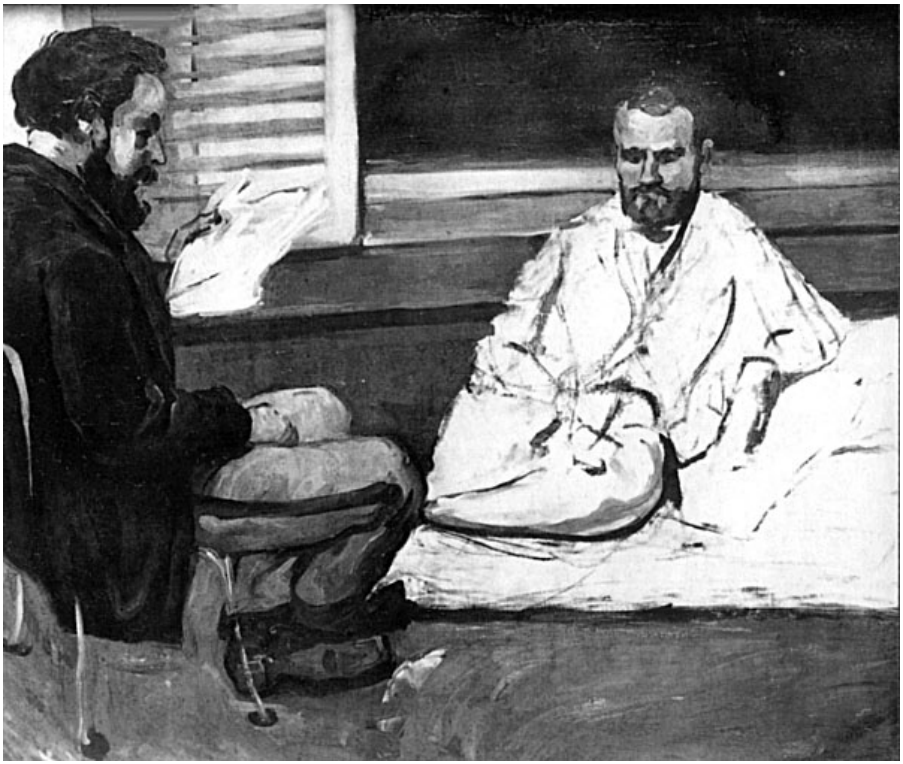
Фотографии

Итальянец по происхождению, инженер Франсуа Золя обосновался в Эксе, собираясь построить там оросительный канал. Его безвременная кончина оставила его жену Эмили и семилетнего сына в жестокой нужде.

Эмиль Золя, дважды провалившись на экзамене, должен был зарабатывать себе на жизнь: он пришел в издательство Ашетта мелким служащим.

Вместе с Сезанном, лучшим другом отроческих лет, Золя бродил по провансальским пустошам. Однако из-за требований, которые выдвигала работа, сумрачного характера художника и публикации романа «Творчество» между этими людьми вскоре образуется непреодолимая пропасть.

Автопортрет. Частное собрание



Полю Алексису, писателю и приятному собеседнику, который будет и свидетелем у него на свадьбе, Золя поверяет свои надежды: «Мы – люди завтрашнего дня, наш день близится».

Золя (слева) и Поль Алексис.

Картина Сезанна. Музей Сан-Пауло.

1.

2.

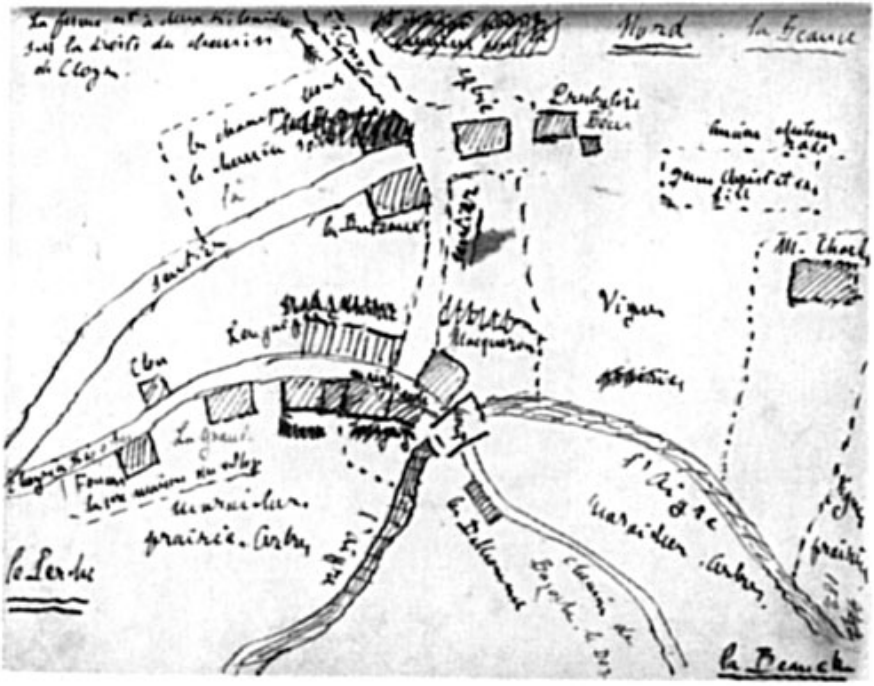
3.

4.

Труженик-одиночка Золя тем не менее испытывал потребность встречаться с друзьями. Он восхищался Флобером (1), который был для него ворчливым духовным отцом. Мопассан (2), который был десятью годами младше, привлекал его своими разнузданными нравами. От утонченного и скромного Эдмона де Гонкура исходило, несмотря на его манеры безупречного литературного аристократа, странное ощущение фальши. Что касается бледного и болезненного Альфонса Доде, он провинился, не оценив Мане.

Александрину Меле, с ее тяжелым телом и угольно-черными глазами, красавицей назвать было нельзя. Но она дала Эмилю надежное прибежище, в котором он так нуждался для того, чтобы писать.

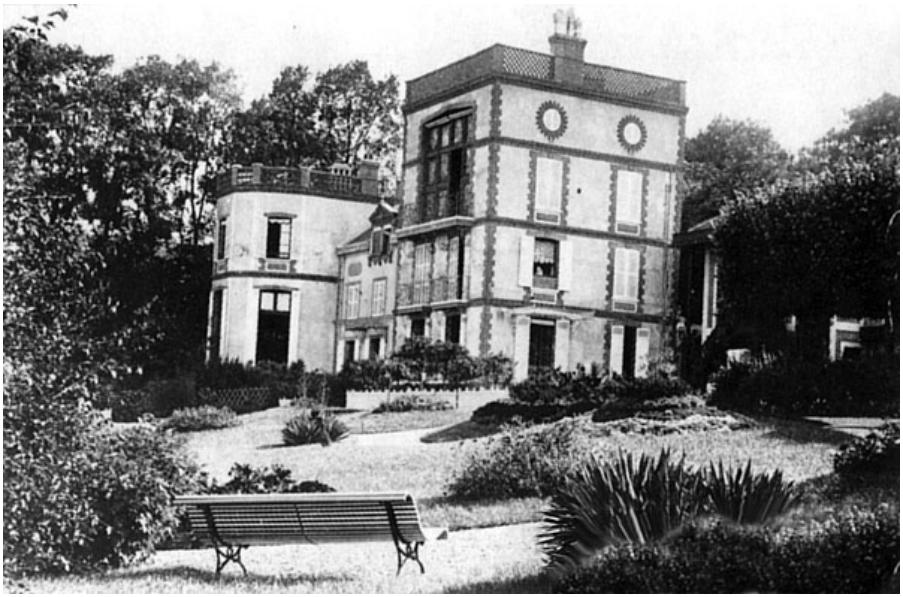
Зарабатывать на жизнь пером – не такое уж легкое дело, особенно во время войны. После того как прогорела газета «Марсельеза», Золя отчаянно пытался найти где-нибудь еще место репортера. Подавленный, из пишет из Бордо матери и жене: «Я чувствую, что стоит мне отступиться, и все потеряно».



Успех «Терезы Ракен» дал Золя возможность перебраться в особняк в Батиньоле, где он будет работать над «Естественной и социальной историей семьи времен Второй империи». В качестве подготовительной работы он собирает материал на месте.

«Наконец-то похож на себя…» Золя позирует (наверху) Полю Надару в 1895 году.

Фото: BN.

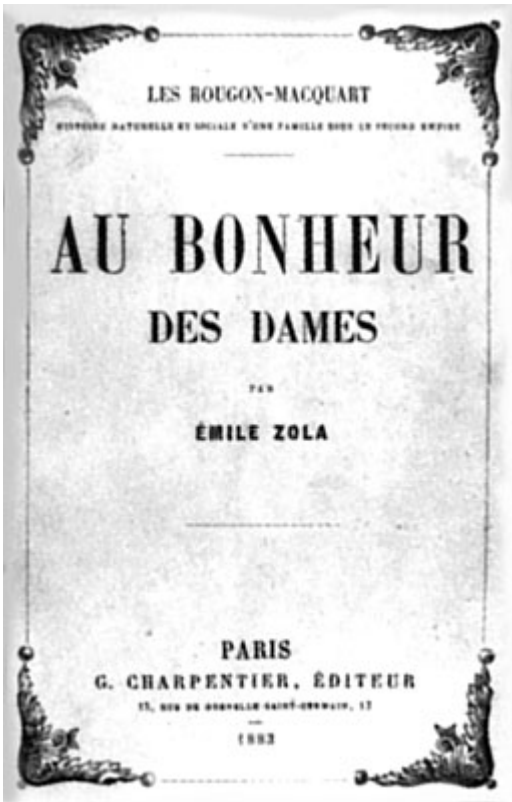


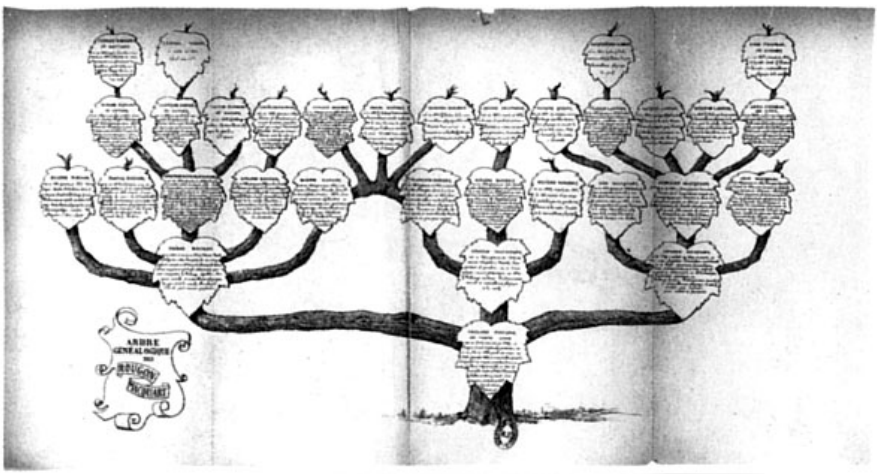
В 1878 году Золя гордится тем, что купил «кроличий домик» в департаменте Сены-и-Уазы. Поселившись там, он тотчас принимается увеличивать и отделывать дом, где собрал столько разнородных предметов, что его жилище, по словам одного русского журналиста, стало напоминать «лавку старьевщика».

Домашний покой: Золя играет со своей собачкой.

Для того чтобы принимать друзей, Золя строит в саду меданского дома флигель из четырех комнат, который в честь своего издателя называет «флигелем Шарпантье».

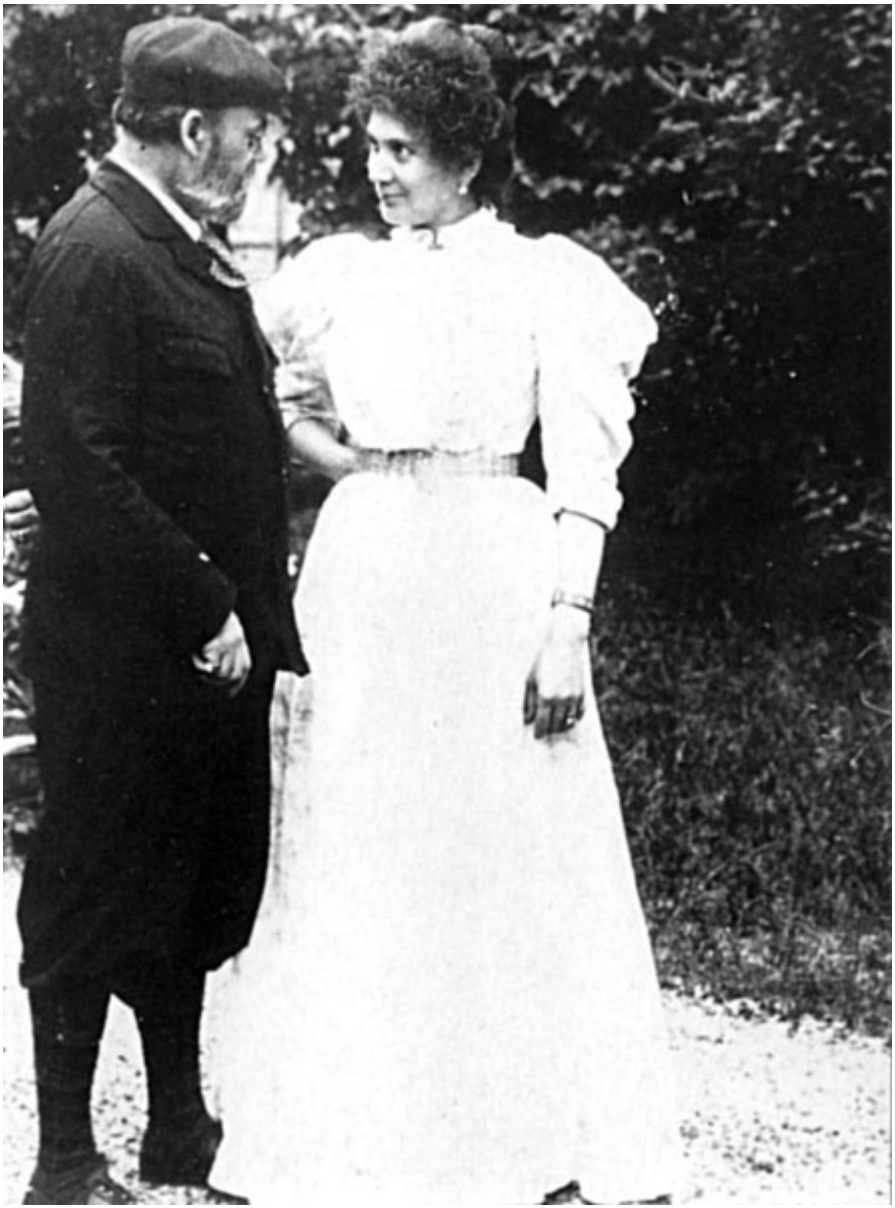
Слева направо мы видим Золя, Александрину, Шарпантье, его жену и гравера Демулена.





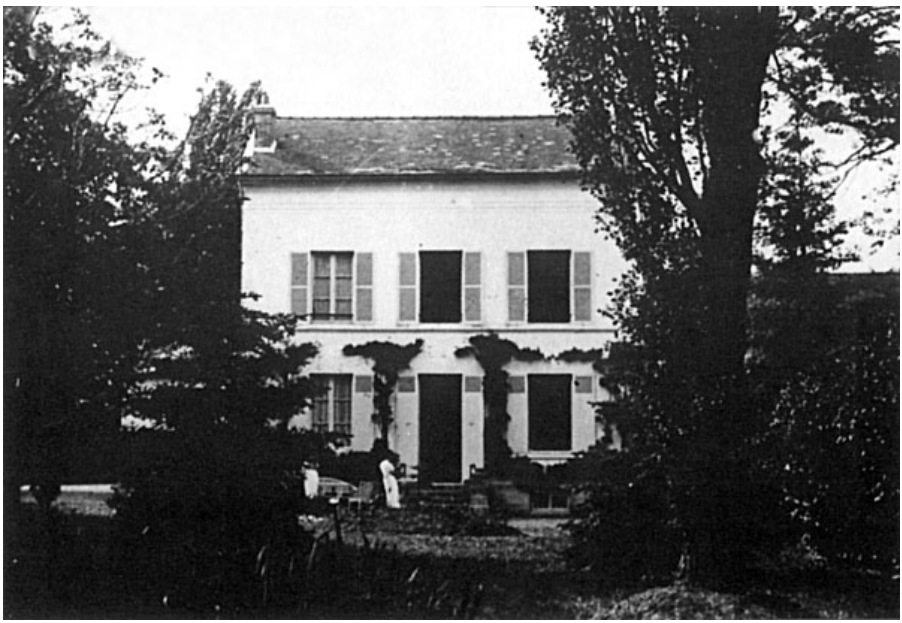
Родословная Ругон-Маккаров, помещенная в 1893 году в «Докторе Паскале». Фото: BN.

Появление «Западни», а потом «Нана» было встречено упреками, оскорблениями и насмешками. Рассчитывая уничтожить писателя, пресса возвела его на пьедестал: у обывателя, читавшего такие романы, появлялось чувство, будто он в полной безопасности пускается во все тяжкие.

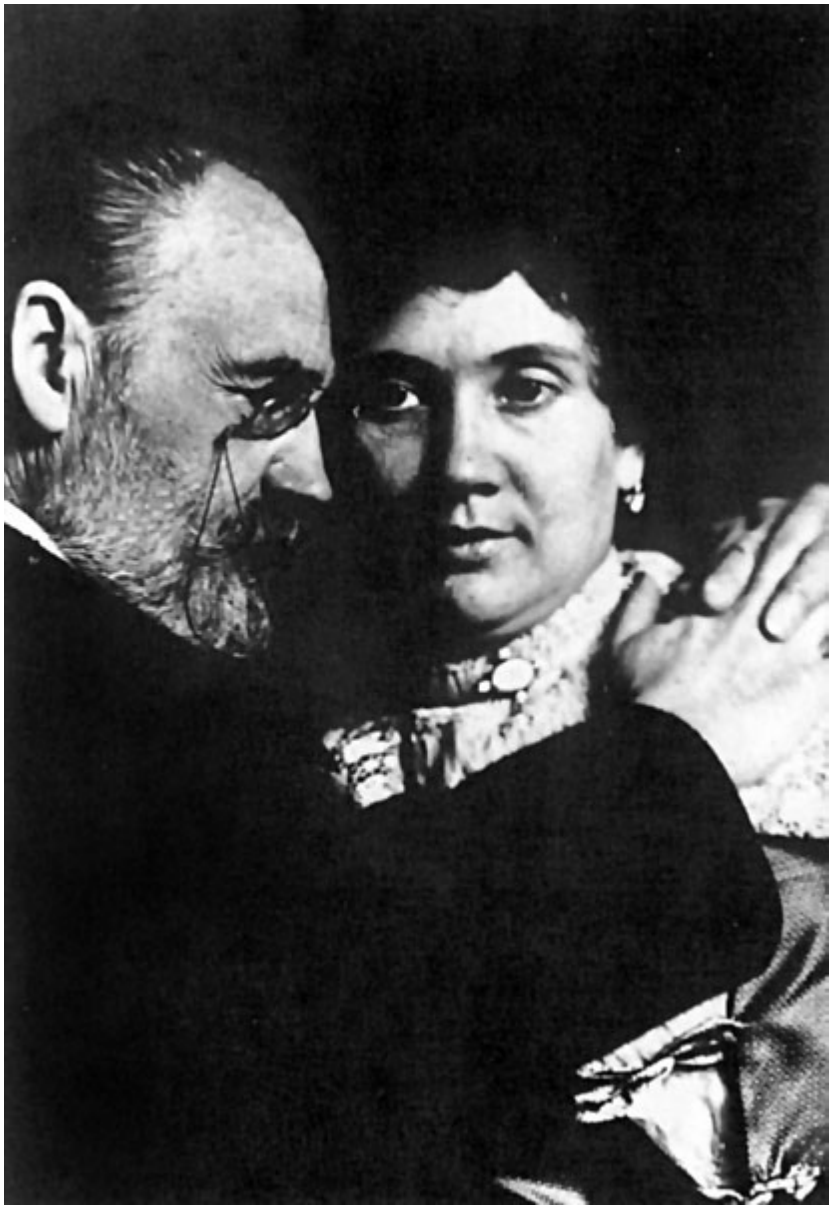


Жанна Розеро, которую Александрина наняла прачкой, вскоре стала любовницей Золя; покоренный ее молодостью и непосредственностью, он начал новую жизнь: в 1889 и в 1891 году Жанна подарила Эмилю двоих детей, чего Александрина так и не смогла сделать для него.

На лето Золя снял дом в Вернее, поблизости от Медана. Оседлав велосипед, он мчался к своей второй семье, чтобы там тайно вкусить радости домашнего уюта.



В Вернее, куда гости заглядывали редко, Жанна воспитывала детей в поклонении отцу. Золя, со своей стороны, признавался: «Мне хотелось бы подарить твоей молодости побольше удовольствий и не принуждать тебя жить затворницей».



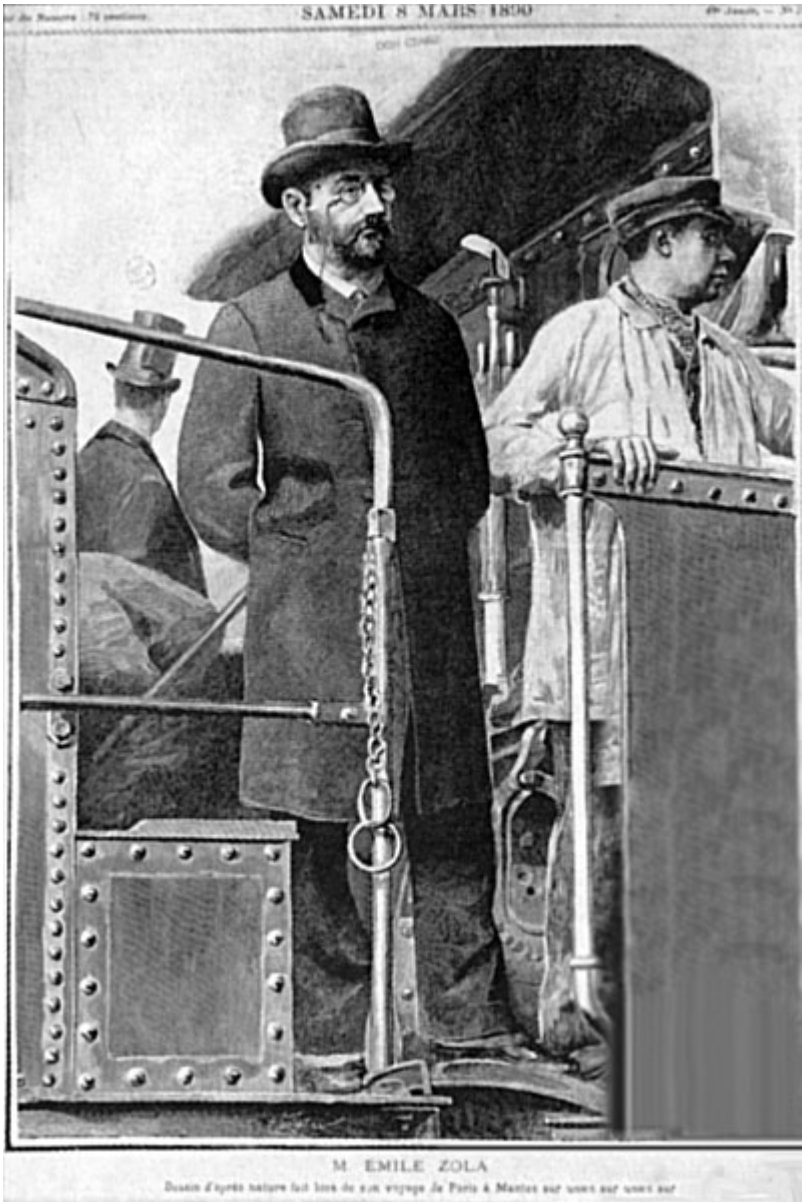
«Мы были счастливы, мы, родители и дети, нежно любили друг друга, – напишет позже его дочь, Дениза. – Казалось, ничто не могло уменьшить это счастье».

à ma chère petite Denise

Bon pour un cadeau de jour de l'an, que je paierai, dès ma rentrée à Paris, sur la présentation de ce billet.

Décembre 98 Emile Zola

Золя с Жаком и Денизой в 1902 году. «Как я его любила, отца, посвящавшего нам часы своего досуга, и еще насколько больше я любила бы его, если бы знала о том, какая тайная печаль его точит!»



Слава Золя не переставала расти: «Illustration» рассказывает о недавней поездке, которую романист совершил на локомотиве, чтобы приобщиться к жизни железнодорожников и потом описать их в «Человеке-звере».

LIRE AUJOURD'HUI

LA BÊTE HUMAINE

GRAND ROMAN INÉDIT

Par EMILE ZOLA

EN Vente PARTOUT LE NUMÉRO **15** CENTIMES

EN Vente PARTOUT LE NUMÉRO **15** CENTIMES

Qui paraît dans

LA VIE POPULAIRE

Заманчиво представленные в двух передовых газетах, «Народная жизнь» и «Радикал», последние романы писателя, напечатанные с продолжением.

Cinq Centimes

L'AURORE

Littéraire, Artistique, Sociale

J'Accuse...!

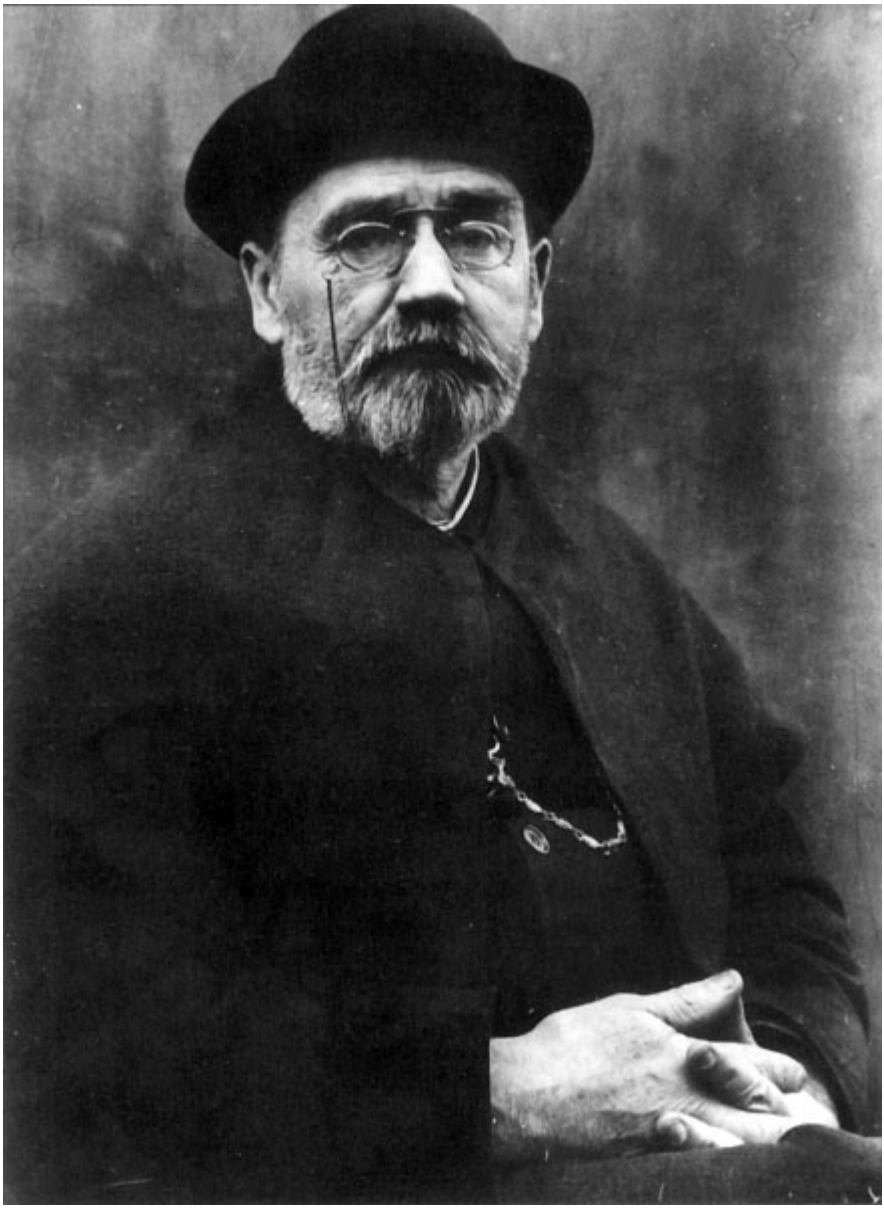
LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Par ÉMILE ZOLA

LETTRE

С «Делом» Золя вошел в политическую и нравственную историю своей страны: смело взявшись защищать капитана Дрейфуса (справа) в своей статье «Я обвиняю», он в результате был приговорен к году тюремного заключения и вынужден был бежать в Англию. Сделавшись мишенью реакционной прессы, он будет сражаться до тех пор, пока не восторжествуют правосудие

и истина. Именно этого упорства не простят ему противники: даже его смерть и его погребение в Пантеоне дадут карикатуристам дополнительный повод для того, чтобы его высмеять.



Золя на закате своих дней.

notes

Примечания

1

У Армана Лану – 8 августа – с ссылкой на автобиографию самого Франсуа Золя и его послужной список. (*Прим. пер.*)

2

По Лану – геодезист горного участка, намечавший первые трассы от Линца до Висбадена, затем от Линца до Гмундена. (*Прим. пер.*).

3

В настоящее время – проезд Сильвакан. (*Прим. авт.*)

4

Torse – кривой (*фр.*).

Сейчас – улица Минье. (*Прим. авт.*)

6

Популярнейшая опера Ф.А. Буальдье, одного из лучших французских композиторов XIX в.; либретто написано Скрибом по мотивам шотландской легенды, известной в обработке В. Скотта. (*Прим. пер.*)

Драма А. Дюма-отца. (*Прим. пер.*)

8

Золя сам рассказывал о том, что приключалось с ними во время таких вылазок, Полю Алексису, который включил эти истории в свою книгу «Эмиль Золя, записки друга». (*Прим. авт.*)

9

Приведено Полем Алексисом в указ. соч. (*Прим. авт.*)

10

«Весна, дневник выздоравливающего»; позже Золя повторит эти слова в «Проступке аббата Муре». (*Прим. авт.*)

11

Письмо, написанное в июне 1859 года. (*Прим. авт.*)

12

Письмо от 16 января 1860 года. (*Прим. авт.*)

13

Письмо Полю Сезанну от 25 марта 1860 года. (*Прим. авт.*)

14

Письмо от 5 января 1860 года. (*Прим. авт.*)

15

Письмо от 9 февраля 1860 года. (*Прим. авт.*)

16

Письмо от 10 февраля 1861 года. (*Прим. авт.*)

17

Письмо Жоржа Пажо от 19 ноября 1865 года. (*Прим. авт.*)

18

Письмо к Байлю от 10 февраля 1861 года. (*Прим. авт.*).

19

Письмо от 17 марта 1861 года. (*Прим. авт.*)

20

Здесь и далее стихи даются в подстрочном переводе. (*Прим. пер.*)

21

Написано неразборчиво – то ли S, то ли L, но, какую бы букву ни написал Золя, S или L, в любом случае речь, несомненно, идет о Луизе, сестре Филиппа Солари. (*Прим. авт.*)

22

Письмо от 10 августа 1860 года. (*Прим. авт.*)

23

Письмо от 17 марта 1861 года. (*Прим. авт.*)

24

Письмо от 1 июня 1861 года. (*Прим. авт.*)

25

Письмо от 10 июня 1861 года. (*Прим. авт.*)

26

Письмо конца июня – начала июля 1861 года. (*Прим. авт.*)

27

Этот замысел воплотится в «Любовной комедии». (*Прим. авт.*)

28

Письмо от 10 августа 1860 года. (*Прим. авт.*)

29

Письмо от 10 августа 1860 года. *(Прим. авт.)*

30

Письмо от 20 января 1862 года. (*Прим. авт.*)

31

Письмо от 18 сентября 1862 года. (*Прим. авт.*)

32

Письмо от 29 сентября 1862 года. (*Прим. авт.*)

33

Письмо от 18 августа 1864 года. (*Прим. авт.*)

34

Письмо от 18 августа 1861 года. *(Прим. авт.)*

35

Письмо от 8 января 1866 года. (*Прим. авт.*)

36

Письмо от 1 августа 1860 года. (*Прим. авт.*)

37

Письмо, датированное февралем 1866 года. (*Прим. авт.*)

38

Лану, приведя вначале то же имя, называет далее подругу, а затем и жену Золя только Габриэлой. (*Прим. пер.*)

39

Письмо от 8 января 1866 года. (*Прим. авт.*)

40

Письмо от 22 января 1866 года. (*Прим. авт.*)

41

Ср. Поль Алексис. Эмиль Золя, записки друга. (*Прим. авт.*)

42

Цит. по: *Арман Лану* «Здравствуйте, господин Золя». (*Прим. авт.*) В русском переводе – «Здравствуйте, Эмиль Золя!» М., «Терра», 1997, перевод О.Добровольского и В.Финикова. (*Прим. пер.*)

43

Название статьи – «Les Chutes» – можно было бы перевести по-другому: «Под уклон». (*Прим. пер.*)

44

Цит. по: «Что я ненавижу», в: *Эмиль Золя*. Избранные произведения. М., ГИХЛ, 1953, с. 669–672. (Перевод Н.Аверьяновой.) (*Прим. пер.*)

45

Письмо от 26 июля 1866 года. (*Прим. авт.*)

46

Письмо от 19 февраля 1867 года. (*Прим. авт.*)

47

Письмо от 4 апреля 1867 года. (*Прим. авт.*)

48

Цит. по: *А.Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 106. (*Прим. пер.*)

49

Письмо от 4 апреля 1867 года. (*Прим. авт.*)

Письмо начала 1868 года. (*Прим. авт.*)

51

Письмо от 10 июня 1868 года. (*Прим. авт.*)

52

Письмо от 22 мая 1868 года. (*Прим. авт.*)

53

Письмо от 16 июня 1868 года. (*Прим. авт.*)

54

Письмо Антони Валабрегу от 29 мая 1867 года. (*Прим. авт.*)

55

Цит. по: *Эмиль Золя*. Карьера Ругонов. Перевод Е.Александровой, в: *Эмиль Золя*. Избранные произведения. М., ГИХЛ, 1953. С. 3–4. (*Прим. пер.*).

56

Наверное, стоит привести здесь и предшествующую этой фразу: «Не явилось ли главной причиной его смерти равнодушие читателей, то молчание, которым встречали самые выстраданные его произведения?», которую Труайя опустил. Цит. по: *А.Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 126. (*Прим. пер.*)

27 августа 1870 года. (*Прим. авт.*)

58

На самом деле статья «Да здравствует Франция!» была напечатана 5 августа 1870 года, после объявления войны. В ней было сказано: «В этот час на берегах Рейна находятся пятьдесят тысяч солдат, сказавших „нет“ Империи. Они выступили против войны, против постоянных армий, против той страшной силы, которая отдает во власть одного человека благополучие и жизнь целой нации. < <…> > Республика – там, на берегах Рейна… в ее рядах 500 000 героев; они победят. И мы, мы будем приветствовать их, потому что они окажутся самыми храбрыми. Вернувшись, они нам скажут: теперь пруссаки больше не угрожают Франции, освободим ее теперь от других врагов». Цит. по: *А.Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 127. (*Прим. пер.*)

59

Гюстав Мазюр был в то время помощником руководителя отдела кадров в Министерстве внутренних дел. (*Прим. авт.*)

60

Письмо от 13 декабря 1870 года. (*Прим. авт.*)

61

Письмо от 14 декабря 1870 года. (*Прим. авт.*)

62

Письмо от 18 декабря 1870 года. (*Прим. авт.*)

63

Письмо от 20 декабря 1870 года. (*Прим. авт.*)

64

Об этом говорится в письме, датированном тем же числом, что и предыдущее. (*Прим. авт.*)

65

Письмо от 21 декабря 1870 года. (*Прим. авт.*)

Пассажиры не имели права перевозить животных в купе, всех животных отправляли в специальный вагон. (*Прим. авт.*)

67

Письмо от 22 декабря 1870 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 25 декабря 1870 года. (*Прим. авт.*)

69

Письмо от 17 февраля 1871 года. (*Прим. авт.*)

Страшно сказать (*лат.*) (*Прим. авт.*)

71

Письмо от 9 февраля 1871 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 17 февраля 1871 года. (*Прим. авт.*)

73

Письмо от 2 марта 1871 года. (*Прим. авт.*)

Цит. по: История Франции, т. 2. М., «Наука», 1973. С. 406. *(Прим. пер.)*.

75

18 марта 1871 года оставленную правительством Ратушу заняла группа членов Центрального комитета, и над зданием тотчас был поднят красный флаг. (*Прим. пер.*)

Письмо от 4 июля 1871 года. (*Прим. авт.*)

77

Письмо от 1 декабря 1871 года. (*Прим. авт.*)

78

Письмо Петру Боборыкину, написанное в начале февраля 1876 года. (*Прим. авт.*)

79

Письмо от 6 ноября 1871 года. (*Прим. авт.*)

80

Эмиль Золя. Собр. соч., т. 3. М., ГИХЛ, 1962. Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 146.

81

Эмиль Золя. Собр. соч., т. 4. М., ГИХЛ, 1962. Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 152. (*Прим. пер.*)

Письмо 1876 года. (*Прим. авт.*)

83

Письмо от 30 мая 1870 года. (*Прим. авт.*)

Гонкур. Дневник, 3 июня 1872 года. (*Прим. авт.*)

85

Гонкур. Дневник, 25 января 1875 года. (*Прим. авт.*)

Эмиль Золя и «Западня», 1877. (Приведено в: *En marge*, Марсель Лесаж, 1927.) (*Прим. авт.*)

87

Деньги в литературе. (Приведено в «Экспериментальном романе», 1880.) (*Прим. авт.*)

88

Процитировано Рене-Пьером Коленом в «Золя, отступники и союзники». (*Прим. авт.*)

89

Гонкур. Дневник, запись от 12 марта 1874 года. (*Прим. авт.*)

Гонкур. Дневник, запись от 14 апреля 1874 года. (*Прим. авт.*)

91

Гонкур. Дневник, запись от 1 ноября 1874 года. (*Прим. авт.*)

92

Письмо от 9 октября 1874 года. (*Прим. авт.*)

93

Письмо от 9 ноября 1874 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 12 ноября 1874 года. (*Прим. авт.*)

95

Письмо от 1 июня 1874 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 1 июня 1874 года. (*Прим. авт.*)

В настоящее время – улица Апеннин. (*Прим. авт.*)

Ги де Мопассан. Собр. соч. т. 13. М., ГИХЛ., 1950. С. 353. Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 164. (*Прим. пер.*)

Гонкур. Дневник, запись от 4 апреля 1875 года. (*Прим. авт.*)

100

Гонкур. Дневник, запись от 5 мая 1876 года. (*Прим. авт.*)

101

Письмо от 5 августа 1875 года. (*Прим. авт.*)

102

Письмо от 3 сентября 1875 года. (*Прим. авт.*)

103

Новая собака Золя. (*Прим. авт.*)

104

Письмо от 17 сентября 1875 года. (*Прим. авт.*)

105

Письмо от 20 октября 1875 года. (*Прим. авт.*)

Сейчас – бульвар Барбес. (*Прим. авт.*)

107

Письмо от 9 сентября 1876 года. (*Прим. авт.*)

108

Письмо Мариусу Ру от 11 августа 1876 года. (*Прим. авт.*)

109

Письмо от 9 сентября 1876 года. (*Прим. авт.*)

110

Письмо от 17 октября 1876 года. (*Прим. авт.*)

111

Письмо от 14 декабря 1876 года. (*Прим. авт.*) Цит. по: *Флобер*. Собр. соч., т. 5. М., «Правда», 1956. С. 451. (*Прим. пер.*)

112

Письмо от 2 февраля 1877 года. (*Прим. авт.*)

113

Гонкур. Дневник, запись от 30 марта 1878 года. *(Прим. авт.)*

114

Гонкур. Дневник, запись от 19 февраля 1877 года. (*Прим. авт.*)

115

Письмо от 21 августа 1877 года. (*Прим. авт.*)

Сейчас – улица Баллю. (*Прим. авт.*)

117

Гонкур. Дневник, запись от 3 апреля 1878 года. (*Прим. авт.*)

118

Гонкур. Дневник, запись от 3 апреля 1878 года. (*Прим. авт.*)

119

Гонкур. Дневник, запись от 6 мая 1878 года. (*Прим. авт.*)

120

Гонкур. Дневник, запись от 17 мая 1878 года. (*Прим. авт.*)

121

Письмо от 9 августа 1878 года. (*Прим. авт.*)

Bonhomme.

123

Mouquette.

124

Письмо от 9 августа 1878 года. (*Прим. авт.*)

125

Письмо от 23 декабря 1878 года. (*Прим. авт.*)

126

Письмо, датированное также 23 декабря 1878 года. (*Прим. авт.*)

127

Цит. по: *Флобер*. Собр. соч., т. 5. С. 480–481. (*Прим. пер.*)

128

Оба письма, и Флобера, и Гюисманса, датированы 15 февраля 1880 года. (*Прим. авт.*)

129

Письмо от 22 января 1879 года. (*Прим. авт.*)

130

Записи от 18 января и 25 февраля 1879 года. (*Прим. авт.*)

131

Письмо от 1 февраля 1880 года. (*Прим. авт.*)

132

Гонкур. Дневник, запись от 22 апреля 1880 года. (*Прим. авт.*)

133

Письмо от 9 мая 1880 года. (*Прим. авт.*)

134

Письмо от 20 октября 1880 года. (*Прим. авт.*)

135

Письмо от 26 октября 1880 года. (*Прим. авт.*)

136

Письмо от 30 октября 1880 года. (*Прим. авт.*)

137

Гонкур. Дневник, запись от 14 декабря 1880 года. (*Прим. авт.*)

138

Это издание, которое должно было называться «Человеческая комедия», так и не увидело света. (*Прим. авт.*)

139

Письмо от 29 апреля 1881 года. (*Прим. авт.*)

140

Письмо от 6 мая 1881 года. (*Прим. авт.*)

141

Письмо от 18 июня 1881 года. (*Прим. авт.*)

142

Письмо от 5 ноября 1881 года. (*Прим. авт.*)

143

Письмо от 21 июля 1881 года. (*Прим. авт.*)

144

Письмо от 1 октября 1881 года. (*Прим. авт.*)

145

Письмо от 20 февраля 1882 года. (*Прим. авт.*)

146

Письмо от 14 февраля 1882 года. (*Прим. авт.*)

147

Письмо от 21 февраля 1882 года. (*Прим. авт.*). Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 227–228. (*Прим. пер.*)

Парижская психиатрическая больница. (*Прим. пер.*)

149

Письмо от 22 июня 1883 года. (*Прим. авт.*)

150

Гонкур. Дневник, запись от 2 ноября 1883 года. (*Прим. авт.*)

151

Письмо от 14 декабря 1883 года. (*Прим. авт.*)

152

Письмо от 5 ноября 1881 года. (*Прим. авт.*)

153

Письмо от 1 ноября 1884 года. (*Прим. авт.*)

154

Письмо от 9 июля 1884 года. (*Прим. авт.*)

155

Письмо Антуану Гийеме от 3 апреля 1884 года. (*Прим. авт.*)

156

Письмо от 3 апреля 1884 года. (*Прим. авт.*)

157

Письмо от 25 августа 1884 года. (*Прим. авт.*)

158

Письмо от 22 марта 1885 года. (*Прим. авт.*)

159

Эмиль Золя. Избранные произведения. М., 1953, С. 345. Перевод А. Дмитриевского.

160

Письмо от 23 января 1885 года. (*Прим. авт.*)

161

Гюго оставил завещание, в котором было сказано: «Я передаю пятьдесят тысяч франков беднякам. Я хочу, чтобы меня отвезли на кладбище на простых дрогах. Не надо устраивать панихид в церквах, я прошу помолиться за меня все человеческие души. Я верю в Бога». Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 258. (*Прим. пер.*)

162

Письмо от 22 мая 1885 года. (*Прим. авт.*)

163

Гонкур. Дневник, запись от 24 мая 1885 года. (*Прим. авт.*)

164

Эмиль Золя. Избранные произведения. М., 1953. С. 153–154. Перевод А. Дмитриевского.

165

Этот персонаж – анархист Суварин. (*Прим. авт.*)

«Утро» от 7 марта 1885 года. (*Прим. авт.*)

167

Архитектор, романист и искусствовед. (*Прим. авт.*)

Роман братьев Гонкур (1867). (*Прим. авт.*)

169

Романист и журналист. (*Прим. авт.*)

170

Гонкур. Дневник, запись от 19 апреля 1885 года. (*Прим. авт.*)

Parisis – *букв.* «парижской чеканки» (о монетах). (*Прим. пер.*)

172

Гонкур. Дневник, запись от 2 августа 1885 года. Кориолис и Манетт – два основных персонажа «Манетт Саломон». (*Прим. авт.*)

173

Письмо от 25 июля 1885 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 25 июля 1885 года. (*Прим. авт.*)

175

Процитировано Амбруазом Волларом в книге «Ренуар» (1920). (*Прим. авт.*)

176

Письмо от 5 апреля 1886 года. (*Прим. авт.*)

177

Письмо от 4 апреля 1886 года. (*Прим. авт.*)

178

Гонкур. Дневник, запись от 23 февраля 1886 года. *(Прим. авт.)*

Эстет, один из персонажей «Манетт Саломон». (*Прим. авт.*)

180

Гонкур. Дневник, запись от 5 апреля 1886 года. (*Прим. авт.*)

181

Гонкур. Дневник, запись от 10 апреля 1886 года. *(Прим. авт.)*

182

Письмо от 24 марта 1887 года. (*Прим. авт.*)

183

Письмо от 8 января 1887 года. (*Прим. авт.*)

184

Письмо от 1 июня 1887 года. (*Прим. авт.*)

185

Письмо от 26 мая 1887 года. (*Прим. авт.*)

186

Письмо от 21 августа 1887 года. (*Прим. авт.*)

187

Письмо также датировано 21 августа 1887 года. (*Прим. авт.*)

188

Письмо от 13 октября 1887 года. (*Прим. авт.*)

189

Письмо от 14 октября 1887 года. (*Прим. авт.*)

190

Гонкур. Дневник, запись от 15 октября 1887 года. «Обнимемся, Фольвиль» – название комедии Лабиша и Лефрана. (*Прим. авт.*)

191

Письмо от 15 ноября 1887 года. (*Прим. авт.*)

Гонкур. Дневник, запись от 4 марта 1888 года. (*Прим. авт.*)

193

Письмо от 25 мая 1888 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 14 июля 1888 года. (*Прим. авт.*)

195

Гонкур. Дневник, запись от 14 июля 1888 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 30 июля 1888 года. (*Прим. авт.*)

197

Письмо от 8 августа 1888 года. (*Прим. авт.*)

198

Письмо от 9 августа 1888 года. (*Прим. авт.*)

199

Дата этого события будет установлена по открытке, которую Золя пришлет Жанне десять лет спустя. (*Прим. авт.*). Вот ее текст: «Из своего изгнания шлю моей возлюбленной Жанне тысячу поцелуев в память об 11 декабря 1888 года и в благодарность за десять лет нашей счастливой совместной жизни, которую рождение нашей Денизы и нашего Жака сделало навсегда неразъединимой. *Англия, 11 декабря 1899, Эмиль Золя*». Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 275. (*Прим. пер.*)

Гонкур. Дневник, запись от 22 января 1889 года. (*Прим. авт.*)

201

Гонкур. Дневник, запись от 21 ноября 1889 года. (*Прим. авт.*)

Гонкур. Дневник, записи от 2 и 3 мая 1889 года. (*Прим. авт.*)

203

Письмо от 16 ноября 1888 года. (*Прим. авт.*)

Поль Алексис. Эмиль Золя, записки друга. (*Прим. авт.*)

205

Письмо от 5 июня 1889 года. (*Прим. авт.*)

Гонкур. Дневник, запись от 17 апреля 1890 года. (*Прим. авт*.)

207

Письмо от 18 апреля 1890 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 30 декабря 1890 года. (*Прим. авт.*)

209

Письмо от 27 мая 1981 года. (*Прим. авт.*)

210

Письмо от 5 мая 1890 года неизвестному адресату. (*Прим. авт.*)

211

Письмо от 9 марта 1890 года. (*Прим. авт.*)

212

Письмо от 12 сентября 1890 года. (*Прим. авт.*)

213

Гонкур. Дневник, запись от 16 октября 1890 года. (*Прим. авт.*)

Поль Алексис. Эмиль Золя, записки друга. (*Прим. авт.*)

215

Гонкур. Дневник, запись от 26 июля 1892 года. (*Прим. авт.*)

216

Сын Золя, Жак Эмиль Жан Розеро, родился 25 сентября 1891 года. (*Прим. авт.*)

217

Письмо от 28 сентября 1891 года. (*Прим. авт.*)

218

Эмиль Золя. Избранные произведения. М., 1953. С. 548–549. Перевод В. Парнаха.

219

Письмо от 4 сентября 1891 года. (*Прим. авт.*)

Гонкур. Дневник, запись от 4 июля 1892 года. (*Прим. авт.*)

221

Письмо от 31 мая 1892 года. (*Прим. авт.*)

Дениза Ле Блон-Золя. Эмиль Золя в рассказах дочери. (*Прим. авт.*)

223

Письмо, написанное в июле 1892 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 16 августа 1892 года. (*Прим. авт.*)

225

Письмо от 30 августа 1892 года. (*Прим. авт.*)

Гонкур. Дневник, запись от 6 марта 1892 года. (*Прим. авт.*)

227

Гонкур. Дневник, запись от 20 марта 1892 года. (*Прим. авт.*)

228

Гонкур. Дневник, запись от 13 июля 1892 года. (*Прим. авт*.)

229

Письмо от 29 июля 1893 года. (*Прим. авт.*)

230

Письмо от 24 сентября 1893 года. (*Прим. авт.*)

231

Письмо от 13 июля 1894 года. (*Прим. авт.*)

Эти слова приведены Гонкуром в его «Дневнике», запись от 10 февраля 1895 года. (*Прим. авт.*)

233

Гонкур. Дневник, запись от 21 декабря 1895 года. *(Прим. авт.)*

234

Золя проиграет выборы 30 мая 1896 года, на этот раз его обойдет Андре Терье. (*Прим. авт.*)

235

Гонкур. Дневник, запись от 18 мая 1896 года. (*Прим. авт.*)

Поль Алексис. Эмиль Золя, записки друга. (*Прим. авт.*)

237

Новелла Золя, входившая в сборник «Меданские вечера». (*Прим. авт.*)

Альфред Брюно. В тени великого сердца. (*Прим. авт.*)

239

Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 363–364. (*Прим. пер.*)

240

Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 367–368. (*Прим. пер.*).

241

Жан Калас – торговец из Тулузы; в 1761 (по другим источникам – 1762) году был несправедливо обвинен в убийстве сына и казнен колесованием, четвертованием и сожжением праха. Вольтер добился пересмотра дела и посмертной реабилитации Каласа. (*Прим. пер.*)

242

Эмиль Золя. Избранные произведения. М., 1953. С. 701–702. Перевод Т. Ивановой.

Резиденция Национального собрания. (*Прим. пер.*)

Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 384. (*Прим. пер.*)

245

Ср. *Арман Лану*. Указ. соч. (*Прим. авт.*) Цит. по: *Арман Лану*, указ. соч. С. 409. (*Прим. пер.*)

Доказательства (*фр.*).

247

Письма от 4 января, 23 января и 2 февраля 1898 года. (*Прим. авт.*) Цит. по: *Чехов*, собрание сочинений, т. 12. С. 207, 210, 211. (*Прим. пер.*)

Цит. по: *Чехов*, т. 12. С. 211. (*Прим. пер.*)

249

Цит. по: *Чехов*, т. 12. С. 213–214.

250

Морис Баррес. Сцены и доктрины национализма. Процитирована Жаном-Дени Бреденом в «Деле» («L'Affaire»). (*Прим. авт.*)

251

Сын Генри Вицетелли, который когда-то организовал триумфальную поездку Золя в Великобританию и умер в 1894 году. (*Прим. авт.*)

Адвокат, нотариус. (*Прим. авт.*)

253

В книге А.Лану об этом рассказано более подробно; думаю, читателю надо напомнить, о каких обвинениях идет речь. «Анри раскопал в архивах военного министерства историю отставки Франсуа Золя, когда тот служил в Иностранном легионе. Этот давно забытый факт не дал в свое время основания для привлечения Франсуа к ответственности. Но под пером журналиста Жюде, опубликовавшего этот материал в „Пти журналь“ 13 мая 1898 года, он был раздут и истолкован как должностное преступление; помимо всего, автор сократил и исказил текст письма к маршалу Бюше полковника Комба (от 12 июля 1832 года), командовавшего в ту пору Иностранным легионом в Алжире. Документ этот был передан журналисту начальником Разведывательного бюро, который остался верен своему испытанному тактическому приему». Цит. по: *Арман Лану*, указ. соч. С. 423. (*Прим. пер.*)

Письмо от 6 августа 1898 года. (*Прим. авт.*)

255

Имущество Золя было описано 23 и 29 сентября 1898 года и куплено с аукциона издателем Фаскелем за тридцать две тысячи франков, то есть за ту сумму, которую он должен был выплатить трем экспертам. (*Прим. авт.*)

Письмо от 13 августа 1898 года. (*Прим. авт.*)

257

Письмо от 8 сентября 1898 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 21 сентября 1898 года. (*Прим. авт.*)

259

Письмо, датированное июлем 1899 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 10 ноября 1898 года. (*Прим. авт.*)

261

Письмо от 1 декабря 1898 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 15 декабря 1898 года. (*Прим. авт.*)

263

Письмо, датированное тем же днем. (*Прим. авт.*)

Суд присяжных оправдал Деруледа. (*Прим. авт.*)

265

Письмо от 3 июня 1899 года. (*Прим. авт.*)

266

Название, которое дали штабу антисемитской лиги на улице Шаброль в Париже. Мятежники продержались там тридцать восемь дней, отражая наступление сил поддержания порядка. (*Прим. авт.*)

267

Письмо от 16 августа 1899 года. (*Прим. авт.*)

Письмо от 12 сентября 1899 года. (*Прим. авт.*)

269

Кирпичный цвет лица плохо сочетается с представлением о призраке. Не решаюсь править цитату, но приведу другую: возможно, из текста просто выпало несколько слов. «Он [Дрейфус] появился из темного вестибюля с колоннами в стиле барокко. Кирпичный загар жителя колоний, который выделял его среди публики на Реннском процессе, стал бледно-желтым. Он тоже носит пенсне. Рядом с Люси он выглядит еще более скромным, незаметным и безликим. *Он ужасен*. Он так зауряден и банален, так похож на сотни и тысячи своих портретов, так обыкновенен, что понимаешь, насколько он ординарен». Цит. по: *Арман Лану*, указ. соч. С. 440. (*Прим. пер*.)

Альфред Брюно. В тени великого сердца. (*Прим. авт.*)

271

Письмо от 5 июня 1901 года. (*Прим. авт.*)

272

Из доклада экспертов. Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 464. (*Прим. пер.*)

Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 465. (*Прим. пер.*)

Ср. *Арман Лану*, указ. соч. (*Прим. авт.*)

Альфред Брюно. В тени великого сердца. *(Прим. авт.)*

Эмиль Золя в рассказах дочери Дениза Ле Блон-Золя. (*Прим. авт.*)

Альфред Брюно. В тени великого сердца. (*Прим. авт.*)

Цит. по: *Арман Лану*. Здравствуйте, Эмиль Золя! С. 392. (*Прим. пер.*)

279

Органы государственного призрения вступили во владение домом Золя, откуда вывезли обстановку, в 1905 году и открыли в нем детский приют. В 1967 году приют прекратил свое существование, и коммуна Пуасси открыла в том же помещении школу медсестер. Через некоторое время и школа, в свой черед, закрылась, и в 1985 году Общество друзей Золя благодаря непрекращающимся усилиям смогло превратить дом в музей, посвященный памяти автора «Ругон-Маккаров». (*Прим. авт.*)

Дениза в 1908 году станет женой молодого друга Золя, писателя Мориса Ле Блона, и посвятит отцу книгу. Жак станет известным врачом. Жанна Розеро умрет в 1914 году от неудачной хирургической операции в возрасте сорока семи лет, Александрина – в 1925-м, в возрасте восьмидесяти шести лет. (*Прим. авт.*)